



НЕВА 12

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Дмитрий МИЗГУЛИН**
Стихи • 3
- Анна КУЗНЕЦОВА**
Сама с собой. *Рассказ* • 7
- Виктор ШИРАЛИ**
Стихи • 30
- Михаил ПЕТРОВ**
Босамычки; Вспомним, чтоб снова забыть... *Рассказы* • 34
- Алексей БОРЫЧЕВ**
Стихи • 49
- Константин КУПРИЯНОВ**
Темные мгновения; Виола. *Рассказы* • 53
- Григорий БЕНЕВИЧ**
Стихи • 79
- Гурам СВАНИДZE**
Куда? В штат Миссисипи; «Немец-перец-колбаса»;
Кавказская овчарка. *Рассказы* • 82
- Андрей ГРУНТОВСКИЙ**
Стихи • 94
- Ярослав КОСТЮК**
Голбец. *Рассказ* • 98
- Олег ЮРКОВ**
Стихи • 110
- Алексей ПАЛИЙ**
Частичная отгрузка разрешена. *Рассказ* • 114
- Инна РОЗЕНСОН**
Стихийное манихейство; Сын. *Рассказы* • 122

ГОД ИСТОРИИ

- Игорь СУХИХ**
Классное чтение: от горушки до Гоголя.
Николай Васильевич Гоголь (1809–1852) • 132

ПУБЛИЦИСТИКА

Лев БЕРДНИКОВ

Благожелательный император • 163

Андрей БУРОВСКИЙ

Европейский гуманизм versus традиции • 176

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Modus vivendi. Константин Фрумкин. Вечный либерализм и вечный дирижизм. — **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Фолиньо — город св. Анджелы; «В дымке Фьезоле синеет». — **Рецензии.** Виктор Широков. И бесконечно изумление пред этим миром; Даниил Чкония. Беззащитное серебро; Елена Айзенштейн. «Словесность — родина и ваша, и моя»; Ирина Чайковская. Восстановление связей; Виталий Грушко. Зазубренные души. — **Пошла писать губерния.** Публикация Бориса Давыдова. — **Дом Зингера.** Публикация Елены Зиновьевой. • 187–250

Содержание журнала «Нева» за 2012 год • 251

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена
Электронную распечатку рукописей присылать
на потовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)
Рукописи не возвращаются и не рецензируются*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья ЛАМОНТ

(ответственный секретарь,
коммерческий директор)

Александр МЕЛИХОВ

(зам. главного редактора)

Игорь СУХИХ

(шеф-редактор гуманитарных проектов)

Ольга МАЛЫШКИНА

(шеф-редактор молодежных проектов)

Борис ДАВЫДОВ

(отдел публицистики)

Елена ЗИНОВЬЕВА

(редактор-библиограф)

Маргарита РАЙЦИНА

(контент-редактор)

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Н. Ламонт, Л. Жуковой**

© Журнал «Нева», 2012

Дмитрий МИЗГУЛИН

* * *

А жить так просто на Руси,
Чтобы достичь пределов рая.
Не верь, не бойся. Не проси,
Земным царям не доверяя,

Держись подальше от царей
И не играй с судьбою в прятки.
И будет голова целей.
И душу сохранишь в порядке.

Не предавай, не унывай,
Куда б ни вывела дорога.
И никогда не забывай
Везде и всюду славить Бога!

* * *

А скорый поезд мчится ночью
По растревоженной земле.
И огоньки и огонечки
Летят навстречу мне во мгле.

Гремят раскатистые стуки...
Любовь и ненависть вразброс.
И наши встречи и разлуки
Летят со свистом под откос.

Меняешь всё без сожаленья.
Летишь сквозь звездную метель,
Осознавая, что движенье —
Твоя единственная цель!

Дмитрий Александрович Мизгулин родился в 1961 году в городе Мурманске. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. Вознесенского в 1984 году и Литературный институт им М. Горького в 1993 году. Член СП России. Академик Петровской академии наук и искусств. Печатался в журналах «Звезда», «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Юность», еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета» и др. Автор 10 книг стихотворений. Лауреат премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2004), премии «Петрополь» (2005), премии журнала «Наш современник» (2006), Всероссийской премии «Традиция» (2007), премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы (2007), премии имени Бориса Корнилова (2008), Международной Лермонтовской премии (2010), премии журнала «Нева» (2011). Живет в городе Ханты-Мансийске.

БАБЬЕ ЛЕТО

Пора уходящего лета.
В такие минуты, поверь,
Покажется солнцем согрета
Печаль невозвратных потерь.
Но ныне погоды иные,
И бабьего лета не жди.
В районах Центральной России
Идут затяжные дожди.
В тумане промозглом деревня...
Как тихо на вечной земле!
Лишь только качают деревья
Ветвями в сиреновой мгле.
Ленивые струи стекают —
Тяжелая это вода.
Уже не гудят, а вздыхают
Натруженные провода.
Три дня не выходишь из дому,
Часами сидишь у окна,
И одолевает истома
Дневного, тяжелого сна.
Но вот начинает смеркаться,
Уже не видать ни черта,
Как вдруг начинают казаться
Знакомыми эти места.
И чувство, знакомое очень,
Как будто когда-то с тобой...
Быть может, промозглая осень
С твоей пошутила судьбой?..
Не вспомнить. Не вспомнить. И память
В помощники ты не зови.
Ведь все это было не с нами,
Но в нашей осталось крови:
Забывшие песни, дороги,
Заросшие лесом поля
И тяжесть осенней тревоги,
Дождливых ночей сентября...
И вдруг пожалеешь впервые
О том, что уже позади...
В районах Центральной России
Идут затяжные дожди.

* * *

Ты говоришь мне: «Будь спокоен».
Паренье, взлеты — суета...
Всяк смертный в жизни удостоен
Посильной тяжести креста.

На память выучи уроки,
Постигни мудрость вечных книг,

Но раз отмеренные сроки
Нельзя продлить хотя б на миг.

Хоть вечно спор веди о главном,
Но прав не будешь никогда.
Смотри, как лист кружится плавно,
Как сонно плещется вода,

Как не спеша, несуетливо
Покрыла мир ночная мгла,
Как величаво, горделиво
Подперли небо купола,

Как лунный свет скользит по крышам,
Как дождь долбит унылый стих,
Как замолкает — тише, тише —
Дыханье улиц городских...

Ты говоришь мне: «Будь спокоен».
А я спокоен, как всегда...
Над вечным северным покоем
Мерцает вещая звезда.

ПИСЬМО

А по ночам здесь тишина,
Лишь сосен шум да гул прибоя.
И фонаря на пол-окна
Мерцанье бледно-голубое.

Я буду месяц изнывать
От неподвижной пляжной скуки.
Я буду долго забывать
Твое лицо, глаза и руки...

Звенит ночная тишина.
Далеко слышен гул залива.
Тяжеловесная луна
Задумчива и молчалива.

Довольно истины одной,
Чтоб жить счастливо и беспечно:
Ничто не вечно под луной,
Да и луна сама не вечна.

Все встанет на свои места...
Как просто все, но слишком поздно.
А высь безбрежна и чиста,
И только ярко светят звезды...

Пишу — всё будет хорошо,
А всё давным-давно прошло.

ЗАКАТ

Озябшие чайки кричат,
К таким холодам непривычны,
И в дымке морозной Кронштадт
Отсюда мне виден отлично.

Сомненья оставь на потом,
Вглядишься в бесконечность простора,
Граница меж небом и льдом
Во мраке сокроется скоро.

Заката тускнеет пожар,
Сгущается мгла торопливо,
И солнца малиновый шар
Остынет в торосах залива.

В ОСЕННЕМ ПАРКЕ

Здесь все, наверно, так и было
И будет, кажется, всегда.
Вот ива ветви уронила
На гладь застывшего пруда.

Все приготовилось к разлуке
С осенним пиршеством судьбы,
И труженик в похмельной скуке
Для статуй делает гробы.

Трава в снегу. Листы фанеры.
Он молча ладит молоток.
И на челе нагой Венеры
Застыл озябнувший листок.

* * *

А все-таки спеши, спеши,
Пусть даже ошибаясь снова,
Всю боль мятущейся души
Вложить в трепещущее слово!
Когда молчания печать
Твои уста сомкнет навечно,
Ему — звенеть, ему — звучать,
То дерзновенно, то беспечно.
Но, покоряясь своей судьбе,
Не ожидай вознагражденья:
Нет ни спасения тебе,
Ни состраданья, ни прощенья.
Сомнений чашу ты испил
И не тверди молитв упрямо.
Ведь все равно не хватит сил
Изгнать торгующих из храма.

Анна КУЗНЕЦОВА

САМА С СОБОЙ

Все-таки удивительная штука — жизнь и все, что с нами в ней происходит...

Кажется, только что ты проснулась в своей московской постели, застелила ее аккуратней, чем обычно, ведь оставляешь ее надолго. Наглухо закрыла балконную дверь. За ней на балконе цветы в горшках, уже обидевшиеся на тебя за то, что они не горделиво красуются на барьере балкона — первые, кто встречают по пути домой, — а сиротливо жмутся в тазях на полу. Никто с ними теперь не поговорит, не улыбнется, не польет, пить им, бедняжечкам, одну и ту же воду из тазов до самого моего приезда.

Потом ты быстро съедаешь обязательное утреннее яичко, наспех, обжигаясь, глоташь кофе с порцией лекарств и, схватив с вечера приготовленный чемодан, мчишься в Шереметьево.

А там не успеваешь оглянуться: аэропорт-регистрация-пробежка по роскошным duty free, кажется, никто в них ничего не покупает, только глазуют, как я, — самолет с положенным «пристегните ремни... вам воду, колу или сок?» — еще один завтрак... Соседи — ее скорее чуеть по сильному запаху спиртного, его чуть виноватое: «Она боится летать...», а потом за развернутой газетой их и не видно весь путь... И вот ты уже в Болгарии.

Только что куталась в куртку в зябкой, прокисшей дождями Москве, теперь не знаешь, куда ее девать. Висеть ей здесь ненужной, до самой осени, до возвращения. За полдня поменялись холод на жару, дождь на ослепительное солнце. Вместо домов-коробок и забитых автомобильными пробками дорог — море, нарядные отели Солнечного берега, разноцветные прилавки: желтый, красный, зеленый, — от жадности и удивления фруктов и овощей покупаешь вдвое больше, чем сможешь съесть. И супермаркет «Младость» вместо привычного российского «Седьмого континента» в твоём оставшемся доме.

Анна Адольфовна Кузнецова родилась в г. Арзамасе в 1932 году. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. С 1972 года живет в Москве. Работала завлитом в московских театрах. С 1973-го по 1991 год была спецкором газеты «Советская культура». В последние годы А. Кузнецова является театральным обозревателем «Литературной газеты», профессором, руководителем мастер-класса по театральной публицике в Институте журналистики и литературного творчества. Член Союза журналистов России и Союза театральных деятелей России. Повесть «Сама с собой» — первое самостоятельное художественное произведение автора, одно из задуманного ею цикла о времени и о себе. Живет в Москве.

НЕВА 12'2012

Всего-то за несколько часов у тебя переменялась, началась новая другая жизнь, где море, солнце, фрукты, желтый песок, где вместо «нет» кивают утвердительно головой, а «да» отрицают. Где, хоть курица — не птица, а Болгария — не заграница, ты и живешь по-другому паспорту и речь другую слышишь.

Но фотография в двух разных паспортах твоя же. И не убежать тебе от себя, не спрятаться.

Ты всегда сама с собой. Вроде по условиям покупки тебе продают студию с обстановкой, с одинаковыми на окна занавесками, со стандартной мебелью. Но ты и сюда умудряешься привезти свои кастрюли и сковородки (да поди купи, они и стоят тут по дешевке, несколько левов), но тебе нужны твои. Явилась со своими думочками и покрывалами с бахромой; ты и тут устраиваешь маленький Арзамас, как было у бабушки.

Ты ходишь все медленней. А время движется стремительно. Еще год пролетел. Еще один. Еще... Десятилетия мчатся.

Никогда не скрывала возраст. Но и произносить вслух страшно. Вот-вот восемьдесят. Не помню, чтобы кто-нибудь об этом написал, о женской старости... К этому времени или выпадают из мозгов, или вовсе уходят. У меня же осталась привычка удивляться. Даже, может, ощущения острее. То, чего раньше могла не заметить, мимо чего пробежать, сейчас останавливает внимание. И обязательно, просыпаясь по утрам, говоришь себе: доброе утро! А перед сном уже Ему: «Спасибо Тебе за еще один день...» Увы! Не все сохраняют способность радоваться жизни. Наверное, не хватает сил — нелегкая жизнь, у каждого своя. Во мне же, несмотря ни на что, живет строптивость, нежелание смириться даже перед неизбежным. Перед возрастом прежде всего.

Как правило, мне «дают» лет меньше, чем есть, в диапазоне от шестидесяти до семидесяти, в зависимости даже не от состояния тела, скорее от настроения. Но ведь это — тоже обманка, из тех, которые я терпеть не могу. Сколько есть, столько есть, все мои! Только сумей их прожить.

Маленькая студия, купленная недавно на болгарском черноморском побережье, — мой вызов самой себе, как бы на спор, на слабо. Накопила, как все, положенные стариковские «гробовые», но ведь все равно похоронят, не земле не оставят, какая разница — как?! Поживу-ка я на них лучше при жизни на море... Еще раз испытаю судьбу.

Все время хочется разбросать, позабыть накопившееся. Стряхнуть, начать заново. Но возраст держит цепко в паутине привычек, характера, самой себя, с чем справляться трудней всего. Привычки плетут паутину, и ты, как беспомощный паучок, уже не можешь из них выпутаться. Они налипают ракушками на быстроходный крейсер, движение становится медленней.

Ну, разве не надоела старая щербатая красная кружка, из которой ты каждое утро пьешь кофе? Вот она разбилась наконец, так ведь ты ищешь по магазинам такую же или в худшем случае похожую. Перемены приживаются с трудом.

Как в раннем арзамасском детстве, бабушка приучила к яичку по утрам... Его надо было найти на большом дворе, а бестолковые куры норовили выбирать места, чтобы нестись, самые неудобные, к примеру, на чердаке сарая, где балки были прогнившие, и мне туда залезать не разрешалось. Но без этого рискованного путешествия я могла бы остаться без привычного завтрака.

Я и в Москву, когда переезжала, уже из Горького, Нижнего Новгорода, привезла с собой осколки прошлой арзамасской жизни: шкаф и зеркало из детской, дедушкин письменный стол орехового дерева с пузатыми тумбами-ножками, резной, огромный. Нет, за ним не работаю, лишь изредка с трепетом присаживаюсь, мне ведь сма-

лу не разрешали к нему подходить, ничего нельзя на нем было трогать, священное место; так это ощущение и осталось. Пишу, сутулясь, за журнальным столиком.

И в одном и том же зеркале, а ему уже больше ста, оно и меня старше, я видела себя крохотной голышкой, и маленькой школьницей с отросшими и завернутыми вокруг ушей в баранки по моде тех лет косичками, и счастливой юной красоткой, хмельной от общего счастья Победы, поступившей, как и мечталось, учиться в Горьковский университет, на филологический факультет.

Я ль на свете всех милее, всех пригожей и умнее? — что было у зеркала спрашивать, у бабушки сомнений не было, конечно, — ее Анечка. Значит, и я думала так же.

Зачем ты ее так балуешь? — говорили бабушке. Та только молчала в ответ. А как иначе?! Девочка сиротой растет: родители — врачи на войне, да и разошлись они...

Мне кажется, многие годы моей жизни были слишком стремительны. Надо было бежать, успевать вкалывать без передышек на сон и обед, переезжать из города в город, менять мужей, работу, рожать, опять бежать, отвоевывать место под солнцем, с неба задаром ничего не падало. Так и бегу, как привыкла, для окружающих, может, кажется — ползу. «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка» — я и росла под этот зов. Впереди теперь — последняя остановка, ну, может, еще будет предпоследняя, а название последней известно какое.

Впрочем, это нам кажется, что беготня происходит по собственной воле и выбору. Теперь-то перед концом особенно понимаешь, как все за нас промыслено. И что бы ты в своей жизни делала без своих ангелов?! Они и предупреждают об опасности, и сберегают, и помогают делать выбор. Они всегда с тобой, ты их только не видишь. С ними надо считаться, их надо слушаться, их нельзя прогневить.

А в зеркале, хоть и стараюсь в него не смотреться, теперь вижу седые волосы, какое-то опять новое лицо, изборожденное морщинами — только ли мудрости? другую, не мою, фигуру — где там былая статуэтка? Пришла бы в отчаяние, спасает любопытство. Вот новая бородавка появилась. Оказывается, называется — гречневая крупа старости. И тело, даже размер ноги увеличиваются, им надо вместить все прожитое, как изображению Будды, чем больше живот, тем шире душа — так считают в Азии.

Среди картинок прошлого вдруг всплывает аристократ, красавец Андрей Муат, театральный режиссер, потомок французских основателей знаменитой фирмы шампанского «МУЭТ», шотландских графов и грузинских князей, очень странно выглядевший в советской действительности, — что нашел он когда-то во встреченной им арзамасской девчонке?! Это он помог мне переехать в столицу, дал первую работу помощника завлита, он тогда руководил одним из скромных московских театров.

Однажды он произнес над сдавшимся ему без боя женским телом: неужели и такая красота может измениться? Изменилась, изменилась. И хорошо, что вы, великолепный Андрей Александрович, этого не увидите. А вдруг оттуда, где он сейчас, видят?

Один молодой коллега по «Литературной газете» как-то сказал мне не без едкости: «Вы, Анна Адольфовна, будто в партии коммунистической состояли». А я ему не без гордости: «Обижаете, я всегда была секретарем партийных организаций». По наивной логике тех далеких лет, которой я безоговорочно следовала, в партию принимали лучших. Как же без меня?! Мне бы сейчас отдали те партийные взносы, а еще комсомольские, вот бы разбогатела! И партийный билет мой до сих пор лежит в дедушкином письменном столе, в ящике в уголке, не могу его выкинуть, как и лю-

бую старую вещь, дорогое в буквальном смысле воспоминание. Услужливая и ох какая причудливая память отчего-то вытаскивает из накопленного пыльного короба все, относящееся к моему новому неважному возрасту. Чего уж там?! — к старости. Вот уж к чему не могу привыкнуть. Оказалась не готова. Воюю с ней из последних сил. Строптивляюсь.

Антонина Николаевна Соболящикова-Самарина, звезда нижегородской сцены, народная артистка СССР, чьей дружбой с юности я была одарена, трогательно скрывала возраст, вплоть до кляксы в паспорте на ответственном месте, и даже завещала не указывать на надгробном памятнике дату рождения. Когда я к ней приходила, сидели при маленьком свете, чтобы хуже было видно: простите, забыла включить! Раз в месяц весь театр привычно потешался, ей ведь было хорошо за семьдесят, она обязательно замечала: как в эти бабьи дни я плохо себя чувствую... Но ведь это была и нелегкая работа, теперь-то я понимаю, чтобы ни один волосок на тщательно покрашенной и уложенной головке не выдавал седины, чтобы каблуки на туфлях были, а глаза всегда должны были сиять, а пальто желтое от Кирша, был тогда в Горьком, сейчас бы сказали, кутюрье, тогда просто модный портной в Доме моделей, к которому надо было еще попасть. Однажды явилась радостная от кардиолога: «Как хорошо, что у меня большое сердце. Значит, я умру не от какой-нибудь некрасивой болезни, рака, например, а от сердца...» Так и случилось. А ведь ей было поменьше лет, чем мне сейчас. «Я пережила всех своих мужей», — шутила она. Я теперь остро так же.

Классическая распространенная обманка: а душа-то остается молодой! Она-то, душа, и стареет прежде всего, начиная вспоминать, вспоминать и обнаруживать, что в прошлом ей интересней и вольготней, чем в текущем. В эту ловушку попадать не хочется. Захлопнулась мышеловка, и ты в клетке памяти, привычек... Выпал из жизни, не поспеваешь за ней, живешь прошлым, а не настоящим, стал овощ на грядке, жди, когда тебя выколют, вырвут с корнем и... съедят. Или выплюнут: овощ-то старый, горький, невкусный.

Часто слышу от своих ровесников:

Про курс доллара — Это мне не нужно.

Про войну в Ливии — Меня не касается.

Про новый спектакль — Современный театр не люблю.

Рвутся связи с жизнью. Сужается круг интересов. И ничего-то не интересно, и ты... стал никому не нужен. Счастливая, ты работаешь — слышу. Для меня сейчас — самое трудное: как совместить идущие в жизни перемены с самой собой.

Как мне быть? Альтернатива жесткая: или ты участвуешь в жизни, а значит, принимаешь ее, какая она есть, понимаешь, прощаешь или отходишь от дел в сторонку. И смотришь на происходящее лишь издали, из уголка. Наверное, это все равно когда-то случается. Бог милосерден. Как правило, он отнимает у людей одновременно и физические силы, и интерес к происходящему. Душа и тело меняются, стареют параллельно.

Сегодня у меня на побережье небо серое, хмурится. Правда, здесь природа долго не сердится. Только что были тучи, прошел дождь, и снова — солнце, и тут же на дорогах, на траве никаких следов мокроты, все снова сияет разноцветьем, яркостью, теплом.

Там, в Москве, как сообщили в «Новостях», опять как прошлым летом — жара больше тридцати. А море если пошло волнами, то несколько дней не может успокоиться. Мне вроде все равно, хожу пешком по воде, не плаваю, ну, не могу оторвать

ноги от земли, от дна, — тоже данность, с которой с детства бороться было бесполезно. Волн морских боюсь. И леса боюсь. И комаров, и собак, и мышей... Пожалуй, что людей не боюсь.

В свободные от морских купаний дни подумаю о себе и о том, как жить дальше. Я ничего не люблю откладывать на завтра. Вдруг оно не наступит. Буду думать сегодня. Понимаю странноватость происходящего. Смешно под восемьдесят строить планы, обдумывать будущее, искать решения. Я называю это легкомыслием. А может, наоборот, высшая мудрость.

Большинство моих коллег-ровесников конкуренция давно выбила из седла. Не пишу, потому что стал плохо писать, — сказал мне один из них, и я его зауважала; мало кто способен на беспощадный, но честный взгляд на себя со стороны, за мужество подобного решения. Правда, решимости его хватило ненадолго: смотрю, в какой-то другой газете опубликована его статья, действительно плохая, повторяет общеизвестное...

Я же по-петушиному задираюсь, лезу напролом, куда другие не ходят: SOS! Помогите! — с таким заголовком написала статья про театр, про беду, которая его ожидает в затеянной государством реформе. Негодую, когда молодые оппоненты говорят о гибели репертуарного театра, об отжившей своей системе Станиславского. Мы наш, мы новый мир построим, — каждое время по-своему поет нечто подобное. Да, времена и вкусы переменились, с этим не спорят и не воюют, но зачем же сознательно разрушать то, к чему веками шел мировой театр, что многими трудами и талантами создавал XX век?! Вопросы эти, боюсь, риторические. Любим мы в России разрушать, устраивать революции. Ничего-то нам не жалко. Теперь вот хоронят целое направление — психологический театр, только потому, что оно доминировало прежде, в котором именно Россия достигла невиданных вершин. И сегодня система Станиславского, опыт МХАТа, пример русских актеров, режиссеров — эталоны творчества для всего мира. Но не для нас самих.

Моя болгарская студия очень вовремя, очень милосердно появилась, хотя бы как возможность уехать на лето из Москвы, чтобы пропустить 31 июля — мой день рождения, чтобы избежать очередного упоминания о возрасте, вежливых по случаю телефонных звонков, опустевшего застолья.

С самого моего рождения это был большой семейный праздник. Тетка Зина, папина сестра, тихое, скромнейшее, всегда незаметное существо, тоже врач по семейной традиции, которую я нарушила (я с ней умудрилась родиться в один день), говорила, что про ее день рождения вспомнили только после моего появления на свет.

В любые времена: немецкие бомбежки... зловещая информация из черной тарелки радио — от Советского Информбюро... сдан город Курск... Белгород... Харьков... уничтожены... военный ли или послевоенный голод, от папы с мамой нет вестей с фронта... — бабушка все равно собирала праздничный стол. Как она умудрялась? Всегда в разгар торжества появлялся ее знаменитый торт «Наполеон», вкусней которого я не ела ничего на свете, а дедушка зажигал свечи, пять — восемь — десять — двенадцать..., до восемнадцати, которые он, провинциальный зубной врач, оставив свои дела, мастерил сам, да еще подсвечники к ним... Первый тост бабушкиной же наливки — за Анечку, за ее здоровье, успехи, долгие счастливые годы жизни... Если мне что и досталось, так, видно, от любви и искренности тех пожеланий. Второй тост — за Зину.

В войну за стол садилось больше всего народу, дом был полон беженцев, теперь, слава богу, молодые и слова-то этого не знают, а тогда их было много в Арзамасе, близких и дальних родственников, знакомых и незнакомых, бежавших от войны,

потерявших кров и семьи, голодных. Бабушка всех кормила, спасала. Главные уроки доброты, помощи людям у меня от нее и навсегда.

Помоги, если можешь помочь... Постарайся помочь. Лучше отдавать, чем брать, счастливее... За все придется расплачиваться... — ее уроки. Долго я старалась и с празднованием дня рождения сохранять бабушкину традицию. Последней, мной замеченной цифрой было 77. Но на самом же деле красивое число! Библейское. Магическое. А в молодости был еще портвейн, в названии которого было три семерки — 777! Почему-то юбилеи празднуют в 70, 75. 77 — то гораздо красивее. Накануне расцвела герань на балконе!

Во всем остальном это был грустный день. Не приехали подруги. Верка: полтора часа тащиться, ради чего?! Не удержалась, проиронизировала: ты, конечно, как всегда, будешь отмечать факт своего появления на свет! Потом после подарила мне паркеровскую ручку с открыточкой: неугомонному перу от уставшего... До следующего 31 июля она уже не дожила. Не пришла Света, почти не выходит из дома, а если выходит, то с записочкой в кармане, кто она и где ее дом, «Альцгеймер» крепчает. Галю облучают, онкология, ей не до меня... Дети не смогли: у внучки — новорожденный Арсений, у правнучки — приемные экзамены в институт, тоже на филфак. Слава богу! Поступила, учится. От арзамасской семьи осталась одна Софа, двоюродная сестра, которая тоже редко теперь приезжает из Балашихи в Москву, хоть и моложе меня, но с места трогаться стало трудно. Болят ноги. Плохо слышит. Спасибо, в тот день приехала. Чтобы, как всегда, вспомнить про Арзамас, свою маму Зину, мою тетку. Про бабушкин знаменитый торт «Наполеон»... У кузнецовской сестры Лильки, которая была второй гостьей в тот вечер, всегда один и тот же набор семейных историй в арсенале, одна из них, как она принесла из школы домой горшок с цветком и надписала: «Хрен выращивает ученица пятого «Б» класса Клементьева Валерия». Или еще одну вечную историю про то, как они со сводным братом кисель из общей тарелки ели, он проводил посередине разделительную линию, она не торопилась, доверяя ему, а весь кисель доставался понятно кому.

Теперь она — старушка, говорит, рассказывает, как ей скучно стало без работы. Все ее новые рассказы — о коте Фофоне, скрашивающем ее одиночество, чего он ел, как привык гулять на подоконнике, какой он умный... От достаточно многочисленных моих прежних еще по Горьковскому театральному училищу учеников, разбросанных по всей стране, зашла Лариса Сырова, еще одно одиночество. Училась в мою бытность в училище на артистку, на режиссера, но на всю жизнь осталась портнихой, ибо в этом оказался у нее талант от Бога. Тоже вспоминала про свою молодость, давно оставленный Горький, свое студенчество. Про сегодняшние дни рассказывать было нечего. Курила непрерывно, заменяя одну сигарету другой. Так и стоял обильно накрытый праздничный стол с множеством салатов, со студнем и пирогами почти нетронутым. Не пришел даже Калантаров, режиссер из оставшихся в живых от моего поколения, который любил мои застолья, но недавно обиделся на меня за то, что я не считаю его талантливым... Ну зачем, спрашивается, обидела человека? Кто за язык тянул?

А уж самых близких, самых дорогих, которым положено было здесь быть, но которые уже ни прийти, ни даже позвонить не смогут по самой что ни на есть уважительной причине, теперь слишком много.

Когда же «на 77» ушли мои немногочисленные и не слишком веселые гости, когда я вымыла посуду и с трудом растолкала оставшиеся угощения по холодильнику, разразилась гроза с грохотом и молниями, с мятущимися за окнами ветками деревьев. Мне всегда тревожно и страшно в такую погоду. Сейчас тоже было страшно, но пожаловаться и искать защиту все равно не у кого. Значит, пусть будет не страшно...

Зато я приняла решение: никогда больше 31 июля не собирать гостей, не испытывать больше свое одиночество, не вызывать призраки прошлого...

Что проку считать мужей... Помнить даты. Вспоминать, как мучились мы с Кузнецовым изменами, ревностью, скандалами. Еще в Горьком до Москвы он — всеобщий кумир, модный телевизионный комментатор. Состязались в успехах, в романах, в удали. Друг другу не уступали. Хрупкий институт семьи трещал по швам, он был не приспособлен к такому единоборству.

Танк танкетку полюбил,
В лес ее гулять водил.
От такого романа
Вся роца переломана.

Это опять же из кузнецовского обширного репертуара частушек, которые он любил петь. Да мы, наверное, и не были мужем и женой в привычном понимании, любовники! А жили в понятном для окружения браке — ну, разве чего хорошее таким словом обзовешь?! — чуть ли не двадцать лет. Да, чтоб не ругали нас за «моральное разложение», чтобы пускали в гостинице в один номер, чтобы отстали.

На самом деле: как все меняется с возрастом. То, от чего ты рыдала, страдала, теряла здоровье, наверное, годы жизни, теперь кажется такими пустяками. Тебя исключают из комсомола «за моральное разложение», потому что из-за тебя бросает жену с ребенком Кузнецов. Ты тоже уходишь от самого первого, раннего мужа. Кузнецов тебе изменяет. Ты ему изменяешь. Какая чепуха! В заботах, житейских трудностях вы устаете друг от друга. Ну и что? История общеизвестная, старая как мир. Страсть иссякает. Привычка друг к другу, как всякая другая, вызывает раздражение. Одних внутренних резервов не достает, чтобы сохранить чувства. Начинает казаться, что довольствоваться оставшимся — удел ограниченных. Ему нужны новые впечатления, новые эмоции для творчества. Тебе — для того, чтобы выжить.

Остаются стихи. Остается память. Самоуважение в стариковском одиночестве: не зря жила жизнь. Ты любила, тебя любили. И вывод: ни в какую из стесняющих, ограничительных схем вроде того, что для любви есть только одна форма — брак, что сама любовь бывает одна, что изменять нехорошо, что мужчин из семьи не уведут, а жен чужих берегут, отношения мужчины и женщины уж точно не умещаются. Ну, это я пришла к такому выводу. Другие, может, думают по-другому. Мгновения счастья так редки. Пусть они только будут.

А мой Валентин Кузнецов любил ту, хоть и не только ее одну, которую когда-то почти в детстве увидел в Канавине в Горьком, на районной комсомольской конференции: во чешет! — подумал он, когда я выступала на трибуне, и подошел поближе рассмотреть поразившее его существо в бантах и школьном передничке. А потом оказались в одной группе на филфаке университета: он с буйной шевелюрой, в клюквенном свитере и в прыщах. Я в перешитых от старших платьях, в юбочке из папиных галифе, но обязательно даже на занятиях по физкультуре в батистовой кофточке с оборочками, судя по вниманию мальчиков на курсе — красotka! Наш роман начался с общей подготовки к экзаменам по античной литературе, а поскольку он был и тогда уже образованней меня и память у него была лучше, я по ночам читала учебник вперед, чтобы не осрамиться. Роман оказался на всю жизнь. И не стало его со мной не тогда, когда мы оба плакали после посещения Тушинского загса, держа в руках бумажку о нашем разводе, а когда его на самом деле не стало.

Когда-то мы с ним в наши первые московские годы, еще семейные, общие, оказались на вечере Игоря Кваши в старом Доме актера на улице Горького. Заметили, как,

читая раннего Маяковского, нами обоими очень любимого, он все время обращается куда-то в третий ряд, и в антракте увидели, как с этого места поднялась и, опираясь рукой на красивого седого Владимира Катаняна, вышла грузная, обтянутая ярко-зеленым трикотажем (он был тогда в моде) и очень ярко-рыжая, волосков на просвечивающей головке было немного, а чуть ниже густо нарисованные черные брови, кровавые губы, морщинистое лицо. Такой свежеевыкрашенный старый потрескавшийся почтовый ящик. Лиля Брик! Главная любовь, опустошающая страсть, на все времена — тайна, загадка великой подчинившей всю его жизнь привязанности Геня. Нет, не может, не имеет права Муза Поэта превратиться в такое чудовище, — подумала я тогда.

А Кузнецов так и не простил ей отношения к любимцу — поэту. Был запальчив и необъективен в ее адрес. Даже помог написать своему приятелю Валентину Скорятину книжку, изданную на основе редких архивных данных, которые тот собирал всю жизнь, чуть ли не обвиняя Лилю Брик в том, что она — главная причина смерти Маяковского. Так и стоит эта книжка на видном месте за стеклом в моем книжном шкафу, раскрытая на титульном листе с надписью «Любимой!». Так что когда мы формально расставались и когда я его в открытую отдавала другой, другим, наверное, хотя тогда я это вряд ли понимала, мной двигал инстинкт сохранения нашей любви и самой себя. А потом на дальнейшие годы, нам и их досталось немало — тридцать, когда мы встречались, я всегда старалась не обмануть его любви, выглядеть, казаться такой, чтобы он не испытывал разочарований. Хочу уверить мучительно боящихся старости моих сверстниц, да и вообще всех дам независимо от возраста, что для этого есть множество средств за пределами пластических операций, прежде всего, если хотите, внутренней красоты. Хоть это и выглядит самонадеянно, но, думаю, мне удалось для него быть той, которую он любил. А может, потому, что он не видел меня неприбранную по утрам или усталую, издерганную, стареющую ежедневно, он жил в своей иллюзии и мог подписывать мне стихи — любимой! Не специально, но я берегла легенду, — издали это было легче. «Жесткая ты стала», — сказал он, когда я в очередной раз не поддержала его идею вернуться домой от следующей жены. Осталась в завет его нежность.

Популярный телеведущий, любимец города, хорошо известный в столице как один из создателей КВН, как автор телевизионных пьес и сценариев всесоюзного вещания, он был опасным конкурентом для тогдашних модных видовцев. «Ты проломил мне жизнь», — сказал он мне в Москве. И с большим трудом после долгих поисков обрел на всю оставшуюся жизнь тихую гавань в журнале «Журналист». Я всегда буду тебя любить, только жить с тобой не могу — он принял мое объяснение. Навсегда до последней минуты своей земной жизни мучаюсь, буду мучиться своей виной и перед Кузнецовым, и перед Богом, что не сумела сберечь его, вырастить, помочь реализовать его талант. «Мне Бог дал воо! — он разбрасывал большие красивые руки, показывал, — и я все профукал, пустил по ветру...» Так и было: пил, гулял, жадно искал впечатлений, бесконечно самоутверждался в разном: в заработках, в приключениях, в бабах — это в молодости, а потом уже только работал, зарабатывал, обожал свою собаку Наночку, писал только для себя дневники, стихи, пил сам с собой, один...

День ото дня пространство вокруг становится все безлюднее, жизненные сюжеты короче. Нет, мои родные, близкие все рядом, все во мне, только не позвонят и за стол не сядут. Но я верю — помогают. Там, откуда не возвращаются, почти все мои мужчины. Это в миру имеет значение их последовательность, кто кем назывался, мужем или любовником, были ли по очереди или одновременно, при жизни я ни-

когда ни с кем не расставалась, сейчас они все вместе в памяти, в оставшейся моей жизни. Бога гневить, жаловаться на судьбу мне не за что. Он даже постарался и показал мне все возможное мужское разнообразие. Как бы в отдых после развода с Кузнецовым был светлый, святой Николай Александрович Путинцев, образец порядочности и преданности, который подарил мне двадцать четыре года обожания и ни разу не дал даже возможности с ним поссориться, ибо руководствовался им же положенным принципом: ты лучше всех, и ты всегда права. Ангелы послали Путинцева. Затянувшийся отдых, плавно перешедший в старость... Моя капитуляция. «Он тебя избаловал, как кошку», — ворчал мой папа. Будучи на двадцать лет старше, он никогда не был в тягость, всегда только в помощь и в радость. Не пил, не курил. Был образцово чистоплотен в прямом и переносном смысле. Бабушкой обозвала его когда-то сестра Софа. Это после того, как я попробовала ей объяснить, почему рядом со мной появился этот немолодой, невысокий, не красавец: еще только бабушка любила меня так же, как он, — вот и заслужил у моей родни прозвище. А Кузнецов говорил, что ему выгодно, чтобы рядом со мной был «старичок», — так он говорил.

Образец знаний и образованности, живая история советского театра. Легендарный завлит Центрального детского театра, в пору это был едва ли не лучший театр Москвы.

Ну какой другой мужчина, кроме Путинцева, смог бы, позволил бы, когда в семье появился Некто другой — третий, боясь, что в силу возраста его может не стать, а его «девочка» останется без помощи, одна, принял нелегкое для себя и странное для многих окружающих решение: не прогоняй, пусть он, другой, тоже будет рядом с тобой, с нами. И тот, новый, молодой, на двенадцать лет меня моложе, преподнес мне новую модель отношений, стал действительным помощником, оставив по себе на долгие годы реальные следы своего присутствия: потрясающе оборудованную кухню, ванную, туалет, какие-то немыслимые шкафы, вписанные в каждый свободный уголок квартиры. Он ходил со мной на рынок, чтобы я не тащила тяжелые сумки, гладил платья — ты все равно не умеешь, перенизывал бусы... «Ты — королева, а ведешь себя как домработница Нюша», — внушал он мне. Сын главного судебно-медицинского эксперта страны при Сталине, генерала Николая Попова, автора учебника, по которому до сих пор учатся в медицинских вузах, констатировавший смерть вождя, до него Максима Горького и всей советской верхушки, его сразу же после 1953 года не стало, трудно верить в инфаркт в так точно назначенное время. А сын Алексей рос в одном подъезде с младшим Нейгаузом, играл в одни игры с Никитой Михалковым, был советским инфантом, но уже тогда не только был представителем советской «золотой молодежи», а наладил шитье модных, недостижимо «американских» джинсов для своих друзей. Все умел, золотые руки. Был мастером спорта, членом молодежной сборной страны по баскетболу, кандидатом технических наук, в числе прочих занятий оформлял витрины знаменитых валютных магазинов «Березка». В 90-е выпал из жизни, растерялся, с его-то умениями и руками! Запил по-черному. «Что вы, мужики, в этой водке находите?» — спросила я его однажды. «Забвение», — сказал,

Три совсем разных мужчины... Послал их мне Бог как бы не для того, чтобы с любым из них я могла создать нормальную привычную семью, а скорее для радостей и впечатлений, очередных страданий и для нового познания. Живая наглядная иллюстрация мечтаний гоголевской Агафьи Тихоновны: если бы нос Ивана Ильича да рост... Ну, не бывает все сразу вместе. Тщетны наши женские мечты об идеале и о единственном. В моем случае — несколько за одного.

Так и ходили в театры, на премьеры втроем: «Это Николай Александрович, а это Алексей Николаевич», — представляла я их общим знакомым. Потом младший

взбунтовался: «Ну, он в миру — твой муж. А я тогда — кто?» Стала водить их по одиночке, скрывая то от одного, то от другого. Все-таки при всех мирных и благодатных отношениях, да и у каждого была своя квартира, свое пространство для дел и обязательств, они по-своему ревновали меня. Алексей Николаевич сейчас с отцом на Новодевичьем кладбище, а Николай Александрович на Преображенке, на Богородском погосте со своим отцом, ближе всех ко мне, прямо напротив дома. Главный утешитель.

Вот такое досталось: жили втроем, вопреки общественным правилам. Они оставили меня оба в один месяц как раз, когда я сама с собой сосчитала золотой юбилей общей семейной жизни. Ну и что? С разными мужчинами разве было хуже или легче, чем с одним?! Пятьдесят лет — не хухры-мухры, сказала я себе... Отпраздновала, принарядившись, надев бриллианты. Сама с собой. Одна. Хотя тогда еще могла быть не одна. И все вдруг у меня посыпалось.

Это было точно и, наверное, не случайно, на рубеже веков XX с XXI, на рубеже тысячелетий, в миллениум, в 2000 году. С тех пор боюсь двоек, цифры 2. Именно на это время был назначен апокалипсический прогноз. Для меня он сбылся. Я вообще верю в магию чисел.

...Случилось немыслимое: Бог забрал у меня мою единственную дочь Женю, Женечку, Жеку, Евгению Петровну. Не меня, ее забрал, хотя если бы это от меня зависело, я бы с готовностью ее заменила. Она только отметила свой полувековой юбилей, умница, красавица, совсем не умела себя беречь, рассчитывать. Сначала — инфаркт, а потом — все! Не стало. Почти одновременный уход двух моих последних мужчин был сигналом бедствия, предупреждением, грозным зовом судьбы. В октябре, в месяц ее рождения, сразу два ухода: Николай Александрович дострадал свою онкологию, а Алексей Николаевич упал и не встал после инсульта. Но я тогда не расслышала это SOS!

Представить себе не могла. Даже легкомысленно сказала Риве Левите чуть раньше, так ужасно потерявшей сына Женю Дворжецкого в автомобильной катастрофе: как же ты теперь жить-то будешь? Хорошо помню ее молчаливый жест, развела руки, беззвучно произнесла: «Не знаю». Оказывается, и я живу после... Отрубили, половину сердца, души вынули, положили вместе с ней в землю на Митинском кладбище. Но почему-то я еще хожу, дышу, разговариваю... Впервые усомнилась в Божьей справедливости и милости. Ну что ж?! И этот грех добавится к другим тяжким. Бог посылает столько, сколько ты можешь выдержать. Испытывает тебя, — повторяю себе. Мне для себя теперь нечего просить. Не надо. Только для близких, для внучки, для двух правнуков. А вдруг доживу до праправнука или праправнучки?! Считается, что Бог за это все грехи прощает. Дай, Боже, моим детям силы и смысла на жизнь, спаси и сохрани их, подари то лучшее, что было у меня и что мне недодал. А мне теперь на все оставшиеся годы не умножать бы грехов, отмолить накопившиеся, успеть покаяться. Наверное, это самая трудная из всех возможных земных задач.

Пока живу, буду помнить ту зиму, морозную, снежную, суровую. А вот 22.02.2002 года, день похорон, совсем не помню. Знаю, что по кладбищу меня таскал на себе Кузнецов. Лицо дочкино помню, прекрасное, успокоившееся, отстрадавшее. Последнее.

По утрам ко мне прилетает воробышек. Присаживается на балконную решетку, дрожит, трепыхается на ветру, потом падает вниз, нет, не улетает, а падает и исчезает.

Мне кажется, я узнаю его и тогда, когда он прилетает не один, в стайке других, я его знаю, он самый зябкий и незащитный. Вот он опять упал и исчез. Вскрываю с кровати, заглядываю за окно, ищу. Опять не успела ничего сказать. А главное, услышать ответ. Впрочем, так было и при ее, моей дочери, земной жизни. Я всегда убежала на работу, уезжала в командировку, уходила от одного мужчины к другому, ждала телефонного звонка, суежилась, бегала. Мне всегда было некогда. А она родилась, росла, жила сама по себе... тихо ушла... Ей, конечно, не хватало даже простого моего присутствия. Но вот она прилетает ко мне зяблым воробышком. Моя расплата за грехи. Недолго она пробыла в человеческом обличье, была слишком красива, слишком другая среди людей, ей всегда было зябко и неудобно. Защитить себя не могла. «У меня нет твоей воли и таланта, а учительницей в школе я быть не хочу», — сказала она и бросила университет.

Ей надо было к кому-то прислониться и чтобы ее не тревожили. Мужья ее для этого были плохо приспособлены, а дочь, которую она жадно желала и яростно защищала от меня с восемнадцати лет, видимо, ее дефицита тепла, жажды родного и близкого тоже не заполнила. «Ты хочешь аборта, ты его и делай», — когда-то спасла она от меня собственную дочь. Воробышья душа! Но все равно всегда была одна, как и я, сама по себе. Нас разделяли всего-то восемнадцать лет. Наверное, я еще и не успела ощутить, осознать материнской ответственности. Изо дня в день служба, заботы, людская толпа в метро, — как не любила она туда спускаться! Муж — «красный» директор, гордившийся, что он из ФЗУ (кто не жил в советское время, это фабрично-заводское училище) «шагнул» в начальники. «На старости лет с голой задницей» — было его любимое выражение. Для нее все это было трудно и неинтересно. Любила свой углышек в кухне на диване и чтобы дома никого не было. Курила. Собирала библиотеку из женских романов и детективов, чтобы про любовь и богатых и не про жизнь... Посидела-посидела на жердочке и упала.

Воробыи снова прилетели. Их много. В глазах рябит от дрожащего, серенького. Какая среди них моя? Сыплю пшено в коробочку за окном. Радуюсь гостям. Моей дочке. Если не схожу с ума... С годами боль утраты не ослабевает. Она привычно внутри. А тут недавно появилась трясогузка! Летает и летает. Смотрю, а в одном из цветочных горшков на балконе — маленькое гнездышко, и там крошечное белое яйцо и две такие же головки. Она у меня птенцов растила. Вырастила и унесла всю семью. Моя компания! Теперь и ее у меня нет. Улетели.

Надо мной на Черном море летают чайки, в первый раз вижу — не над морем, а над домами на побережье. Особенно их много по ночам, орут, стонут, не дают спать. Тревожат шумом, агрессией, большой стаей, фантастическими в лунном свете очертаниями. Нет, моей дочери среди них нет, не может быть. Ее хоть и тянуло всегда в небо, над людьми, заботами, мелкими дрызгами, — это пока я твердо ходила по земле, месила грязь ногами, жила среди людей и суеты, вот и по дну морскому тоже пешком, не плаваю, она и среди крылатых могла быть лишь воробьем. Либо голубицей, не нашедшей себе пару.

Часто в толпе мне чудятся знакомые лица. В метро, на эскалаторе: воротники, спины, лицо одно на всех, бледный непрожаренный блин... Толпа надвигается, едет на тебя, мелькает очками, ты среди всех так же неотличима, одинакова, и вдруг — большие покатые плечи, мягкое круглое лицо, меховая пирожком шапка: Олег! Ты где? Позвони... Не успеваю крикнуть. Фигура растворилась. Ее унесло. И меня в другую сторону. Сзади, сбоку подтолкнули, и я уже в вагоне. Да нет, это, конечно же, не Олег! Он давно там, откуда не приходят. Но почему мне пригрезился именно он, кого я и при жизни-то нечасто видела. Совсем не самая большая из моих потерь... А вот

на тебе, встречаю, вижу... Разговариваю. Да что там — Олег?! Вдруг в сознании возникают люди, которых и знать не знала, просто встречала: сосед по подъезду... женщина со двора... Я часто встречала ту женщину, для меня — без имени, она проходила, пробежала, потом ковыляла мимо: толстела на глазах, все тяжелее раз от раза ходила, потом исчезла вовсе. Мне же порой кажется, что она идет мне навстречу. Из недр памяти, из безвозвратно ушедшего.

Наверное, не случайно мне вдруг увиделся Олег Моралев, когда-то воспринимавшийся как образец успешности и благополучия. Сейчас-то я понимаю, что он скорее хотел таким быть или, по крайней мере, казаться, нежели действительно был таковым. Оперный режиссер, он мечтал о Большом театре, а работал на периферии, в оперных театрах Минска, потом Нижнего Новгорода.

— Когда я вхожу в зрительный зал Большого и оказываюсь в этом белоснежно-золотом, кружевном, хрустальном, бархатном пространстве, — говорил он, — я понимаю, что только здесь я могу быть счастливым.

Прости меня, Олег, но, по-моему, он был не очень талантлив, зато упорен, добросовестен, потрясающе работоспособен. Ему все доставалось немалыми усилиями. И он вроде бы всего добивался. Работал в ГИТИСе, где преподавал, стал профессором. А потом и попал в обожаемый Большой театр, был принят режиссером. Ну и что, если не дадут поставить ни одного самостоятельного спектакля? Буду делать вводы... зато — в Большом! Два спектакля он все-таки выждал, высидел — «Чио-Чио-сан» и «Каменного гостя». Это чуть ли не за два десятилетия. Но всегда умел себя утешить, а Геловани, это его коллега, ни одного спектакля не сделал... Еще он мечтал о звании заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Но ему, как оказалось, мешало звание, полученное в молодости, заслуженного артиста Белорусской ССР, ибо по существующим тогда порядкам следующим в иерархической лестнице должно было стать звание хоть и в другой республике, но народного.

Уж не знаю, чего ему стоило все-таки одолеть и эту трудность, получить мечтаемое. Кстати, сейчас еще большая «абракадабра» с этими званиями, которые, как известно, дают у нас в стране вместо приличной зарплаты, нормальных социальных гарантий, «китайщина», какой нет ни в одной просвещенной стране. Так сейчас придумали, что почетное звание можно получить только после двадцати лет непрерывной работы в одном театре. Значит, прекрасная рязанская молодая героиня Марина Мясникова, которая тянет на себе весь репертуар, украшение спектаклей, сможет получить почетное звание только к старости!!! А Моралев неусыпными трудами, день за днем одолевал трудные цели и задачи. Режиссер, профессор Театрального института, заслуженный деятель... Для полного счастья не хватало лишь квартиры на улице Горького. У него была маленькая хрущевская кооперативная в Марьиной Роще, где он жил с обожаемой мамой, для нее — единственный, лучший в мире сын! А когда получил-таки квартиру на улице Горького, теперь опять Тверской, дал Большой театр, это было возможно в советские времена, вскорости умер.

Семью завести не успел, не сумел, не захотел. Жил одиноко, без друзей, ездил каждое лето в один и тот же Мисхор, в театральный дом отдыха, это было дешевле всего, тогда, не сейчас, когда в Союзе театральных деятелей, так же как всюду, перестали думать и заботиться о людях. Семью Моралев так и не завел: влюбляться, чтобы потом разочаровываться и страдать... — говорил он. Жил с незаметной артисткой миманса в качестве услуги. Та потом судилась за его квартиру. Кажется, отсудила. А у него — один инфаркт, второй — уже в больнице, а из больницы он в свой с таким трудом благоустроенный мир уже не вернулся.

Мне рассказывали, что в промежутке меду инфарктами он звонил в Большой, беспокоился, что без него должно пройти отчетно-выборное партийное собрание,

вдруг не выберут в партком?! Вроде всего достиг, о чем мечтал. И в одночасье — все прахом. И помнят-то его теперь немногие. А может, уже никто.

Мечтал о шинели незабвенный гоголевский Акакий Акакиевич, из этой шинели, как известно, вышла вся русская литература, ограбили, украли на улице эту шинель, герой и умер. А Олег, всего вроде добившись, чего хотел, наверное, осознал трагическое противоречие: а счастья-то нет! Ради чего жил? Или теперь уже у Чехова — жил-жил благополучный чиновник, раболепствовал перед вышестоящими. Однажды ненароком чихнул на начальственную лысину и от страха, отчаяния тоже умер... Вот и вся жизнь маленького человека.

Великие примеры, а для меня с ними в ряд Олег Моралев. Был большим, красивым, породистым, сам сделал себя маленьким. Он оказался в рабстве у своей карьеры, у собственных представлений об успешности.

Счастье — в труде, с детства в этом понятии растили нас в Советах. Сначала думай о Родине, а потом о себе... Да и представление о себе, понимание себя подменялось лишь общественной значимостью, социальным весом, официальным авторитетом в глазах власть предержащих. Сам ты — винтик. Впрочем, и сейчас мало что переменялось. Только тогда главным мерилom достоинств почиталась карьера в противовес нынешнему богатству. Теперь принято, модно искать в биографии, как тебя, передового и прогрессивного, «прижимали», не пускали, подвергали гонениям. И пресловутый «пятый пункт» используется как мученический крест... Я знала, что надо быть отличницей и получить медаль, тогда ты поступишь в университет. Была гуманитарной девочкой, любила театр и сделала его своей журналистской профессией. Надо стать незаменимой в профессии, быть лучше других, и ты будешь востребована. Ты должна многое знать, уметь, это то, что я точно знаю. Если ты не лучше других, такая же, как другие, тебя легко заменить. В моей профессии всю жизнь держишь экзамен на состоятельность, на право выступать от имени других, для других — что еще журналистика?! Попросту — способность быть интересной, полезной окружающим. Всегда. Я не верю, что в журналистике можно удержаться по благу, по связям.

Учусь ни на чем не настаивать, не лезть в душу, не быть запальчивой и занудной. Учишься всю жизнь. Высказываю свое мнение, а читатели — как хотите... верите, разделяете? Все по-разному. На всех не угодишь. Всем, как пятак, не понравишься. И не надо.

Всю жизнь делаешь не карьеру, имя. Не знаю, но никаких притеснений и гонений на себя не помню. Ссорилась, портила отношения, защищала себя — вот и все. При всех режимах писала то, что считала нужным, что было самой интересно. Наверное, был внутренний голос, свой редактор, что можно, что нельзя, но ведь он в любом случае есть у каждого человека, независимо от политической конъюнктуры. Конечно, заблуждалась, но не по чужой воле. Помню, меня отругала моя подруга, актриса Людмила Аринина, когда я удивилась и умилилась, встретив в далеком Алтайском крае образцовый колхоз, организованный еще с войны ссыльными туда немцами из Поволжья. Статью про них вынесли в те поры — а это были застойные 70-е — в передовицы — газеты ЦК КПСС «Советская культура». Подруга посчитала, что в пору всеобщей разрухи и лишений я не должна была этого писать. Но я же была искренна.

Или помню в той же газете другой случай: я заступилась за несправедливо выгнанного с работы, казалось бы, подумаешь, рабочего сцены Трускавецкого Дома культуры, что в Западной Украине, на Львовщине, а он оказался диссидентом, борцом за гражданские права, и почему-то о нем лично знал тогдашний секретарь ЦК КПСС Украины Щербицкий. Он и обратил свой гнев на меня. Прислал жалобу в га-

зету, что я защищаю антисоветчика. Ну, подумаешь, на год запретили печатать мои статьи, все равно меня печатали, но под чужими фамилиями. Подвигом я это не считаю.

Жила свою жизнь, не жалею, писала, старалась делать то, что считала нужным. Повторяюсь, но это очень важно для меня. Помню, однажды в составе Министерской комиссии послали меня в тогдашний Свердловск, нынче Екатеринбург, отбирать в местном драмтеатре лучшие спектакли для показа в Москве, была тогда такая практика, так в числе моих рекомендаций оказался спектакль по новой пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря», ее почему-то считали вредной для советской власти. Опять же — ни в какую борьбу я не вступала, сумела убедить доводами, спектакль играли в столице.

А если мне чего и не хватало, так собственных возможностей и способностей, ума и таланта. В общественной же жизни всегда считала свободу без порядка бессмыслицей.

Приходила в редакцию «Вечерней Москвы» или «Советской культуры», «Культура» тогда еще была газетой ЦК КПСС, «советской», спрашивала: «Можно я для вас напишу?» И оставалась, если хотела, до тех пор, пока хотела. В штат туда не ходила, не просилась. Да, наверное, меня и не взяли бы. Все-таки пресловутый пятый пункт, а там, что во все времена в России не очень-то любили, написано: еврейка. Но я никогда не думала, тем более не комплексовала и на сей счет. Жизнь не давала к тому поводов. Вот и с редакциями газет наши желания счастливо совпадали. Мне надо было только печататься. Я привыкла добиваться того, чего хочу. А хотела, по ограниченности, немногого. Всегда работать. Больше ничего. В годы моей юности лучшей газетой была «Литературная», подписаться на нее было очень трудно, она была лимитированной, о том, чтобы печататься в ней, даже не мечтала — но вот они, мои статьи, иногда чуть ли не на целую полосу, именно в этой привычно обожаемой мной газете. Повторю себе в утешение: при всех временах и режимах я всегда делала только то, что хотела, во что верила. И уходила с работы, от мужей, не оглядываясь, все бросая, ничего не боясь, если так считала нужным. Это ли не счастье?!

Мне кажется, что жизнь никогда не перестает быть неожиданной и интересной. Хватило бы только у тебя сил, мозгов познавать ее, участвовать в ней. Очень страшно думать, что однажды это может иссякнуть, это ведь происходит независимо от возраста, в разное время. Каждый из нас все равно проживает себя разного. И за собой наблюдать очень интересно. Мне кажется, сейчас кажется, раньше я так не думала, что связь человека и социума, конечно, существующая, в еще большей степени зависимость художника от власти все-таки несколько преувеличена в общественном сознании.

Ну, наверное, для самого Булгакова имело значение, любит или не любит его Сталин, печатаются ли его книги, идут ли пьесы при жизни. Так же как для Саши Вампилова — сыт он или голоден, есть у него где ночевать в столице, или снова придется спать на вокзале, я хорошо его помню, они обычно жили с Кузнецовым в одной комнате. На регулярно проводимых советским Министерством культуры семинарах в помощь молодым драматургам. Но это не помешало ни Булгакову, ни Вампилову стать классиками, создавать непреходящие образцы творчества. А истории все равно, когда пошли их пьесы, при их жизни или после нее.

Мне однажды на одной из встреч с моими студентами, будущими журналистами, пришла в голову, понимаю, небесспорная мысль, что это нам только инерционно кажется, что мы творим для народа, что мерило деятельности — общественная польза. Мы творим для самих себя, свою жизнь и себя. Необязательное счастье, если это совпадает со временем.

Но как суметь преодолеть уготованные тебе испытания? Выдержать. Не сломаться. Особенно мучает это нас на старости лет. Когда мало уже что остается. Уходят силы. Многое уходит. Опять же Бог забирает нас постепенно. Ты перестаешь саму себя узнавать. Прежде проснулась, вскочила, побежала, в пять минут собралась... Теперь чуть быстрее встала — голова закружилась. Поясница не разгибается, надо еще разойтись, распрямиться... И завтрак готовишь медленнее. И чтобы собраться, выйти из дома, надо больше времени. Опять же трудно ничего не забыть, двадцать раз проверяешь, положила ли в сумку ключи, очки, кошелек с деньгами...

Тут намерен с подружкой договариваюсь у метро встретиться, она вынесет мне пачку масла. Встретились. Она смеется: а я твоё масло с мусором выкинула в помойку!

Как же терпеливо принять эти новости в себе, в близких? Как приспособиться к внезапно появившимся странным переменам? Что называется: ждал седину, пришла лысина. Пустеет пространство вокруг и внутри тебя. Зубы ведь тоже выпадают постепенно: один, другой, третий... И вот уже они существуют отдельно от тебя в мисочке с водой, в виде вставной челюсти. И аппендикс выкинули, видите ли — он лишний! За ним последовал желчный пузырь... матку тоже долой! Все меньше тебя остается.

Уходят близкие, родные, друзья, знакомые... В записной книжке все больше фамилий обведены траурными рамками. А когда переписывала, заводила новую книжку, в ней осталось совсем мало фамилий, номеров телефонов... Лучше буду пользоваться старой, чтобы и те, кого нет, были всегда со мной, будто стоит мне захотеть, и я им позвоню...

Стоит только снять трубку: Валь, как там у Цветаевой: пора снимать янтарь, пора гасить фонарь... — слышишь ответ. Лазарь, напомни, что было на третий день создания? — тебе отвечают. Теперь же нет ответа. Всегда вокруг было много мужчин, они отвечали на твои вопросы, помогали тебе. Теперь и попросить гвоздь забить некого. Истории, которые с тобой происходили, были длинными, их было интересно рассказывать. Теперь вроде бы ничего и не происходит. Шла с пляжа мимо соседнего отеля, садовник состриг, протянул красную розу через решетку, улыбнулся, что-то сказал по-болгарски, вот и весь сюжет. Весь роман. Теперь и мужчин вокруг меня почти нет. И роль их в пьесе моей жизни меняется.

С одним мужчиной из оставшихся от прошлого приятелей я ссорюсь. Поучить меня ему — одно удовольствие. С мужчинами и ссориться всегда интереснее, чем с женщинами: опять ты в свою Рязань поехала? Неужели не надоело?! — это с раздражением. Снова ты пишешь про опасности для репертуарного театра, про гибель режиссуры как профессии... Ты же писала про это... Лучше бы в театр современной драматургии сходила, взглянула бы, что там делается — с абсолютной мужской уверенностью в том, что все равно баба-дура и без мужика сама ничего не понимает...

С другим можно сходить в театр, обсудить, перемыслить косточки коллегам по цеху. Он большой, эффектный, шумный. Молодой. Его любовь, страсти — для других. Разница в двадцать лет, понятно, в чью пользу, не для меня, не по моей гордости, а главное, не по силам и уже желаниям. Мой максимализм прежде всего распространяется на меня саму. Своих возможных мужчин вижу на улице, на скамеечке у подъезда, дряхлые старики, не видят, не слышат, еле ходят... Плохо воображают. Женихи?! Друзья? Помощники? Чтобы навсегда избавить от иллюзий дам моего формата, пребывающих в мечтах еще раз устроить женскую судьбу, выйти замуж на старости лет, избавиться от одиночества, я бы их отослала в социальные санатории, где по вечерам старики ходят на танцы. Знаю, что многим это нравится. Коллеги-журналисты любят писать про вечера в парке «Сокольники», умиляются танцам под баян. Мне это кажется безобразным, некрасивым. Всему свое время, у меня сердце надрывется, когда я вижу пыхтящих, задыхающихся, немощных «танцоров». У

каждого возраста, как у артиста в роли, свои приспособления, свои выразительные средства, свои костюмы и приемы. С возрастом надо считаться. Понимать перемены. Жить в зависимости от них.

И коллеги предпочитают иметь дело с молодыми. Наверное, те интереснее. А еще они легче понимают друг друга, если нет разницы на поколения.

Теперь даже сплетен про меня стало гораздо меньше. Когда-то одно удовольствие было их слушать. Чего только не приписывала молва! С этим спала! С этим спала! И с этим спала... Этот за нее пишет статьи... Этот купил ей квартиру. Покажите мне наконец эту счастливицу, за которую так дорого платят... Ах, это — я же?.. Как интересно! С огромным любопытством всегда слушала сплетни про себя. Теперь даже покупка квартиры в Болгарии аукнулась весьма скромным всплеском интереса. Да уж совсем мало осталось в живых тех, кто знал меня, интересовался мной. Конечно, понимаешь про жизнь не на примере других, только по личному опыту. Старость — это уходы, прощания, расставания навсегда. Одиночество. Болезни, немощи... Но одиночество — самое трудное.

И вся моя трудовая неутомимость, я думаю, не только от духовных потребностей, но и от страха одиночества, боязни остаться с ним один на один. А еще от необходимости продолжать зарабатывать. Так что есть и гораздо менее возвышенные мотивы. Как жить на одну унизительно маленькую, не обеспечивающую минимальных человеческих потребностей пенсию? Я вот думаю, что если бы нынешние такие гладкие, велеречивые, самодовольные наши руководители, изо дня в день торчащие в телевизоре и докладывающие об успехах страны, только задумались, может, не знают, что это за понятие — потребительская корзина?! И как в ней уложить сегодняшнюю оплату за квартиру... цены на лекарства... не дай бог, болезнь и необходимость лечиться... да даже просто ежедневные нужды, нормальные, а не те, которые они в нее, в эту дурацкую корзину, уложили, — они бы, наверное, по-другому заговорили. Впрочем, наивно, легкомысленно думать, что они не знают, как живет народ. Знают, конечно. Просто наплевать им на нас, на стариков в особенности. Ну, и мне на них тоже наплевать и забыть! Хотя уж слишком часто они про себя напоминают, не помогают, а мешают жить.

При каких только режимах не жила... Сталин... Хрущев... Маленков... Брежнев... Подгорный... Горбачев... Ельцин... Путин... Медведев... советская власть и ЦК КПСС... Перестройка... Будто бы демократия... Войны: финская... Вторая мировая... Афганистан... Чечня... Развал Советского Союза... При мне возводили Берлинскую стену после войны и при мне разрушали ее. Среди многих сувениров, привезенных из путешествий по разным странам мира, есть у меня кусочек этой стены, доставшийся из теперь уже единой воссоединенной Германии.

Во многих странах была. Да почти во всем мире. Разве что до Австралии и Антарктиды не доехала. Теперь уж не успею. И уж точно поняла: хорошо там, где нас нет. И при любых режимах, странах, правителях каждому из нас положено пройти через неизбежное и последнее — старость. А это трудней, чем любые социальные катаклизмы. Да и привыкла рассчитывать только на себя, не на государство. Многого видела я в жизни за почти восемьдесят своих лет. Через многое прошла. Во многом принимала участие. Удалась ли жизнь? — вот уж не знаю. Это только в молодости кажется, что ты знаешь на все ответы. С годами сомнений все больше. Опыт, знания умножают лишь печаль. Ясности и мудрости не всегда способствуют. Все живут по-разному. У одних цель, чтобы просто выжить, у других — накопить побольше денег, превратить еще в большее количество денег, разбогатеть... Я, дура, работаю... ради работы. При всех режимах, старых, новом, богатой никогда не была. Да что там?

Просто обеспеченной, чтобы не думать о деньгах... тоже не удавалось быть. Когда-то у выпускницы университета была зарплата в Горьковском управлении культуры, у старшего инспектора по искусству — семьдесят девять рублей, сейчас пенсия — двенадцать тысяч... Этих тысяч сейчас меньше, чем прежних рублей. Того, что было, хватало на необходимое, во всяком случае, понимаю, что в нынешнее время это выглядит дико, но особенно о деньгах не думалось. Ну, как не хватало одного дня на подготовку к экзаменам, так зарплаты не хватало всего-то на пару колготок. Никогда этим не мучилась, привыкла. В двадцать пять лет впервые с Кузнецовым приехали на курорт в Сочи. Сохранилась фотография, я в простеньком ситцевом платье, но — очень красивые и счастливые. После пенсии смогла больше путешествовать. Ну, не в «пять звезд» отели ездила, а в три... Ездила по Европе автобусом. В круизе — каюта без окон... На мое ощущение себя счастливой или несчастливой уж точно количество денег не влияло. Сколько было, столько хватало. Сколько ангелы отмеривали... Сколько зарабатывала. Много или мало — не важно. Никогда про это не думалось.

Трудности, скромная жизнь были твоими неперенными спутниками. Зато вкалывала всю жизнь, как проклятая. Это было и необходимостью, а потом и защитой и спасением. Наверное, своего рода — вид ограниченности. Но у послевоенного поколения, у сталинских пионеров — это в крови. Работать не для денег, а... чтобы снова работать, чтобы тебе опять дали работу... И чувствовать себя счастливой от удовлетворения работой. Теперь-то я отчетливо понимаю, какой я ограниченный человек. С завистью наблюдаю за заграничными старушонками: как с утра сели в кафе на улице на белый стульчик, так могут целый день просидеть над одной чашечкой кофе, причесанные, аккуратные, принаряженные. Нет, я так не смогу.

И курить не научилась. Говорят: снимает стресс... Нет у меня и этой радости. Однажды в юности попробовала, задохнулась дымом, закашлялась и навсегда отрезала. На спиртное всю жизнь — чихаю, вот такой аллергией наградил Господь. «Ей, видите ли, невкусно, — пародировал меня Кузнецов, — а нам вкусно!» И все в компаниях смеялись. Научилась, умею жить на скромные доходы. Лишнего мне не надо. Люблю клубнику со сметаной. Грибной суп. Селедку. Жареную картошку. Куриные котлеты — вот, пожалуй, и все. Большие пространства для меня — лишь пейзаж: море, небо, горы... Хорошо мне в маленьких, уютных комнатах, как в Арзамасе, в детстве. Стоят в моей московской квартире посудомоечная машина, СВЧ-печь, новые, я их не включаю, а действую старым, «бабушкиным» способом; автомобиль мне не нужен, тоже — одни заботы! Люблю ездить на трамвае. Медленно. Смотреть в окошко. В метро люблю разглядывать попутчиков. Ненавижу сотовые телефоны, традиционно считаю, что для телефонных разговоров должно быть время и место. Даже раздражаюсь, когда слышу орут в метро: «Вань, ты где? Я на Соколе. Ты че? Я ниче...» Очень «важно»! Под напором презирующих меня знакомых я сдалась, но заявила, что заведу сотовый после того, как услышу три подряд содержательных, необходимых разговора. Пока не услышала.

В старости, когда чувства, эмоции, желания уходят, радуюсь любым желаниям: вдруг захотелось новые туфельки... — какое счастье себя побаловать. Или сарафан новый — тоже радость, сызмала тряпичница! Счастливая постоянная игрушка. Опять же уверена, независимо от денег. Богатства для этого не надо. Наоборот, купить в Болгарии маечку по дешевке на распродаже за два лева или чемодан на колесах за пятнадцать — дополнительное удовольствие. Как говорила кузнецовская мама Ада, сойдя с трамвая в Канавине: едешь, как на такси...

В моем Арзамасе не было ничего нарушающего природу, даже общественного транспорта, автобус был только до железнодорожных станций Арзамас-1 и Арза-

мас-2. Его весь можно было пройти пешком от старого кладбища, где при мне был березовый перелесок, а теперь парк Гайдара, до нового и речки Теши. Росла вольной. Церквей и монастырей вокруг меня было едва ли не больше, чем жилых домов, вот и впитала в себя с детства дух православия, хотя для советских времен это скорее образ, ощущение.

У нас — огромный сад с пятиствольной липой, под которой будто бы Максим Горький во время ссылки в Арзамас писал свою пьесу «На дне», в доме моих бабушки и дедушки, купивших дом у сестер Подсовых гораздо позже пребывания здесь великого пролетарского писателя. До революции на дворе лазили через забор, играли в «салочки» мой папа, будущий известный столичный доктор Адольф Гольдин, со своим другом Аркашкой Голиковым, потом ставшим гораздо более, чем папа, известным детским писателем Аркадием Гайдаром. Голиков Аркадий из Арзамаса, как папа расшифровал его псевдоним. Отсюда, они были соседями, четырнадцатилетний мальчишка сбежал на фронт Гражданской войны и в шестнадцать стал командиром полка. Здесь — главная родина его книг, прежде всего «Школы». В нашем бывшем доме сейчас музей Максима Горького.

Приехала в Нижний в командировку на театральные фестивали, вышла из гостиницы, встала над Окой, впереди Стрелка, где сливаются Ока с Волгой, подо мной — старинный белоснежный храм, колокольня отбивает время каждые полчаса, напротив за рекой бело-красный терем Нижегородской ярмарки, теперь снова — ярмарки, а в мое время здесь был горком комсомола, где я тоже поработала. Там же за рекой величественный собор Александра Невского. А на Откосе замечательно отреставрированный дом купца Рукавишниковова с причудливой роскошной лепниной, такой обильно нижегородской, с размахом и богатством, бьющим по глазам! Простор... Красота... Масштаб... Мой город! Мой мир! Уж извините, господа, моя Россия.

Я думаю, что мне повезло на нестоличное происхождение. Провинциалам же в столице надо на самом деле доказывать себя, вкалывать. Провинциалов в Москве не любят, называют приезжие, мигранты, гастарбайтеры... родители боятся браков столичных детей с провинциалами, прописывать их, вдруг отнимут квартиру, сядут на шею... Но обойтись без провинциалов не могут. Я приехала в Москву уже сформировавшимся человеком. А вольнолюбие, независимость, амбициозность привезла с собой. Потом во многом это определило и то, чем я стала заниматься, провинциальным, еще его называют — периферийным русским театром. Пропать между ним и столичным театром все увеличивается в последние десятилетия... а я именно рязанский, ставропольский, тульский, белгородский, волгоградский, ярославский, нижегородский театры, могла бы перечислять все отечественные, как теперь принято говорить, регионы, люблю, чувствую, понимаю. Там до сих пор спектакль — это спектакль, а в столице давно уже — проект, в последнее время — продукт (!). Здесь и актеры, и зрители с их запросами — другие. Столичная «порнуха» не проходит. В Белгороде годами с аншлагами идут трехчасовые, длинные, несокращенные «Горе от ума», «Лес», на них не достать билетов... Москвичам они бы показались скучными. Таких прекрасных подробных классических спектаклей, как до недавнего времени умел делать в Туле ученик Товстоногова Саша Попов (его недавно не стало), как его «Власть тьмы», например, или белгородская классика, которую ставит там столичный Борис Морозов, или владимирские «Ромео и Джульетта» А. Огарева, рязанские «Дядя Ваня», «Наполеон I», нижегородский «Дядя Ваня», в столице давно уже нет и не может быть. Чистые, трогательные, трепетные спектакли. Трогающие душу.

Приехала на фестиваль в Белгород: «Актеры России — Щепкину», — он их земляк, родился неподалеку в селе Красное, а фестиваль-посвящение ему проводится

здесь с 1988 года, вот уже в восьмой раз, и собирает лучшие театры, лучших актеров России. Здесь не обмануть, не купить премию за деньги, как, говорят, бывает на «Золотой маске», все — на лицо. А билетов на спектакли не достать. Узнав, что мы едем в театр, меня и моих коллег, членов жюри, попутчики в поезде Москва–Белгород стали просить помочь попасть на фестивальные спектакли.

На открытии фестиваля, когда хозяева сцены давали свой «Вишневый сад», я, как нигде и никогда, поразила удивительной актуальности старой чеховской пьесы: уходят в прошлое наивные, простодушные прошлые владельцы вишневого сада, именно такие, как Гаев В. Старикова и Раневская М. Русаковой. Новый хозяин Лопухин — Д. Гарнов не будет «с половыми разговаривать о декадентах», и к многоуважаемому книжному шкафу обращаться с речью, и последний золотой не отдаст нищему. Угловатый, резкий Ермолай Лопухин идет... Поразительно узнаваемая ситуация! За Лопухиным же последуют еще более страшные новые русские, грядущий Хам, Яшка и тот же наглый прохожий. Спектакль предупреждает об опасности. Тревожит. Волнует.

Я остаюсь провинциалом в столице, многого в столичных нравах и вкусах не принимаю, не разделяю. В «стан», в группировки «своих» стараюсь не входить. Это очень трудно в столице.

Много не сумела, не успела я в жизни. Вот семьи одной и навсегда не сумела создать. Дочке своей, внучке и правнукам недодала заботы, внимания, сердца. Семью, как была у бабушки, с большим обеденным столом и множеством детей, с одним, как и полагается, отцом семейства я так и не сумела устроить, то ли не очень хотела, то ли ангелы мои не доглядели, а скорее всего — время мне такое досталось, если и для карьеры, то уж не для семьи — точно. Хотя обед обязательно с супом, по еще семейной бабушкиной традиции, даже для себя одной обязательно готовлю. Нет, я не привыкла ни на кого сваливать, даже — на время. Сама не сумела совместить работу и дом.

Дочку растили бабушки. Внучку из-за трудного переезда из Горького в Москву, долгого житейского переустройства, из-за дочкиных проблем, из-за моих командировок пришлось отдать в школу-интернат, чего она до сих пор ни своей матери, ни мне простить не может. Да, с семьей мне категорически не везло. Большой стол за ненадобностью выселили из комнат в кухню, и за него во все времена редко селились вместе, каждый в разное время... Как не без горечи спросила однажды дочка: а ты ребенка-то хоть однажды купала? — может, и не купала... Было некогда. Типично советская семья, советская судьба.

Одни любят жаловаться: и ночью-то сегодня не выспалась, и диагноз — по круговой — это значит зуб, попа, голова, и опять все сначала... вечно не хватает денег — ну, все плохо! Это у нас скорее в национальном менталитете, чем американское «no problem». Делать вид, что все хорошо, и притворяться благополучными мы не умеем. Наоборот, сгущаем краски, концентрируемся на плохом, страдаем всласть, унижаем себя.

Я буду скрывать болячки, неприятности. Делать вид, что все — хорошо...

Иногда мне думается, что и мое одиночество досталось мне не только с возрастом. Оно было на роду написано. Несмотря на небольшой рост, на скромную фактуру, меня, с моим максимализмом и нетерпимостью, всегда «было много». Меня трудно было выдержать. И надо было очень понимать и любить, чтобы быть рядом.

Сегодня хорошая погода. Стих ветер. Море снова теплое, ровное. И насморк проходит... И фрукты сладкие, и стоят они не как в Москве, а недорого. Ешь — не хочу... Плавай — не умею... Как научиться не усложнять жизнь, не перегружать лишними задачами? Радоваться простому. Ведь и в Библии: блаженны нищие духом. Признаюсь, никогда этого не понимала. Наверное, грех гордыни... На море, на пляже полно счастливых бабушек с внуками: Саша, вылезай из воды. Хватит. Простудишься. Переодень трусы. Маша, поди поплавай! Не сиди на солнце, сгоришь. Собирайтесь обедать. Не то надели. Не туда пошли. Я бы с ума сошла. Не могу я так. Счастье, что в Москве ли или в Несебре дожидаются меня дома мои листочки. Белые, чистенькие, которые мне предстоит заполнить буквами, словами, мыслями. Мое спасение. Мое счастье. Моя мука. Моих ровесниц здесь на пляже нет. Все моложе.

Пустеет твое пространство... Нет семьи. Нет рядом дочери. Ушли мужья и мужчины. Уходят насовсем подруги или меняются так, что, кроме прошлого, не остается совпадений, мы все становимся другими и перестаем быть нужными друг другу. Все чаще подступают приступы уныния, отчаяния. Еще один грех, из последних. Облегчения не приносит и Церковь. Может быть, от того, что она пришла в мою жизнь поздно и ей трудно сочетаться со сталинским детством, партийным атеистическим прошлым, многолетним безбожием, да и всей путаной моей жизнью, со своими привычками: к ранней заутрене встать не могу, не выплусь, посты соблюдать не могу из-за болячек внутри. Вера, а еще точнее — накопившаяся жажда Веры живет глубоко внутри. Но помощь от Церкви не идет, не чувствую. Ее соборности не ощущаю. Если уж быть совсем честной, театрализованные церковные ритуалы, блюда для сбора денег рядом с исповедником не приближают, а отдаляют от того места, где я сейчас должна была быть, где, возможно, мне стало бы легче. Молиться по канону не умею. Мне было уже шестьдесят, когда я специально ездила креститься в Иордане, в Израиль, с такими же, как я, паломниками и замечательным отцом Дмитрием Смирновым, который и совершил священный обряд посвящения. «О душе пора подумать», — сказал он мне тогда. Думаю. Да и что такое душа? У меня она физически болит. Я ощущаю, чувствую ее. Молюсь сама с собой. Легче не становится. Нет покоя душе моей. Очень нужен духовник. Но мне его, чтобы безоговорочно поверила, еще труднее найти, чем друга, мужа. «На свете счастья нет, а есть покой и воля», — приходит на ум. Воля в остатках еще есть, хоть тоже иссякает... А покоя как не было, так нет.

Все-таки решительно не представляю себе жизни без дел, без работы. Вот вроде бы отдыхаю. Балую себя теплой южной красотой, морем, фруктами... Но ведь и все равно пишу каждый день. И мысли уже там, в Москве, скоро возвращаться, надо начинать новый учебный год с будущими журналистами, пожалуй, у меня появилось, накопилось кое-что новое им сказать. Новый сезон — новые спектакли, фестивали, поездки. Только бы быть нужной, интересной окружающим. Выдерживать конкуренцию с другими коллегами, с молодыми... Сил бы хватило. Но когда-то ведь придется остановиться. Не все же бегать, суетиться под восемьдесят... А если не работать вовсе?! Живут же другие. Есть же тихие домашние радости. Стариковские радости. Блаженные минуты, доступные именно в старости, когда не надо бежать на работу, — это я так себя уговариваю, — блаженная полудрема, тепло в крошечном мире под одеялом — все в порядке, неторопливые мысли, покой?! Спасибо, спала. Спасибо, проснулась. Руки, ноги — на месте. Глаза видят. Уши радио слышат. Чего еще надо? Перевалила семьдесят девять благополучно, пошла на восьмидесятый... опять же телевизор можно посмотреть, есть время. Но мысли — то лезут в голову совсем неблагоприятные, все тревоги оживают в тебе по утрам. Как дети? Позавтракала

ли Поля перед учебой? А маленький Арсений, вчера у него была температура, с чего бы? Хватит ли денег до пенсии? Кто сегодня позвонит? Неужели, никто... Никому не нужна. И все-таки пора вставать. С удовольствием накормлю себя... Для себя одной сделаю блинчики. Красиво накрою на стол. Не торопясь, попью кофе, пока не запретили врачи... Переоденусь, причешусь, вылезу из халата, пойду погуляю... вокруг дома. Зайду в «Седьмой континент»: ну и цены! жуть! — посмотрю, ничего не куплю, пойду дальше. К обеду заботиться о себе, обманывать — как тебе хорошо! — надоедает. Скучно. Снова обступают привычные тревоги и одиночество... не буду сегодня писать и вчера не писала. Может, теперь и не сумею вовсе. Узнала про детей: Поленька, правнучка, как всегда, на занятиях. Наговорила ей по телефону для курсовой работы все, что помню про «Евгения Онегина». Бежит на работу. Живет она нелегко, дел, забот много. Подрабатывает по выходным дням. Даже найти время, чтобы забежать и взять у меня денежку, мою небольшую ежемесячную стипендию «от бабушки», ей некогда. Второй правнук, маленький совсем, двухлетний Арсений, поговорить матери со мной по телефону спокойно не дает. Любимое слово — нет! А Анечка, внучка, оторваться от него не может. Чего там мне ждать от них?! Суметь бы самой, чем смогу, помочь.

По привычке сажусь к телефону. Он молчит. А не меньше ли звонков с каждым днем становится?! В театрах тех, кто тебе звонил, кто без тебя не мог обойтись, заменили новые, молодые. Они тебя не знают. Они звонят другим, своим. Вдруг тебе не позвонит никто? Оставшиеся подруги звонят теперь реже, по самой что ни на есть примитивной причине — дорого! Почти все перешли на самую экономную оплату телефона, на «повременку», сколько наговоришь — столько заплатишь. Каждый ждет, чтобы ему позвонили, чтобы не ему пришлось платить. Стариков лишили последней возможности общаться, контактировать с миром. Да и для чего теперь эти разговоры? О чем?

— Але, Свет, ты как? Опять голова болит? Опять не спала ночь? — С Нюсей погуляла, лапы вымыла, накормила. Старая она стала. Знать, недолго осталось! Наташка опять кашляет, в школу повели, но в музыкалку не хочет идти. Чего завтракала? Сосиску. Творог. Бутерброд «с докторской»... много?! Ну, это ты ешь, как птичка. Сейчас в магазин пойду. У нас, знаешь, этот самый, на углу, ну, как его называют, забыла, закрывают. Стекляшку, в общем. Новый откроют, цены будут еще выше. У нас в центре — жуть! Сыр был по сто двадцать, сейчас уже двести двадцать и выше... А ты сериал не смотришь? Какой? Ну этот, где, как ее, ну эта, известная артистка. То ли по второму, то ли по третьему каналу. Ой, как называется, не помню. Я книжку до конца дочитать не успела, а начало уже забыла. Ну, что делать?

Нет, этот разговор еще из вчерашнего дня. Сегодняшний — другой; и Нюси уже нет. И Наташка выросла.

— Ой, как мне плохо! Голова кружится. Не помню ничего. Из дома боюсь выходить. Врачи?! Да разве будут они заниматься такой старухой, как я?! Чего читаю? Да ты что! Я же не вижу ничего.

Ну, как быть? Что делать? Как мне ей помочь? От чувства бессилия, беспомощности перед неумолимо происходящим приходится в отчаяние! Все, что помнит моя подруга и без запинки произносит даже с некоторой гордостью: у меня же Альцгеймер!

— Галь, ты как? — А как ты ко мне дозвонишься? У меня телефон не работает. Ты случайно прорвалась. Молдаване ремонт делают, все, на хрен, оборвали: телефон, телевизор... Твою мать, опять день пропадет. А мне надо в совет ветеранов бежать, обещаю материальной помощи дать. Заказ бесплатный вчера принесла: банка лосося, банка шпрот, тушенка, сгущенка. Ну и что, не ем консервов? На дармовщину

же! Халява, блин! Не знаю, как выдержу. Вчера посуду из серванта выкладывала, белле из шкафа — мертвая в койку упала. Ну, ладно, пока, некогда, я уже одетая, бегу. Вечером перезвоню.

— Ада, ты как? — Да я опять не очень в форме. Нет, я соберусь, буду искать работу. Это я слышу не меньше трех лет. — Ты мне расскажи про акцию Мастер-банка. — Да я тебе уже раз сто рассказывала — Ну, я опять забыла. Ха-ха-ха.

И анекдоты теперь на злобу дня. То есть сначала про зайца... потом смешно, смешно... а потом не помню...

Самый актуальный про Софочку, которая пригласила к себе в гости подружек. Готовилась. По кухне памятки расклеила: не забыть напоить девочек чаем... Пришли. Все сделала как надо. Чаем напоила. Девочки у лифта, одна — другой: «А Софочка нас чаем так и не напоила». Другая: «А разве мы были у Софочки?..»

Мне хорошо на море в Болгарии. Такая удобная красивая безликость. Ни прошлого моего, ни будущего. Короткая остановка — передышка. Нет, все-таки меня если что-то держит на поверхности, то это оставшиеся дела, ответственность за близких. Надо помочь доучиться, получить профессию правнучке Полине. А правнук Арсений — совсем еще маленький, трехлетка, тоже хочется, надо помочь внучке Анне поставить его на ноги.

Остались неотданные долги, долги. Не денежные, никогда в жизни не занимала, не была должна, от этого спаслась, может, тоже благодаря бабушкиным принципам. Долги другие. Считаю своим теперь семейным долгом полученные в наследство от отца его добровольно принятые на себя обязательства в память о покойном друге Аркадии Гайдаре. После гибели того чуть ли не в первые месяцы Отечественной войны, когда папа узнал о ней, да и когда сам, слава богу, живым вернулся с фронта, он годами просиживал в военном архиве, чтобы по дням восстановить всю жизнь друга, сделал уникальную биографическую книгу «Невыдуманная жизнь» в защиту его доброго имени. Уже тогда на Аркашку Голикова — Аркадия Гайдара много было нападок, ходило много сплетен и домыслов. Сейчас их еще больше, поэтому теперь мне надо по семейной традиции продолжить дело отца. Пьесу по папиной книге и по документам о юном красном командире, документальную драму, придумала для нее современную форму мюзикла, я написала. Там есть «зонги». В одном из них сквозная строчка: «Хочу наган!» Это мечта мальчика. Ясно, что он потом будет убивать... Другого пути нет. В другом зонге текст:

Если ружье есть — оно стреляет,
Если ружье стреляет — оно убивает,
Если ружье убивает — нас убивает.

Включила туда когда-то написанную Кузнецовым песню: «Тревога, тревога, седлайте коней...» На мой взгляд, получилось интересно. Мне самой. Теперь осталось пьесу поставить. Вроде в Нижнем Новгороде в детском театре «Вера» ею заинтересовались. Дай-то бог дожить до премьеры. Еще надо сделать книгу.

«Dum spiro, spero» — пока дышу, надеюсь. Пока работаю — живу, я бы так перефразировала старую латинскую мудрость. Журналистскую работу пробую заменить литературной, но эти занятия требуют новых качеств, новых умений. Опять учиться. Опять меняться. Бежать на длинную дистанцию, чтобы не сбилось дыхание... Стайеров я всегда уважала больше спринтеров.

Пока живешь — надо меняться. На этот год, сезон запланировала купить и освоить компьютер. Деваться некуда, надо!

Давно мечтала написать книгу, в которой можно было бы не торопясь, как это бывает в статье, где всегда — скороговорка, где постоянно сдерживает лимит места на газетной полосе, воспроизвести мой мир, и не потому, что он какой-то особенный. Каждый человек индивидуален и неповторим по-своему. В конце концов, именно человек — главная, если не единственная тема всего искусства. А у меня шла жизнь, копилась годы и опыт, и мне подумалось, что именно я сама, о ком знаю лучше всего, должна стать темой и содержанием книги. Вымыслу здесь не должно быть места. Ухищрениями сюжета, фантастическими поворотами ситуаций и коллизий, в которые попадают герои, сейчас не удивить никого. Зато в победительном контрасте со всем, что видится и читается сейчас, выглядит сама жизнь. Интереснее ее ничего выдумать невозможно. Да и мне привычнее, сподручнее писать, придерживаясь фактов. И не вообще про жизнь и про время, а про то, что происходит именно со мной, одной из многих. Думаю, что я имею право на личное свидетельство о времени, о близких мне и о себе. Повторяю, не от нескромности и самонадеянности, а от огромного накопившегося во мне жизненного багажа я имею право, должна поделиться с людьми.

Как сумела распорядиться собственной жизнью в ох каких непростых обстоятельствах, мне доставшихся... Как прошла свою дорогу в Вечность, в рай или в ад, — один Бог знает. Я-то сужу себя строго и знаю, куда мне заказан путь. На оставшихся рубежах, кто знает, сколько мне осталось жизни на земле, в любом случае — меньше, чем прожито, чаще, чем прежде, думается об итогах, о достигнутом и несвершившемся. О том, что остается от человека к старости, к уходу. И сегодня Бог дал мне уже много, даже просто лет жизни, так что есть что рассказать людям. А вдруг и моя жизнь другим поможет не растеряться. Научит меняться и приспосабливаться к разным обстоятельствам, разным своим возрастам. Достоинство встретить старость. Правильно распорядиться дарованным на Земле временем. Спокойно, разумно, как можно чище пройти свою дорогу в другую загробную жизнь.

Как суметь сохранить искренность и честность?! Все время хочется помимо воли саму себя приукрасить, оправдать, облагородить. Наложить косметику, сделать «пластику», убрать целлюлит... Да и надо ли себя, оставшуюся, воспроизводить на бумаге? Кому это еще, кроме тебя самой, интересно?! Но однажды залетевшая в меня мысль уже не покидает, не дает покоя: я должна, обязана перед самой собой осмыслить, воспроизвести еще раз на бумаге саму себя.

С утра себя плохо чувствую... Услужливое воображение подсказывает красивую историю: книжку закончила... ты в Болгарии, у тебя нет даже телефона, никто про тебя ничего не узнает, никого ты не обеспокоишь, не затруднишь своим Уходом. Мне нравится — красиво придумано! Закончилась чистая бумага, привезенная в Болгарию, клей. Все листки исписаны, склеены. Можно и попрощаться.

Хочешь не хочешь, идет к концу жизнь. Моя. Одна из многих. А когда Бог призывает меня, только одно смогу ему сказать: «Я старалась!»

Виктор ШИРАЛИ

* * *

Свое сказать что колокол отлить
Грудастый и языковатый
Под колоколом всю земную жизнь прожить
Оглухнуть и сказать «я виноватый»

Я виноватый. И из стен Кремля
Осколком тысячепудовым
Ты выбила история меня
Из звонницы из звонарей из звона.

* * *

Страна опущена
Ворье
Кружится над страной
Уж лучше б грянула война
Чтобы омыть живую кровью
Восьмую часть земли
Она
Как в горле ком
Как Бог поэту
Не проглотнуть
И медным лбом
Не прошибить восьмую света
Не прошибить
Не обогать
Не полюбить
И божьей кровью не искупить
И к изголовью
Икону смутную
Не пригвоздить.

* * *

Был я весел и юн
Стал я стар и угрюм
Жизнь прошла вся недолга
Перезрел виноград
И сваялся в изюм
Жизнь начертана бегло

Виктор Гейдарович Ширали родился в 1945 году в Ленинграде. Автор нескольких поэтических книг. Член СП СПб. Живет в Санкт-Петербурге.

Семафоры открыты
Жду последний звонок
И любимой последней отмашку
Не сказать что несчастлив
Не сказать одинок
Не сказать что родился в рубашке

Перехожено было немало дорог
И немало дорог тупиковых
Не сказать что несчастлив
Не сказать одинок
Не сказать что я прожил толково.

* * *

Моя блокадная мама
Блокадное смотрит кино
Я смотрю на нее
Я прощаюсь
Сроки жизни узнать
Никому не дано
Я отчаиваюсь
Я напрягаюсь
Говорю: Господи!
Втихомолку
Зачем дни мои продлеваешь
Много лет мне
Знаю я что по ком что по чем
Так продли дни ее
В ней более смысла
Я в своем сомневаюсь.

* * *

Отцу Владимиру

Ты нажил грыжу по пути к Христу
Чего мудреного
Путь Господень труден
Что нажил я?
Я бабник и свистун
Я досвистался до лежачих буден
Томительно влекутся дни мои
Завидую твоим — они в дороге
Хотя один конец
И он неумолим
И скоро мы с тобой протянем ноги

Не стоек в вере я держусь тебя
Не стоек в жизни я держусь отчизны
И что нам рай
Отчизну потерять — вот смертный грех
И он страшнее жизни.

* * *

Червоточиной в черешне
Первой майской крутобокой
Червячок залез нездешний
Но все древо одинокий

Выел сладостную мякоть
Понял что ему не светит
Бабочкою стать прекрасной
Если Бог его отметит

Так болтайся по черешне
И грызи покуда сможешь
Мир свой сладостный нездешний
И скворец тебе поможет.

* * *

Руку мне протяни
Ушедший в загробное друг
Я за строчку цепляюсь
Как за спасательный круг

Строчка мне не дается
Строчка вертка как форель
Я за друга цепляюсь
Но где он теперь

По каким Елисейским
Темнеющим в полдень полям
Я цепляюсь за друга
Я за друга и строчку отдам.

* * *

Стих идет как ходит рыба
Пока счастье — подсекай
Ты задавлен. Эта глыба
Времени. Ну прорастай

Эти чахлые листочки
Пробурают и бетон
Ты дожил до крайней точки
А бетон пойдет на слом

Эта чахлая свобода
Под колесами машин
Это время небосвода
Когда времени в аршин.

* * *

Разруха ты разруха
Родная сторона
Еще жива по слухам
И как всегда странна
Разруха ты разруха
Двадцатый год подряд
Великая по слухам
По сути стала блядь
Разруха ты разруха
Терпеть тебя невмочь
Казалось будет утро
А получилась ночь.

* * *

Читая жизнь свою от греха к стиху
Грехи воняют стих благоухает.
Или наоборот я не о том пишу
Но что о том и сам Господь не знает
Напропалую я в кювет в овраг
Очередная сладость значит пропасть
Совсем пропасть мешает божий враг
И вылезаю измочалив совесть
И с отвращением читая жизнь свою
Грехи написанные киноварью
Я утверждаю жизнь свою люблю
И утверждаю собственной кровью.

* * *

Чужую музыку играют за окном
Гуляют не мое тысячелетье
Друзья сгорели. Восковые свечи
Все меньший освещают оком

Согрей в ладонях лепесток огня
Губами пригуби хоть эту малость
Немного нас. Немного в нас осталось
Любимая живи после меня.

Михаил ПЕТРОВ

БОСАМЫЧКИ

Болели мы редко. И взрослые, и дети.

Мама, до того как в пятьдесят четыре года у нее нашли сахарный диабет, мне кажется, вообще ничем не болела. Отца из-за осколочных ранений мучил радикулит, а за всю жизнь он переболел только болезнью Боткина, которая в конечном счете и свела его в могилу. Таблеток не признавал. При желудочных расстройствах размешает в стакане водки чайную ложку соли и залпом выпьет. Никогда не слышал, чтобы он кашлял. Зубы имел крепкие, за всю жизнь не потерял ни одного. А ведь работал в шахте на Алдане, прошел две войны, любил погрызть сахарную косточку.

Бабушка Евгения прожила почти сто лет, не болея ничем. Строго соблюдала все посты, к старости стала страдать грыжей желудка, от которой лечилась... английской солью. Запьет щепотку соли водой, полежит, поохает, приступ и пройдет. Еще более странно лечилась она от насморка. Поймает кошку, зажмет ее между колен и поднесет горящую спичку к самому кончику хвоста, стараясь чтобы шерсть чуть-чуть подпалилась. Затем вдыхала дым, курившийся над хвостом. Мы осмеивали эту нелепую лечебную процедуру как ыперезиток прошлого. Но на другой день после нее «насморок» у бабушки бесследно исчезал. Давно хочу сам проверить действенность этого средства, да кошку жалко.

Строго говоря, была она нам не бабушкой, а тетей, сестрой отца по отцу. Дед наш, Николай Григорьевич, был женат три раза. Бабушка была его дочерью от первого брака. Третьим браком он женился в шестьдесят лет после смерти первой жены. От него родились двое сыновей: Дмитрий, 1905 года рождения, и мой отец, 1911 года. Отцу было четыре года, когда умерла его мать, а в семь лет он стал круглым сиротой. Родному брату отца Дмитрию для спасения земельного надела семьи пришлось жениться чуть не в шестнадцать лет. У него был сын Иван, 1923 года рождения, они вместе с отцом ушли на войну. С Иваном, своим племянником и нашим двоюродным братом, наш отец в 1942 году лежал в госпитале в Бологом. Отца по ранению комис-

Михаил Григорьевич Петров родился в 1938 году. Окончил Литературный институт им. М. Горького в 1978 году. Писатель, лауреат премий им. Н. Островского, ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР в 1982 году, Союза писателей РСФСР в 1989 году. С 1991-го по 2002 год — редактор и издатель литературно-художественного и историко-публицистического журнала «Русская провинция». В 1996 году коллектив журнала «Русская провинция» стал лауреатом литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Живет в Великом Новгороде.

НЕВА 12'2012

совали, а Иван закончил войну в Германии, покорил три державы, вернулся в медалях и орденах. Он был скуласт и смугл лицом, кареглаз и черноволос, в свою мать, тетку Прасковью. Разница в возрасте не мешала нам называть его, прошедшего ад войны, Ваней, ведь он был нам братом, что возвышало меня и моего родного брата в глазах сверстников и собственных. Приятно было спросить при дружках:

— Ваня, а Вань, а эту медаль тебе за что дали? За Будапешт?

Мы болели своими детскими болезнями. Корь, скарлатина, грипп, простуда. От серьезных болезней нам ежегодно делали прививки. Весной, в марте, в одно прекрасное утро в школе появлялись несколько медработников в белых халатах, и по коридорам разливался тревожный удушливый запах эфира. Младшие классы бледнели и замирали от страха. Не знаю почему, но боялись этих чертовых «уколов» страшно. Два-три огольца обязательно хлопались в обморок только при виде блестящих стерилизаторов и шприцов с огромными иглками, которыми забирали из флаконов сыворотку, как называли тогда вакцину. И медсестра на этот случай держала наготове флакончик с нашатырем.

Медицинский террор продолжался два, иногда три дня. Врачи занимали кабинет директора, открывали списки, раскладывали инструмент. Посреди урока раздавался тревожный стук в дверь. После тихого перешептывания учительница возвращалась к столу какой-то совершенно другой. Мы замирали.

— Ну, — говорила она с особой интонацией. — Кто угадал, что сейчас будет? И кто пойдет первым?

Наступала тишина, кто-то из отчаянных двоечников смело поднимал руку.

— Иди, Лысак, ты так бы к доске стремился.

Все нервно смеются, Лысак уходит и ровно через две минуты возвращается. На губах презрительная улыбка, на вопрос: «Ну как?» — отвечает:

— Да ну! Нисколько не больно, как комар укусил. Лидия Петровна, они просят прислать по пять человек. Можно я домой пойду?

Уколы ставили под лопатку и в руку. Если под лопатку, на следующий день разрешалось в школу не ходить. Поднималась температура, на спине вздувался и краснел болезненный желвак, к которому нельзя было притронуться, болела голова.

Некоторые девчонки с загадочной улыбкой говорят, что их освободили от прививки.

— Кто освободил? — возмущались учителя.

— Мама...

— Почему нельзя?

— Спросите у мамы...

Почему-то этим сходило с рук, от них отставали.

И все-таки мы болели.

С трудом спасли от смерти старшего брата. Вечером заболел живот, думали, что-то съел не то, но утром поднялась температура, пришлось вызвать фельдшера. Фельдшер поставила точный диагноз: острый аппендицит — и добавила, что аппендицит, наверное, гнойный. Если срочно не сделать операцию, брат может умереть. Мать в слезах бросилась искать отца. Весна. Снег только по обочинам, дороги грязны, машины не ходят. Запрягли пару лучших коней, погрузили брата в кошевку и обочинами дороги помчались в город. Брат уже кричал криком, обезболивающих тогда не было, тридцать пять километров добирались четыре часа. Брат то терял сознание, то приходил в себя. Когда доехали до больницы, с лошадей ключьями падала пена. И все равно аппендикс прорвался, начался перитонит.

Потребовался пенициллин, тогда только входивший в практику. Отец объехал всю городскую родню, свое омское начальство, за большие деньги достал коробку лекарства, брата спасли. Но пролежал он в больнице три месяца. И потом долго бегал, придерживаясь рукой за низ живота, широченными плавными шагами, боялся, что разойдутся какие-то «внутренние швы». Наличие у него в животе этих швов поднимали его авторитет на недосягаемую высоту. Операция поставила его в разряд героев, чуть ли не молодогогвардейцев. Украдкой от взрослых он показывал нам красносиний шов на животе и заросшие отверстия от ниток, которыми сшивали разрез. Мы смотрели на все это со священным ужасом, ведь такого шрама не было даже у воевавшего на фронте отца. У него едва синели заросшие дырки от пуль и осколков.

Но недаром говорится, что беда в одиночку не ходит. Вскоре брат заболел тяжелой формой скарлатины.

Однажды жарким июльским полднем у нас во дворе появились две девчонки-подростки в одинаковых желтых фланелевых платишках, в белых старушечьих косыночках на головах, в синих парусиновых тапочках. И в младшей из них жившая тогда у нас родная племянница отца Гланя признает вдруг Галину, дочку ее крестной — тетки Главдеи Шумиловой. Тетя Клава, Главдея, работала в Омске грузчицей на элеваторе. Время стояло голодное, грузчице платили всего триста рублей в месяц, но зато давали бесплатную кашу и возможность вынести в ночную смену горсть зерна или отрубей для семьи. Но в проходной милиция устраивала облавы, брала расхитителей с поличным. Главдея попалась. В карманах комбинезона у нее нашли триста граммов пшеницы и отправили на три года в тюрьму. А тринадцатилетнюю дочь Галину определили в детдом.

Для степной сибирской деревни приход детей пешком из города равнозначен прилету марсиан. Во дворе начинается допрос с пристрастием, который продолжает пришедшая на шум мама. С ужасом узнаем, что тетка Главдея в тюрьме, а сама Галька сбежала из детского дома, потому что ей там плохо и скучно.

— Это как это скучно? Вас что, ничему там не учат?

— Учат, но все равно скучно.

— Так, ладно... А это кто? — указывает мать на спутницу.

— Подружка... Агнесса...

— Какая еще такая Агнесса? — спрашивает мать, слухом не слышавшая такого имени.

— Ну, подружка такая...

— А она откуда?

— Тоже из детдома.

— А здесь зачем?

— Она сказала, что найдет вас, если вы оставите ее у себя жить вместе со мной...

Представляю состояние матери и бабушки. 1948 год. На отце шестеро иждивенцев. Наша мазанка тесна. Мы пятеро живем в четырнадцатиметровой комнате, младшей сестре Любе исполнился год, она начинает ходить, мы с братом спим на одной кровати, приставляя сбоку стулья. На кухне, тоже на одной, спят бабушка и Гланька, не имеющая пока никаких документов и, по существу, числящаяся в бегах из колхоза. К тому же на полу вечно спят многочисленные родственники и командированные сослуживцы отца. Умножить семейство на двух девочек из детдома без документов, одна из которых вообще не имеет к нам отношения, — такое может присниться только в страшном сне.

— И как же она нас нашла? — спрашивает мать уже грозно.

— По адресу на вашем письме.

Девочка не промах, переглядываются мать с бабушкой. И с каждым ответом тревога их растет. Паломничают подружки уже неделю. Жили сначала в общежитии элеватора, куда забирались через окно. Когда их там накрыли и выгнали, три ночи ночевали у одного знакомого Агнессиной матери, который заставлял их побираться на куломзинском базаре.

— Ладно, — говорит мать, все выяснив, — Мойте руки и садитесь за стол. После завтра придет из командировки отец, его родня, пусть сам и разбирается.

Но отцу разбираться не пришлось. Разобрался Господь. На другой день Агнесса не смогла встать с постели, такой у нее поднялся жар. Вызвали врача, сказав, что девочки гостят у нас на каникулах. Врач немедленно отправляет ее в Сосновское в больницу: скарлатина. Наш дом ставят на карантин, все дома, куда они заходили навредить о нас справки, тоже. Мы с братом сидим взаперти, Галину отселяют в баню. К вечеру поднимается температура и у нее. Утром ее отправляют вслед за подружкой. А через неделю сваливается брат. И тогда убитая горем бабушка извлекла откуда-то из глубин памяти слово, которое стало в нашей семье на долгие годы символом отпетости среди особ женского пола:

— Заразили, босамычки проклятые!..

Упекли в больницу и меня. Лежали мы в детской инфекционной палате все вместе: девочки, мальчики, да еще и бабушка Евденыя, поехавшая ухаживать за своим любимцем Коленькой. Он болел очень тяжело, неделю температура держалась близко к сорока одному градусу, потом началось воспаление легких, думали, умрет. Кормила его бабушка с ложечки, так был слаб. Кажется, я все еще помню какой-то колющий запах ненавистного фасолевого супа, желтый зрачок топленого масла в манной каше и вожделенный компот в граненых стаканах с рыхлыми хлопьями разваренного урюка, плавающего в густой коричневой жиже. Бабушка отдавала его нам, мы делились с босамычками.

Босамычки, напротив, перенесли болезнь легко и уже через неделю не знали, куда себя девать. Хохотали, прыгали на сетках кроватей, клянчили у санитарок сахар, носились по коридору и плевали на карантин. Нашли дорогу к операционной, подглядывали, как делают операции. Однажды взяли с собой меня, я видел, как ампутировали ногу женщине. Когда врачи приказали запирать нашу палату на ключ, босамычки научились отпирать большое итальянское окно в палате и сбегать во двор больницы, а там и в степь.

За больницей рос небольшой березовый колок, а за ним начиналась бескрайняя степь. Босамычки открыли поляну степной клубники — крупной, спелой, душистой — и в тихий час ходили на «подножный корм», принося и нам с братом по кружке ягод. У них, как у всех выздоравливающих от скарлатины, уже начинала шелушиться кожа на ладонях, и староверка бабушка запретила нам брать у них ягоды. Пошла по ягоды сама, выбравшись из палаты путем босамычек. За тихий час набрала большую миску. И уже не могла остановиться. Каждый день выбиралась в окно и ходила по ягоды. Что не съедали мы, включая босамычек, которые заявили свое право на бабушкины ягоды, грозясь в противном случае все рассказать врачам, бабушка сушила на широком подоконнике.

В больнице Агнесса раскрылась во всей красе. Она целиком подчинила себе Галину, требовала постоянного внимания и от нас. Ее светло-серые с паволокой глаза и пепельного цвета, быстро отросшие волосы, теплый, набравший уже женские интонации голос и ладная фигурка, в которой проглядывали настоящие женские формы, как магнитом, притягивали и меня, и брата. В детдоме Агнесса жила два года. За это время трижды убежала. В свои четырнадцать лет проявляла большой интерес к мальчикам, а за неимением таковых рядом — и к нам.

Ей пришла идея в тихий час, спровадив бабушку за ягодами, показывать нам «балет». Они прибавляли громкость в тарелке, из которой в то время лилась классическая музыка, заворачивались в простыни, надевали на стриженные головы венки из колокольчиков и, вылетая из-за печки, начинали, кружась, приближаться к нам, выделявая замысловатые па, раскрывая обеими руками концы простыней, как крылья.

Однажды Агнесса, пошептавшись с Галиной, сняла за печкой больничную рубаху, бросила ее на кровать и осталась под простыней в одних трусиках. Теперь, когда она распахивала простыню, мы видели ее маленькие, как яблочки-ранетки, грудки и ладную, уже почти девичью фигурку. Галина, как ни просила ее Агнесса, рубахи не сняла, яростно и гневно отбиваясь от фантазий Агнессы словами: «Ну, мне не интересно! Они же братья!»

От этих ли эротических процедур или от свежей клубники, которую носила бабушка, брат стал на глазах поправляться, проявлять интерес к жизни. Когда Агнесса танцевала, он живыми глазами следил за ней, чувствовалось, что она ему нравится, несмотря на то, что именно она и принесла болезнь, едва не отнявшую жизни.

Грех не стоит на месте. Однажды, когда бабушка отправилась по ягоды, Агнесса пошла в своих фантазиях еще дальше. Она снова долго о чем-то шушукалась с Галиной, после чего подошла к нам и без обиняков спросила:

— А хотите... у нас посмотреть?

Помню точно, что понял, о чем идет речь, как змий, сразу, словно ждал этого вопроса с самого рождения или словно с этим вопросом ко мне уже обращались когда-то, и даже не раз. Вероятно, то же испытал и мой брат, потому что мы одинаково поспешно согласились.

— Отвернитесь! — потребовала Агнесса.

Мы послушно отвернулись. Они опять о чем-то шепотом и долго спорили. Потом все стихло, сердце мое стучало, как молот, в ушах стоял шум.

— Теперь смотрите! — сказала Агнесса жарким шепотом.

Приблизившись к нам, она стала быстро и совсем на мгновение распахивать простыню. Помню обмирание от восхитительного вида девичьей наготы: уже знакомых небольших грудок, редких еще волосиков, курчавящихся в низу живота, и завораживающе глубокой складки между ног, которая увлекала взгляд в какие-то немислимые дали.

За свой показ они потребовали посмотреть и у нас. Нам завернули на голову одеяло, но я ясно помню почти материальную тяжесть женского взгляда *на том месте...*

В больнице родителям пришлось открыть тайну босамычек, и в день выписки за ними пришла из детдома полуторка. Сестра-хозяйка принесла девочкам их желтые платья, синие прорезиненные тапочки и белые коленкорковые платочки. Они оделись за печкой, выкидывая на свои кровати больничные рубашки и халаты, и вышли одинаковыми золушками.

— Мамке-то будешь письмо писать, передавай от меня поклон, — сказала на прощание бабушка Евденья, сморкаясь в платок.

Мы же проводили босамычек только до дверей палаты, карантин все еще действовал...

Через неделю или полторы приехали и за нами.

— Как выросли-то! — сказала мать, когда мы вышли из темного коридора на сияющий и почти забытый свет больничного двора. Колко и даже больно вонзались в глаза ослепительные лучики стеклянных осколков на дороге. Рядом громко лаяли собаки. Так звонко шелестела листва...

Мы все сели в пахнущую дегтем трошпанку на рессорах и быстро покатали по мягкой после дождей дороге. Мы и сами чувствовали, что выросли и уезжаем не теми мальчиками, которые приехали сюда месяц назад.

От скарлатины мы вылечились, но здесь, в больнице, заболели другой, неизлечимой болезнью, той самой, за которую Господь изгнал Адама из рая. Мы открыли здесь сладость и тайную власть нового, стыдного знания. Вечером, когда мать по привычке пришла мыть нас в бане, стирая мочалкой скарлатинную кожу, мы заметно заежились и как-то стыдливо завертели головами, стараясь не видеть ее нагого тела. Поняла это, наверное, и она, расценив, что мальчишки выросли и пора бы им мыться в бане с отцом...

Мы оказались причастны еще к одной смертной тайне жизни, а впереди маячила еще одна, которая казалась нам с братом самой главной в жизни и которой мы стали мучительно ждать.

ВСПОМНИМ, ЧТОБ СНОВА ЗАБЫТЬ...

1.

Поздним зимним вечером 1981 года к нам позвонили. Я открыл дверь. На лестничной площадке стоял улыбающийся поэт Владимир Шилов, с которым мы расстались в Омске лет двадцать назад и с той поры не виделись. Но я его сразу узнал по неандертальским выпуклостям на лбу. Еще он чем-то неуловимым во взгляде и облике смахивал на молодого Бернарда Шоу.

Мы обнялись. Вспомнили, как в 1962 году осенью он уехал из Омска куда-то на юг, ни с кем из нас не попрощавшись. У него был роман с женщиной, на которой, по слухам, он вскоре и женился. А потом и я переехал в Тверь, стал работать в газете. Грезы юности уводили нас далеко: мешали необразованность, неустроенность, да и город нас, деревенских, ждал совсем не с распростертыми объятиями. Не ждал и не жаловал.

С той поры о Володе не было ни слуху ни духу. И вот как с неба свалился.

Не скажу, что передо мной стоял совсем уж другой человек... Взгляд чуть насмешлив, серьезен. Только помутнел за те двадцать лет, что не виделись. Но волнения души на лице не заплыли жирным шпиком, отражались четко.

За ужином разговорились. Володя читал мои рассказы и очерки, а тверской адрес раздобыл в редакции журнала, где я тогда печатался. Беседуем:

— В Москву не по издательским делам? Где печатаешься? Издавал ли книги?

Спрашивая, осекся. Ведь сам стихов давно не писал, болтался, как мы *тогда* говорили, по житейскому морю суеты и пустого тщеславия.

Шилов в *те годы* печататься в Омске не желал, да, правду сказать, и негде было печататься тогда в Омске, кроме «Омской правды» и «Молодого сибиряка». Шиловские стихи с их футуристической стилистикой, эпатажем явно для них не подходили. Хватило ему одного раза побывать на консультации у омского поэта Якова Журавлева, чтобы вспоминать о том всегда с насмешливой улыбкой:

— Сидят поэты, как на прием к зубному врачу в коридоре, под мышкой стишки держат, как градусники. А тот по одному вызывает: «Ваня Яган!.. Измайловский!..»

Он мечтал о московской славе. Напишет свои гениальные стихи, приедет в Москву, прочитает их у памятника Маяковскому, и та падет к его ногам. Я тогда увлекался китайской и японской поэзией, читал ему в ответ:

Летние травы!
Вот они, воинов павших,
Грезы о славе...

Он мрачнел, замыкался. И сейчас насупился. Пробурчал, что он художник, стихов уже не пишет. Виной семья, двое детей, которых нужно растить.

— Может, оставишь мне какую свою подборку, я попытаюсь где-то предложить.

— Я занимаюсь другим... Пока не будем об этом, Михаил, давай об Омске!..

Мы провспоминали прошлое часов до двенадцати и легли спать. О поэзии больше ни слова. Он уезжал на шестичасовой электричке, назавтра был у него уже куплен билет домой. Успокаивали волнение от неожиданной встречи, как всегда, расхожим: раз уж мы нашлись, встреча не последняя, теперь-то мы всё наверстаем!..

Но ночью я долго не мог уснуть, глядел, как на стене играют беспокойные светлы города, картины юности воскресали в ночи одна за другой, как на экране...

2.

С Шиловым я познакомился осенью 1961 года на литобъединении в Омском книжном издательстве. ЛИТО вел тогда редактор Омского книжного издательства Игорь Викторович Листов. Запомнились его сивая поэтическая грива, хромота и оригинальное косноязычие, он выговаривал твердую «эль» как «вэ». Заседания были поставлены им на крепкую идейно-политическую платформу. Обязательно избирали секретаря заседания, он строго следил, чтобы все наши выступления протоколировались. Рукописи при нас подшивались в толстую папку, обсуждения проходили по утвержденному директором издательства Филимоновым плану. Я жил в селе Азово, в тридцати пяти километрах от Омска, работал в районной газете «Путь коммунизма» литсотрудником и изредка ездил на четверги к Листову. В маленькую комнатку набивалось человек до двадцати: Владимир Пальчиков, Леонид Чашечников, Николай Касьянов, Анатолий Васильев, Иван Яган, Виктор Калиш, Владимир Макаров, Иван Измайловский. Изредка приходили Виталий Попов, Валерий Шорохов, Алексей Пахомов и многие другие, чьи лица и имена уже стерлись в памяти. Стихи тогда писали, кажется, все.

В тот вечер не явился на разбор кто-то из «плановых», и Николай Касьянов, студент-заочник Литинститута из семинара Ильи Сельвинского, как он рекомендовался, предложил почитать стихи по кругу, как это делается-де у них в Москве. Осторожный Листов, видя много незнакомых людей, сначала уперся, боясь, как бы чего не вышло, но молодежь настояла. Стали читать по старшинству: Измайлов, Касьянов, Чашечников, Пальчиков... Прочел что-то космическое и я. Наконец дошла очередь до высокого, коротко стриженного молодого человека в светло-голубом костюме. Тот встал, расставил по-маяковски ноги и, состроив гримасу, низким, глухим голосом сказал:

— Я прочту вам свою новую поэму «Нищий»!

— Простите, но мы не так договаривались, — заскрипел Игорь Викторович. — Мы говоривали, что каждый прочтет по стиху, а вы — поэму. Мы даже фамилии вашей не знаем.

— Шилов, это Владимир Шилов, друзья! — заговорщицки подмигнул нам всезнающий Анатолий Васильев и поправил на груди плюшевую обезьянку. — Игорь Викторович, это редактор «Крокодила» Дома санпросвещения, это стоит послушать. Он нам с Макаровым читал. Это интересно. Читай, Володя, читай!

«Санитарный Крокодил» вывешивался в центре города за стеклянной витриной у Мединститута, омичи любили поглазеть на него. Делался он броско, с рисунками под «Окна РОСТА» Маяковского, с хлесткими стихами, бичующими антисанитарию в городе.

Шилов терпеливо ждал решения Листова, набычив голову и подняв вверх руку, словно живой памятник.

— Да пусть читает, Игорь Викторович, — состроил гримасу Листову Касьянов.

Листов сдался.

— Итак, «Нищий»!..

Своей поэмой и экзальтированной манерой чтения Шилов сразил нас наповал. Такого мы не слыхивали. Померк и Иван Измайловский, поэт-крестьянин в телогрейке, кирзовых сапогах и с вещмешком за плечами, откуда он извлекал отпечатанные на папиросной бумаге под копирку слепые оттиски своих песен, и «лучший лирический поэт Омской области», по собственному определению, Николай Касьянов. Да и сам Анатолий Васильев, который приходил на заседания с плюшевой обезьянкой на шею вместо галстука, кажется, сник. Поэт сравнивал себя с нищим, который ходит по земле и просит у людей хоть кроху внимания, любви, а люди даже не знают, что это такое. И только встретив ее, такую же нищенку, которая отдала ему последнюю кроху из своей котомки, поэт поверил в человека. Когда Шилов умолк, комнатка налилась тишиной. Первым опомнился Листов:

— Это вожь, вся эта поэма вожь на нашего чевовека, я с самого начала опасался, что это будет вожь... Вожь и эпатаж, моводой чевовек...

— Ранний Маяковский, — уязвленно усмехнулся цыганистой улыбкой золотозубый Касьянов, показывая, что слышал в Москве и не такое.

— Обратите внимание на его героя, товарищи! У нас нищих давно нет. Пусть к нам в цех приходит, Игорь Викторыч! — вставил свое Иван Яган.

Шилов, крутя маленькой головкой, пойманной вольной птицей оценивающе осмотрел всех нас, назвал Касьянова мандолинщиком, Листова — бездарью, а стихи Ягана — промасленной ветошью со станка и демонстративно ушел, бросив на прощание, что ноги его больше здесь не будет, чем окончательно всех расстроил. Кто-то кинул ему в спину шизофреника, кто-то графомана. Досталось и Васильеву: зачем привел? Но разошлись все внутренне уязвленными, понимали: безумный, но поэт. Такой не станет править свои стихи в угоду Журавлеву из «Омской правды», как это делают некоторые в рабочих спецовках!..

Темнело. Ехать в Азово, где я снимал угол у тетки, было поздновато. Хотя зерно на эlevator еще возили и на что-то я еще мог рассчитывать, попутки я мог и не поймавать... Шел, раздумывая, к кому из родных пойти на ночлег здесь, в Омске, когда меня окликнули:

— Куда путь держишь, поэт Петров?

Это был Шилов, он широко шагал по другой стороне деревянного моста через Омку параллельно мне. Я намекнул на свои обстоятельства.

— Ночуй у меня... Если не боишься запятнать мундир члена литобъединения имени Листова общением со мной, — и язвительно рассмеялся.

Жил он в центре города на улице Лермонтова в двухэтажном домишке рядом с домом Антона Сорокина. Мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж и оказались в крохотной однокомнатной квартирке с двумя окнами. В комнатке стояли кровать, стол да два стула. На одном из стульев ведро воды с ковшиком. Оба подоконника завалены книгами, на полу тубики с красками, ватман, посередине комнаты мольберт, под ним, на полу, аккордеон. Пахло растворителем, красками. Хозяин достал из карманов бутылку вина, банку кильки с овощами, видно, хотел отметить свое выступление.

Я сел за стол, он нарезал хлеба, открыл бутылку, налил вино в седые от невнимания граненые стаканы, предложил выпить за наши дебюты.

— Ты ведь тоже впервые читал на литобъединении?

В нем причудливо переплетались талант и болезнь, огромная воля и детская беспомощность, простодушие и безоглядная вера в себя. Он и не понял, что и его самого, и его поэму восприняли критически, что Васильев хотел покрасоваться им перед всеми, выдать на посмех. Но и Шилов отплатил внутренне тем же: всех омских поэтов назвал пигмеями.

— Собираетесь, как сектанты, и блудите в свальном грехе, самолюбие тешите. А Листов вроде попа вам индульгенции в литературу выдает... «Поэзия должна быть партийной», — передразнил он. — А поощряет измайловщину, обнюхивание скотоводческих ферм и доярок. Ты, случайно, Ваню Воронкова не знаешь? Тоже говорит, что поэт. И прочел:

У меня в кармане две копейки,
Не хватает даже на трамвай.
Потому сажу я на скамейке
И не рад тому, что месяц май...

По чувству хорошо, искренне, так Журавлев не напишет, но по мысли дрянь. По мне, нет трех копеек — поезжай зайцем, не можешь зайцем — хватайся за колбасу, не можешь на колбасе — дуй пешком, но не кисни на скамейке, как дед в валенках, не дай собой руки вытирать... Май бывает раз в жизни, а ты стонешь!

Учиться нужно не у Листова и Журавлева, даже не у Драверта, а у великих: у Маяковского, Хлебникова, Бодлера, Рембо, на крайний случай у Есенина. Из вас девяносто процентов в библиотеку не ходит! Поэты! Видишь, сколько у меня конспектов? Я ежедневно сажу в библиотеке по восемь часов. А чтобы не привлекли за тунеядство, рисую санитарный «Крокодил». И на нем учусь. Проштудировал «Окна РОСТА», ездил в Москву в музей Маяковского, посмотрел Родченко... Я бы никогда к вам не пошел, если бы не Васильев с Макаровым. Заметили меня в «Крокодиле», пристали как банный лист. Мне это не нужно. Я уже и сегодня, — он вдруг набычился и перешел на бас, — поэт выдающийся, а стану великим. Стану! Для этого у меня есть все! Как Маяковский, я прекрасно рисую, но я еще сочиняю музыку, неплохо играю на аккордеоне... Укрепляю здоровье, чтобы от ударов судьбы не раскиснуть и однажды себе пулю в лоб не пустить. Поэт — профессия опасная!

Мне снова стало неловко, как всегда бывает, когда почувствуешь тень душевной болезни. Мне казалось, что и он ее в себе чувствовал, хотя критически к вере в свое величие никогда не относился. Для наглядности Шилов взял аккордеон и наиграл мелодию, сегодня им сочиненную, и даже негромко подпел ей. По ритму музыка напоминала его стихи.

— Я еще год поучусь здесь у классиков, и в Москву. Евтушенко — пигмей. Я слышал его в Политехническом. Он вообще не поэт, сплошная публицистика. И читать

стихи, как я, он не может. Я изучаю ораторское искусство, читаю Станиславского. Стихи должны пробуждать человека, а не льстить ему. Я Евтушенко положу на обе лопатки при всех. У Вознесенского есть образность, метафоризм, но нет сердца. Все придумано. Талантливее всех Белла Ахмадулина. Но за этот год я и ее обойду. Вот посмотришь... Нужен прорыв! Пойдешь со мной? Хотя, ты же деревенский, тебе жентиться нужно, перед родом себя оправдать. Чтобы решиться на то, на что я решился, нужна негибаемая воля, как у меня.

Он показал свои рисунки, явное подражание Маяковскому. Я заметил ему. Он не смутился: оформительство всего лишь его хлеб. Он работает художником и редактором газеты «Крокодил» за сорок рублей в месяц.

— Вообще-то я еще и классный чертежник! Но назад в КБ меня не берут.

Он рассказал, что год назад вернулся из тюрьмы, сидел под следствием. По наивности и доброте взялся помочь кому-то из родственников с пропиской, подделал в паспорте штамп, «прописав» к себе в квартиру. При проверке паспортного режима подделка открылась. За это тогда судили строго. Родственника уволили, а Шилова изрядно потаскали. Хорошо, что не нашли улик, злополучный штамп, сделанный им с помощью горячего вареного яйца, он уничтожил, отметку в паспорте загодя смыл, но получил два года условно и был обязан ежемесячно отмечаться в милиции. Он ждал снятия судимости. Судимость сдерживала его порыв в Москву, с ней его не принимали ни в институт, ни на работу.

Случайная встреча решила многое в моей судьбе. Шилов, узнав, что мне негде жить, предложил угол. Естественно, бесплатно. Я зачастил в Омск, а через месяц уволился из районной газеты и окончательно перебрался к нему на постой.

Мать его болела психически. Шилов заранее предупреждал, когда ее выписывали домой. Но дома она долго не задерживалась, через неделю-две он приходил в библиотеку тихим и мрачным, говорил, что мать опять увезли на Первую линию, двадцать...

Скорее всего, потому он и был одинок, не имел друзей. Да и трудно общаться с таким, питающимся непосредственно из подсознания. За ту зиму, что я у него жил, в гости к нему два заходили Володя Макаров да Коля Кузнецов, тогда еще оба студенты. Кузнецов забегал без шапки, с одетым под пиджак бордовым свитером. Грел руки над электроплиткой, ёрничал, цитируя Катулла, жестикулировал. Володя, всегда улыбающийся, приветливый, светловолосый, курносый красавец с розовым от мороза лицом. Он снимал пальто, черную папаху-пирожок, вынимал из портфеля бутылку вина, выпив, наизусть читал «Реку Тишину» Леонида Мартынова. Мне кажется, он искренне симпатизировал Шилову.

Был еще Жорж Шеходанов, человек восторженный, знавший наизусть кучу стихов, к нему мы тоже любили заходить в общежитие. У него был дореволюционный Брюсов, он читал беременной жене о родах: «Все станете зверями, тоже, тоже!..» И смеялся...

Он жил в комнатке сто пятьдесят на двести сантиметров в общежитии Пединститута с женой Ниной. Комнатка — выгородка от туалета на четвертом этаже, о чем напоминал ее кафельный пол. Но своя! Мы сживали здесь на кровати перед табуреткой, замещавшей стол. На ней бутылка болгарского сухого вина — «Гамзы» или «Димиата». Стоила бутылка сущий пустяк даже для нас — один рубль двадцать пять копеек. Четыре стакана, сыр на тарелке. Нам казалось, что мы приобщаемся к европейской культуре: Джон Звягин, Коля Кузнецов, Шилов. Жорж ходил босиком по кафельному полу и нес, не останавливаясь:

— Сухое вино — эликсир жизни, чуваки! Во Франции сухое разрешается пить даже детям: до стакана в день, но не больше, Мишель, как называли бы тебя во Фран-

ции, не больше! Секи: там любой водила в дороге имеет право заказать на обед вместо чая стакашек сухаря, выпьет и спокойно едет дальше. И никакая сволочь его не остановит за это, не отнимет права. Любой полицейский там знает, что стакан сухого вина за обедом для француза — святое дело. Да, да, Вольдемар! И там нет алкоголиков, потому что пить там не запрещают, как у нас. Закусывают сухое вино сыром, а вот кальвадос — это уже другое, это уже папаша Хэм. Его пьют на голодный желудок по глотку. Европа вообще пьет по глотку, не закусывая. Попробуй подать америкашу к рюмке бутерброд, он посмотрит на тебя, как на идиота. Пить, чтобы не пьянеть, как пьем мы, у них считается дурным тоном! Да-да! Америкаш скажет: «Я не идиот пить виски и закусывать». Он скуп, америкос, как Гобсек! С закуской ему бутылки будет мало, а без закуски он окосеет с трех рюмок!» Жутко практичный чел америкос. Но папаша Хэм пил целый день, и никто не видел его пьяным, скажете вы. Он пил по глоточку ром. Ром он пил, чуваки! О, ром! Кстати, греки, эти бесподобные греки, считали варварством пить вино, не разведенное водой. Сухое вино казалось им крепким. Представляете, что это был за изысканный народ. Предлагаю налить и разбавить.

Запевал приглушенным голосом: «*Джон Звягин, аллилуйя, Джон Звягин, аллилуйя!..*»

— Да тише ты!.. Тут стукачей полно!...

Джон доставал из пузатой папки новую бутылку, мы разбавляли ее водопроводной водой, поднимали стаканы, заедали разбавленное вино, пахнущее хлоркой, сыром и приобщались к поэзии древних греков. Жорж вспоминал какую-нибудь строчку из Архилоха:

Так бывает: копишь, копишь, копишь долго и с трудом,
Да в живот продажной девки вдруг и спустишь все дотла!..

И мы говорили: «Да-а...»

3.

Как жили поэты?

Шилов вставал первым на правах хозяина дома, втыкал в розетку плитку, ставил на нее литровую алюминиевую кружку для чая, подходил к зеркалу и, глядя себе в глаза, повторял ежедневную формулу:

— Я совершенно здоров, у меня совершенно чистые легкие, альвеолы...

В тюрьме он подхватил палочку Коха, лечился силой мысли. И за полгода, как сам утверждал, одолел болезнь сеансами самовнушения. Во всяком случае, никаких таблеток Шилов в то время уже не принимал.

В большие морозы температура опускалась ниже нуля, в ведре на кухне замерзала вода. Разбивали лед ковшиком, черпали воду, как из проруби. Иногда набирали за овощным магазином доски от ящиков и протапливали печь, что случалось очень редко. Соседи за стенкой постоянно жаловались на Шилова в домоуправление. Смежная стена в большие морозы у соседей отсыревала, им приходилось сжигать вдвое больше дров. Шилов отвечал, что лучше отдавать часть этих дров ему: и стена будет сухая, и дров уйдет меньше.

Утро начинал с вокала, распевался. Брал аккордеон, сочинял несколько тактов музыки, записывал их. (Нотную грамоту выучил по самоучителю, постоянно в ней совершенствовался.) Выползал из-под перины я. Он заваривал крепчайший чай, от

глотка которого съезживалась слизистая желудка. Под учащенное сердцебиение мы расходились по углам писать стихи. А в десять шли в библиотеку, в тепло, читать заказанные с вечера книги.

Я не помню большего упоения книгами, чем в ту полуголодную, холодную, но абсолютно свободную зиму и лето. За день я успевал проглатывать страниц по триста-четыреста, многие книги мы конспектировали и вечером устраивали их обсуждения. Когда десять лет спустя я поступил в Литинститут, оказалось, что программы по теории литературы, поэтике, фольклору, русской и зарубежной литературе я довольно сносно знаю. Бывало, приезжал на сессии, не готовясь, и сдавал их. Легко цитировал Третьяковского, Батюшкова, Державина, Тютчева, Анненского. С тех лет помню наизусть китайскую, корейскую и японскую классическую поэзию (в переводах, конечно). В пароксизме страсти мы конспектировали Маркса, Ленина, Энгельса, Гегеля и даже Плеханова. А если добавить сюда Пешковского, Гвоздева, Марра, Проппа, Виноградова, от чтения которых что-то осело в памяти, и имена тех, кто, как оказалось, не напрасно засорял наши мозги классовым подходом к поэзии, то можно сказать, что благодаря тому безумному году я неплохо образовался. Да никогда в жизни я не читал так жадно, как тем годом. Мы приходили к открытию библиотеки и уходили с закрытием, прочли, наверное, все книги по теории языка, поэзии и литературы, какие выдавали тогда в читальный зал...

Обедали в столовой под редакцией «Омской правды» на улице Ленина. Той зимой не знали, как съесть огромный урожай целинного хлеба 1961 года, во всех столовых Омска хлеб подавали бесплатно. Достаточно что-нибудь взять на раздаче и пройти в обеденный зал, где до отвала наесться свежего хлеба. Мы приходили в столовую в час, когда обедали чиновники и продавцы центральных магазинов. Был тонкий расчет, что за наши прегрешения скандала поднимать не станут. Шилов уверенно прокладывал путь первым. Не спеша переворачивал в тарелку с салатом две-три порции капусты, затем отпивал из стакана приличный глоток кефира и топил в нем пару кубиков сливочного масла, запрашивал полную порцию молочного или горохового супа. Обед обходился нам в тридцать-сорок копеек на двоих. Мы выбирали стол с полной тарелкой хлеба и до отвала наедались. За обеденным столом встречались иногда со студентами Пединститута Николаем Кузнецовым, Жоржем Шеходановым, Юдахиным. Шилов любил посвящать всех в достоинства пережевываемой им пищи. Если он ел капустный салат, обязательно замечал, что в капусте содержится кальций, а кальций необходим его легким, если рыбу — говорил о йоде и фосфоре, необходимых его мозгу и сосудам, горох обогащал его растительным белком и т. д.

Жизнь с раннего детства с психически больной матерью научила его мужеству, самостоятельности и независимости суждений. Суда людского он не боялся, ложный стыд, стеснительность считал пороками. Он никогда не плакался, сочувствия не искал, легко переносил невзгоды. Этим своим мужеством и независимостью легко покорял женщин, так же легко с ними расставался. Из него вышел бы неплохой гимнаст, он занимался акробатикой, запросто делал сальто, демонстрируя это даже на улице на тротуаре. Встанет, расставит ноги, сконцентрируется — и гоп! Чувства опасности не имел. Не раз делал сальто в своем длинном всепогодном пальто зимой. Подберет руками полы — и р-раз! Девушки, видя геройство в свою честь, конечно, балдели, переглядывались, резко шли на сближение. Дома в углу у него стояла двухпудовая гирия, с которой он по утрам делал силовые манипуляции.

Он никогда не робел, умел договориться с любым хулиганом. При мне обезоружил пьяного анашиста в трамвае, когда тот вытащил на кого-то финку. Шилов приемышем самбо (тоже знал и умел!) выбил нож и выбросил его в окно.

Я снова вспомнил его реакцию на мою просьбу оставить подборку стихов. Дернул черт за язык. Володя всегда боялся плагиата и очень неохотно давал свои неопубликованные стихи даже близким товарищам, предпочитая читать их вслух. Тем не менее в былые времена я многое из него помнил. Но сейчас, как ни пытался, ничего вспомнить не мог. Всплыло в памяти давно забытое:

С блюдечка мозга сползла, издыхая,
Мысли назойливая оса,
И тут я услышал, как ржут трамваи,
И первый поднес им торбу овса...

Шилов любил эпатаж, был одновременно имажинистом, футуристом... Вот еще всплыло:

Там из окошка смотрит кошка,
Как под окном цветет картошка
Враз
Миллионом синих глаз...

Стихов о природе он никогда не писал, был урбанистом до мозга костей. Эти строки, наверное, тем и запомнились, что были единственными. И еще — строки о весне:

Чудак восторженный проходит,
Ногами лужу пароходит...

Нет, никогда не думал, что он оставит поэзию. Вспомнилось пушкинское:

Семья и дети, милый друг, большое зло,
От них все скверное у нас произошло...

4.

Утром мы распрощались, я даже адреса у Шилова не взял. Он снимал с семьей полдома в курортном городке, ждал квартиру, как только получит, обещал и адрес. Вскоре я получил письмо. В конверте коротенькая писулька, что он читает мои рассказы, и фотография. Обнаженный по пояс, держит на вытянутой руке, на растопыренных пальцах, как блюдце, двухпудовую гирию. На лице Володи знакомое выражение превосходства над всеми. Я ответил ему письмом, а в конце зимы, купив по случаю за пятьдесят пять рублей рублей горящую профсоюзную путевку, волею судьбы оказался в том городке на лечении и отдыхе.

В первые же дни попытался найти его по месту работы жены. Е-и — городок маленький, вскоре я уже говорил с ней по телефону. Голос был встревоженный:

— Володя мне много рассказывал о вас, но до встречи с ним я хотела бы кое о чем поговорить с вами...

Мы встретились у нее в ателье. Вышла, медленно волоча ноги на протезах, миловидная женщина лет сорока. Познакомились.

— Не скрою, ваше письмо разбудило в Володе не лучшие воспоминания, — сказала она озабоченно. — Наверное, вы догадываетесь какие. Мы живем хорошо. У нас трехкомнатная квартира, двое прекрасных здоровых детей. Перед загсом я консуль-

тировалась у врача, мне сказали, что эта болезнь передается по женской линии. Так оно и случилось. Володя — хороший семьянин, любит детей, они у нас спортсмены, мальчик в двенадцать лет бегаёт уже по первому взрослому разряду. Ваше письмо, то, что вы печтаетесь, у вас готовится книга, очень его взволновало. Не по-хорошему взволновало. Так что постарайтесь при встрече не особенно напирать на литературу, поэзию. Говорите о чем угодно, только не об этом. Эту страсть мы успокоили. Не хотелось бы ее снова разжечь. Володя сейчас дома, хотите — позвоните ему, я ему рассказала, что вы здесь, он ждет вашего звонка. А завтра в два приходите в гости. Только: говорим о жизни. О вашей, о нашей, о детях. Хорошо?.. И никаких рукописей, изданий, стихов. На эти темы у нас дома безоговорочное табу. Нам еще нужно детей вырастить, дочь замуж выдать, сына на ноги поставить...

Я все понял с одного раза и обещал все выполнить...

Дочь его оказалась красавицей, похожа на мать, лет семнадцати, мальчика дома не было, ушел на тренировку, но мне предъявили фотографию спортивного, по-отцовски насмешливого... Потом мы сели за стол и, как пишут в романах, предались воспоминаниям. И все шло хорошо до поры, пока не включили телевизор.

— Так-так, — сказал Володя, вслушавшись в поток агитпропа. — Мы с ним (с Брежневым) в прошлом году здорово попикировались. Я как раз открыл влияние личности на историю, а он через неделю собирает пленум и говорит о человеческом факторе. Почти все передрал из меня. Я открываю: «Экономика должна быть экономной», а он спустя месяц делает это лозунгом нашей экономики. Мог бы возмутиться, конечно, предъявить ему, но думаю, ты щедрый, на общее благо стараемся, — у него вдруг снова появилось на лицо то старое, омское знакомое выражение на лице. — А телеграмму я ему отбил: «Так держать, Леонид Ильич!»

— Володя, — прервала его жена, — будь дружок, вынеси мусор. — И когда тот проходил мимо, огладила ему спину, говоря: — Ох, что бы я без него делала?..

Но едва он вышел, как она заговорила со мной:

— Такого с ним давно не бывало, после вашего письма стал опять задумываться, ждал приезда. Разок даже пьяным пришел. Я прошу вас и не писать ему больше. Повидайтесь, и ладно...

Вернувшись, он забыл тему, мы заговорили о детях, о минеральных водах, о моем приезде сюда осенью, когда полно фруктов, молодого вина и прочих южных прелестей. Однако как ни был я осторожен, разговор все же касался запретной темы — литературы. И тогда жена коршуном бросалась на нее. Признаться, мне очень хотелось получить от Володи хотя бы несколько стихотворений той поры, чтобы посмотреть на них уже сегодняшними глазами, ведь юность, это всем известно, пристрастна. Но так и не удалось получить ни одного. Едва разговор коснулся этой темы, как жена сказала буквально следующее:

— Володя, мы же обо всем с тобой договорились, папку я доставать не буду! Всё!.. — и обращаясь уже ко мне: — Мы договорились, что все знают, что Володя — великий поэт и его не печатают только потому, что не настало время. После того, как мы об этом договорились, мы собрали все его рукописи, крепко перевязали, сложили в чемодан и опечатали. Сейчас они на антресолях, ждут своего часа. Володя свое дело сделал, след в поэзии оставил, пусть теперь другие хотя бы частицу его подвига повторят, а Володе пришла пора отдохнуть, заняться семьей, детьми.

— Как же о том узнают? — брякнул я.

— ЮНЕСКО объявит. Мы все его рукописи отправили в ООН, в ЮНЕСКО и в ЦГАЛИ, мне потом из ЮНЕСКО звонили, просили передать Володе, что когда придет время, они объявят этот год годом Шилова... Ведь так, Володя?

— Так, так, — глуховатым тревожным голосом подтвердил Шилов. — Когда откроем архивы, мы тебе сообщим... А ты пока никому об этом не говори. Главное, мы обезопасили себя от плагиата...

И жена посмотрела на меня с таким видом, что в ее взгляде читалось: «Не беспокойтесь, у меня все продумано...»

...Пиша эти строки, я пытался вспомнить хотя бы один стих Шилова. И не смог. Вспоминались одна-две строфы, отдельные сравнения, метафоры. А ведь как волновало нас, что от стихов великого Архилоха остались всего несколько строчек. Человечество не удосужилось запомнить и передать из уст в уста хотя бы один его стих полностью!.. А в то, что тридцатисемилетний смертельно больной Рембо, лежа в госпитале, вообще забыл, что он когда-то писал стихи, просто не верилось! Слишком толсто укрывает волшебную поэзию ил забвения. Да многие ли из нас, читавших и даже любивших поэзию 1960–1970-х лет, похвалятся большим? И не лежат ли в папках, спрятанных от всевидящей судьбы, стихи, которые ждали и не дождались горячие сердца поколения 1960-х?

Память наша пристрастна. Она прячет папирусы в ниши пирамид и заворачивает в псалмы селедку. Кто скажет, какие силы заставляют нас не забывать счета на оплату газа и телефона, места пустых встреч и маршрутов и забывать все, на чем в конечном счете и держится наша жизнь?..

А может быть, все не так? Что жизни до твоих строчек! «Ты мою строчку украл!» «Ты мою строчку забыл!»

Я? Твою? Да твоя ли она, моль перламутровая? Ее, быть может, до тебя уже сто раз забывали, чтобы потом опять вспомнить и снова забыть...

Река времен поднимает новую людскую волну. Что-то они вспомнят из того, что мы забыли? И что забудут из того, что выхватили из темных вод забвения и удерживали в своей памяти мы? Ведь все мы, в этом я уверен, вспоминаем кем-то забытое.

Алексей БОРЫЧЕВ

ПОЛНОЧЬ

Я помню тебя, одинокая полночь!
И ты не забыла, ты многое помнишь...
Обрезав ножом темноты
Незримые нити с былым расставаний,
Пронзаешь бестелость времен, расстояний
И после, снежинкой застыв,

Холодным свеченьем приветствуешь вечность,
Плывущую тьмою над белой свечкой,
Горящей снегами зимы...
И кажется краткой дорога в бессмертье,
Но в это не верьте, не верьте, не верьте, —
Обманет спокойствие тьмы!

Бессмертие — шарик на тоненькой нити,
Подвешенный чьей-то мечтою в зените,
Колеблемый небытием...
И все, одолев над собою высоты,
Попробуют меда полночного соты
Пред тем, как пребудут ничем!

От полночи вдаль разбегутся столетья,
И полночь рассыплется на междометья,
Секундами тихо звеня.
Останутся в кипени прошлого света
На солнечных струнах игравшие дети,
Смотрящие в мир сквозь меня.

Алексей Леонтьевич Борычев родился в 1973 году в Москве. Окончил МГТУ имени Баумана по специальности «оптик-разработчик», кандидат технических наук; работал в Институте общей физики РАН, занимался вопросами математического моделирования преобразования лазерного излучения. Являлся редактором сетевого журнала «Новая литература». Публиковался в журналах «Юность» (Москва), «Московский вестник» (Москва), «Вестник российской литературы» (Магнитогорск), «Окна» (Германия), «Эдита» (Германия), «ЛАВА» (Украина), «Литературный меридиан» (Владивосток), «Союз писателей» (Новокузнецк), «ЛитОгранка (Новокузнецк), в газетах, альманахах и сетевых изданиях. Автор четырех книг стихотворений: «Иду на восток» (М., 2004), «Снежное полнолуние» (М., 2006), «Солнечные слезы» (М., 2008), «Сонеты» (М., 2008). Живет в Москве.

МЫСЛИ...

Не обратится вода в вино, а солнце в темень.
След поцелуя отцвел давно — замерло время.
На бархатистых ресницах звезд тают столетья
И упрощают любой вопрос до междометья...
В глянцевах снах неземных пространств мягкие тени
Судеб ложатся тоской на страх — так на колени,
Тихо мурлыча, покой храня, кошка ложится.
Жизнь, это можно понять-принять, вовсе не птица...
Стынет небесных загадок ртуть между созвездий,
Бабочкой летней стремясь прильнуть к миру соцветий.
Полнится тайной, едва дыша, звездная млечность.
И — ни забыться, ни сделать шаг и ни отвлечься —
В дольних пределах не можем мы, волей рассудка
Втиснуты в стены вербальной тьмы, горестно-жуткой.
Тихой толпою немых теней — прошлого знаки
Явью забытых осколков дней бродят во мраке,
Где почему-то со всех сторон — тусклая память —
Не забирает их в свой полон, но и оставить
В тесных покоях земного сна — тоже боится.
Жизнь (нелегко так порой познать) вовсе не птица.
Мало пустот в бытии земном. Не развернуться.
Что — пять стагнаций — мне все равно! — что революций...
Кроме прохладной струи времен — нечем напиться
Духу, принявшему явь за сон. Стерты границы
Между мирами, где я и ты — вечный двойник мой,
Где перспективы судеб пусты, некою сигмой
Обозначается то, чего слухом и зреньем
Нам не постигнуть, и нет его — нет озаренья!

Там, далеко, где не быть — нельзя, прошлое наше,
Памяти скользкой тропой скользя, — сколько я нажил
И потерял — мне покажет, но... после подсчета
Ясно, что плохо: не всем дано — по звездочету!

ТИШИНА

Горячим воздухом июня
Обозлена, обожжена,
По чаще, пьющей полнолунье,
Волчицей кралась тишина.

Когда был день,
От гула, шума
В колодцах пряталась она

И в корабельных темных трюмах...
На то она и тишина!

В нее стреляли детским плачем
И гулким рокотом машин;
И солнце прыгало, как мячик,
На дне ее глухой души.

Пугаясь дня, пугаясь солнца,
Стремясь на волю,
Не смогла
Таиться долго в тех колодцах,
Где луч — как острая игла! —

Чтоб не страдать, чтоб не калечить
Густую волчью красоту,
Рывком последних сил, под вечер,
Пустилась в чашу, в темноту,

Но гвалтом воронов на кочках
Настиг ее рассветный залп,
И — две звезды,
две тусклых точки —
Погасли искрами в глазах.

СТРАННЫЙ ПЕЙЗАЖ

День лениво доедал ягоды заката —
Медвежонком по сосне на небо залез.
Звездным платьем шелестя, ночь брела куда-то
И платок лиловой тьмы бросила на лес.

В белом рубище туман шастал по низинам,
Бородатый и седой, — прошлый день искал.
Космы длинные его путались в осинах
И клубились над водой, будто облака.

Замолчало все вокруг, словно ожидая,
Что появится вот-вот из иных миров
Что-то важное для всех: искра золотая?
И сорвется с бытия таинства покров.

Колдовская тишина взорвала пространство.
И оттуда полетел темных истин рой...
Но в лучах зари он стал быстро растворяться,
А потом совсем исчез в небе над горой.

Поглотил его рассвет, крылья расправляя
Над туманом, над рекой, над ночною мглой...
И падучая звезда — точка голубая —
Вмиг зашила небеса тонкою иглой!

НАБЛЮДЕНИЕ

Я видел, как, зажженная зарею,
Горела ярим пламенем роса
И над травой, спешащая за роем
Каких-то мошек, мчалась стрекоза.

Переливаясь радугой, сверкала,
Разбившись отраженьями в росе;
И понял я, что целой жизни мало —
Увидеть мир во всей его красе.

Константин КУПРИЯНОВ

ТЕМНЫЕ МГНОВЕНИЯ

Было нам по пятнадцать. Я с детства там прожил, а Полина переехала из какой-то деревни западнее Смоленска лет в одиннадцать. Познакомились мы только через три года, хотя я частенько видел ее на улице, в школе, в магазине... — Ярцево хоть и «город» — по атмосфере как маленькая деревня. Познакомились и скоро начали гулять. Часто забирались в закрытые цеха литейного завода, курили, пили, если удавалось что-нибудь стащить, и целовались. До секса долгое время дело не доходило, но как-то мы оба спокойно к этому относились: знали, что рано или поздно все будет. Со временем, сидя летними ночами на крыше, свесив ноги над непаханым грязным полем, научились друг друга ласкать — подолгу, нередко превращая прелюдию в ритуал встречи восхода. Дожидались, пока треск нарождающейся зари спугнет страстное томление, и, едва соображающие от страсти и желания спать, упивались счастьем друг друга...

Это, я теперь понимаю, было лучшее время. Наверное, каждый по ходу жизни доходит до нескольких «высших» мгновений — вот и я с Полиной дошел до одного из них. Не про секс говорю, про иное — неуловимое, тонкое, то, у чего нет материальной цены, и потому оно так легко потонуло...

Полина училась на класс младше меня. У нее были хорошие оценки по математике, а я неплохо выучил английский, любил историю и литературу — в общем, клонилось к тому, что стану гуманитарием. Растила меня бабушка (сейчас пишу «бабушка» еле удерживаюсь от «бабка» — так ее всю жизнь называл, без злобы или намерения оскорбить, просто потому что в деревнях у пацанов «бабки», а не бабушки) и лет с тринадцати, когда уклон стал заметен, сильно начала ругаться. Прямо невмоготу ей было, что внучек руками ни черта не умеет делать (почти точная литературизированная цитата), а пишет «этой б**ди» (про Полинку, но, кстати, она так не со зла — это тоже незамысловатый сельский колорит, хотя и без меня знаете) стихи да поэмы. Вообще-то поэму я написал всего одну, но покорно признавал:

- Да, бабуль, руками я не особо, но кое-что умею же...
- И чем будешь на жисть зарабатывать, бестолочь?
- Выкручусь.
- Павлик — батюшка твой, царствие ему небесное, — крестилась, — все время так говорил, не вздумай его дорожкой пойти!
- Ой... ладно сочинять, а?

Папу моего в девяносто втором застрелили на бандитской разборке.

Константин Александрович Куприянов родился в 1988 году в Москве. Окончил Всероссийскую академию внешней торговли. Данная публикация — дебют в «Неве».

НЕВА 12'2012

Полинке я сочинял примерно такое:

Есть волна —
Сметает она пределы.
Есть даль —
Я бегу к ней сквозь стену.

Потом остановилось
Мое сердце
И твое,
Потом опять забилося — уже одно —
Навсегда скреплено.

Она не искала подходящих слов, чтобы ответить, — просто прижималась грязной головой к моему плечу и мурлыкала что-то нежное. Наверное, чувствовала себя счастливой. У нас была довольно «взрослая» любовь по сравнению с другими парочками в школе. Другие только осторожненько при всех обнимались, да и то не всегда, а мы с первых же месяцев бродили по всему городу рука в руку, целовались на переменах, были не разлей вода. Всех друзей я тогда потерял — теперь думаю, что не без ее стараний, но какая разница.

Кто-то мне завидовал, большинству было наплевать. У нас тогда всем на все было наплевать, потому что младший завуч школы — башкир с серым лицом и черными глазами — привез в девяносто третьем волшебный белый пакетик. Весь город, начиная с бомжей на заброшенной товарной станции и кончая мэром — бывшим полковником угрозыска, — знал, что белый пакетик пополняется каждое третье и двадцать пятое число месяца, а между этими датами стремительно опустошается, в основном расходясь по малолеткам и безработной молодежи. На героин подседа сначала четверть нашего класса, потом вся добрая половина. Я сидел на «наркотике» более крепком, а Полина... ну, не знаю — может, любила меньше, чем я ее? Короче, пару раз она укололась. Один раз я заставил ее пойти в больницу, второй раз пригрозил побить и предупредил, что брошу, но, продержавшись две недели, она купила третью дозу (чего-то там украла из дома на продажу, естественно) и подседа. Сидела где-то с ноября по апрель. А я не знал, что делать. Это было мое первое «темное мгновение» — оно, видите, продлилось почти полгода.

Потом Полинка сама, без посторонней помощи, слезла: блевала дня два, мучилась месяц, потом вроде стала опять нормальная. Думаю, помогло и то, что ее отчим отдубасил, когда она его ружье выменяла на дозу. Я тогда пришел к ним домой и сказал:

— Еще тронешь ее, гнида, я тебя сам урою — голыми руками.

Он мне в ответ дал в глаз, я упал. Он пошел на кухню, ковырялся там чего-то. Вернулся с пистолетом. Снял с предохранителя, передернул затвор и сказал, наставив на меня:

— Боевой, вместо ружья купил. Тебя, м***ла, положу, не раздумывая, запиши себе куда-нибудь. А если будешь за эту шмару заступаться — выкину ее из дома, сам корми, как хочешь. Все понял?

— Да.

— Свободен.

С опухшим глазом я поплелся по городу, сочиняя новое стихотворение, но ничего не придумал.

В мае сказал ей:

— Задолбало здесь все, валить надо.
— Куда?
— В Смоленск хотя бы.
— И че там делать?
— Сначала последние классы закончу, потом в институт поступлю.
— Какой?
— На истфак.
— А че это?
— Исторический факультет. Ты как-то плохо соображать стала.
— Пошел ты, — она очень обижалась, если я хотя бы косвенно намекал на то, что с ней было. Винула меня, что ли? Хотя частенько думаю, что имела право... Вообще между нами после этой истории выросла какая-то невидимая стена. Серая, вонючая, как сигареты. У нас, как бы это объяснить, «руки похолодели». Бродили мы по разбитым дорогам, вдоль железнодорожных путей, по опушке леса — где угодно, взявшись за руки, но тепло ушло. Только она этого, кажется, не чувствовала — ну и ничего, рассуждал я, перетерплю, потом все вернется.

— А ты бы пошла тоже в десятый-одиннадцатый там, а потом куда-нибудь поступишь.

Полина долго молчала. Мы прошли от ее дома до моего, потом до школы, завернули на угол, около магазина остановились, вжались в серый кирпич и целовались целую минуту. Раньше поцелуй с ней был как прыжок с крыши. Мне иногда казалось, что я узнаю что-то невероятно важное, сливаясь с ней в одно. Оно выкристаллизовывалось в этот момент, маячило за ее спиной, дышало сладким в ответ на прикосновения... Оно было невидимо и неуловимо, но скрепляло и пропитывало перья наших общих крыльев, и можно было не бояться падать, тонуть или прыгать в огонь.

Чушь. Сейчас я чувствовал, что наши языки постоянно сталкиваются, мешают друг другу, что ее слюна и губы сильно пахнут сигаретами, что ее пальцы впились мне в лопатки и сквозь тонкую белую рубашку ногти оставляют следы на коже.

Хотя ее объятия были очень крепкими, я в конце концов отцепил ее от себя и удивленно уставился на ее лицо. У Полины были светло-зеленые глаза и белые прямые волосы. Круглое лицо немного похудело за последние месяцы, но на щеках уже выступил румянец, как и положено выздоравливающим детям. Она вдруг ответила на мою последнюю реплику, хотя прошло минут пятнадцать:

— А я не хочу никуда поступать. Я вообще ничего не хочу.

— Хочешь жить здесь?

— Мне все равно, где жить. Главное, чтобы с тобой, а где — все равно.

Это было приятно слышать, но удовольствие столкнулось со стеной, давно выросшей между нами, и я почувствовал только его вялое эхо. Тут я догадался, что стена, может быть, возникла не «между нами», а вокруг меня. Может быть, даже конкретно я отгородился от Полины. Вот теперь было в пору чувствовать себя предателем.

— Дай сигареты.

— На.

Я редко курил, но в этот вечер смолил, не переставая. С той недели начал постоянно всем рассказывать, что мы с Полиной летом переедем в Смоленск, будем заканчивать там школу, потом учиться в институте и работать. Кто-то крутил пальцем у виска, большинство пожимало плечами. Был в школе парень Андрей Налитин, я у него в декабре одалживал денег и пытался купить где-нибудь в городе лекарства, чтобы снять у Полинки зависимость. Ходил тогда и по аптекам, и поликлиникам, и

в больницу заглядывал, к бабкиной подруге-медсестре. Но никаких лекарств никто не знал, и я вернулся ни с чем. Сидел всю ночь возле Полины, у которой опять были пустые глаза, огромные, как плоски. Это, помню, было как сидеть рядом с памятником. Только хуже. В памятнике хотя бы осколок души скульптора и капля памяти о том, кому он посвящен. В Полинке же ничего не было. Просто кукла из кожи, набитая отравленными органами, которые вяло функционируют под наркотическим обмороком.

В общем, деньги этому Налитину я так и не вернул. Точнее, отдал через неделю половину, потом по частям еще где-то треть, а остаток так и висел ярмом. Поскольку я немного подрабатывал у одного фермера на участке (убирал мусор, водил коней на выпас — пытался «работать руками», как бабка заставляла), Андрей не особо на меня наседали — знал, что верну. Но когда до него дошли слухи, что мы собираемся уезжать, он меня подозвал и строго сказал:

- Долг вернешь?
- Конечно, Дрон, какие вопросы.
- Смотри... Где в Смоленске жить-то собрался?
- Да у папиного брата сводного, наверно.
- У дяди, что ль?
- Ну да.
- Добро. Только деньги верни.

Налитин поздно в школу пошел, ему в одиннадцатом классе уже было девятнадцать. Поэтому шутить с ним не стоило. Но неделя за неделей вернуть долг не получалось. Он меня подзывал еще раз, третий — а я все не мог наскрести. У того фермера сгорел то ли амбар, то ли баня — короче, платить он мне перестал. К последним школьным дням накануне лета я старался Андрею на глаза не показываться. Он меня особо и не искал. Я расслабился, решил, что, может, пронесло — забудет.

Но как-то вечером я пришел к Полинину дому — барачного типа постройке на четыре этажа — и в подъезде наткнулся на Налитина и пару его приятелей. Он среди них был, конечно, самый старший, но и эти два тоже были старшекласники. Я почувствовал, что сейчас начнется что-то нехорошее.

— Деньги возвращай, — спокойно сказал Налитин, я понял, что он прилично напился. А вот дружки были потрезвее. Бегал я быстро, но решил для начала поговорить.

- Верну через неделю. Пока работы нет.
- У бабки сопри.
- Не могу, ей и так пенсию полгода не платят.
- Тогда магазин ограбь. Слушай, мне насрать на самом деле. Деньги нужны сейчас, — Налитин смачно рыгнул и резким движением разбил бутылку об стену. У меня перед глазами оказалась стеклянная розочка. Когда я попятился, один из его приятелей зашел мне за спину. Бежать было поздно.
- Принесу завтра.
- Сейчас, ты тупой, что ли? — раздался голос сзади.
- Спокойно, — заговорил опять Налитин, — ты ж нормальный мужик вроде, понимаешь, не? Если собрался валить отсюда, значит, скопил что-то, правильно?
- Ну... — я не хотел отвечать, но от меня терпеливо ждали каких-то слов, — я только начал копить...
- Вот это и принеси.
- Все принеси, — добавил голос сзади. — Процент заплатишь.
- Парни, может, без процента?

Мне досталась сильная оплеуха по затылку. Я рассвирепел и развернулся, сжимая кулаки.

— Ну и? — обидчик явно только и ждал, чтобы я сделал первый шаг. Он был здоровый, я подумал, что такого вряд ли завалю, даже если один на один. Пришлось поостыть.

— Без процента, ладно? — спросил я, поворачиваясь опять к Налитину.

— Ах ты, тупица малолетняя! — прошипел за моей спиной старшеклассник и, как удавку, накинуд мускулистую руку на шею. Это был явно поставленный, не первый раз выполненный захват. Я не успел глотнуть воздуха — сразу стал задыхаться. Пытался достать руками до его головы, врезать по зубам, выцарапать глаза, пяткой бил по коленям, но все напрасно. Тем более длилось все от силы секунд пять. Меня загнули назад, и кто-то — видимо, третий — врезал мне по почкам. Налитин вышел из оцепенения, сплюнул и всадил розочку под ребра слева. Последние остатки кислорода ушли на громкий вскрик. Я почувствовал, как по животу заструилась кровь. Новых ударов не последовало. Меня отпустили, я упал на спину и закашлялся.

— До свадьбы заживет, — сказал Андрей, — завтра с процентами.

Все должно было кончиться, но на мой крик в подъезд спустилась Полина.

— Эй, чика, поди-ка сюды! — крикнул третий из шайки.

Налитин выбросил окровавленную розочку в кусты и сказал:

— Отвали от нее.

— Это ты отваливай, б**, если не хочешь, — огрызнулся его дружок, навис над Полиной и начал ее лапать. Она вжалась в стену и отталкивала его руки. Он загоготал и вдруг влепил ей пощечину. Звук был похож на одинокий хлопок аплодисментов. Его проглотила взбурлившая кровь. Она концентрированным горячим комком прошла сердце насквозь, вытолкнула плохо ввернутую затычку, а в следующую секунду кровь уже заместила прохладный воздух, полную луну, звезды, мечты и какую-то там нелепую школьную «любовь».

Пока все это происходило, я с трудом садился, тряс головой, приходил в себя. Рубашка и верхняя часть брюк насквозь промокли. Я, кажется, пропитался запахом крови от пяток до корней волос. Запах всколыхнул волну ярости, потушил немногочисленные огни ночного города. Темное мгновение — я догадался, что это было оно, только спустя столько лет! — запомнилось одним: тяжелым чугунным обручем, сдавившим виски и проглотившим свет.

Скорее всего, произошло следующее: я поднялся, оттолкнул протянувшего руку Налитина, шаркая ногами и зажимая раненый бок, подошел к Полине, отеснил безымянного парня, схватил ее за руку и поднялся в квартиру на второй этаж.

— Чего с тобой? — прошептала она.

Я ввалился в комнатушку ее отчима.

— Где он? Где ты его прячешь?! — срывая голос, я тряс его за грудки.

— Он в запое вторую неделю, — пролепетала перепуганная Полина.

— Где он, б**, где, где, где?! — орал я, тряся вонючее обмякшее тело. Потом плюнул ему в лицо, ворвался на кухню, перерыл все шкафы, ящики, вывалил на пол кастрюли, высыпал сахар, чай, кофе из банок, сорвал крышку с вентиляционного отверстия.

— Он на подоконнике, — еле слышно сказала Полина.

Я посмотрел на нее. Кожа у нее стала светлее песочных крашенных волос.

— Ненавижу, убью, — прорычал (мог прорычать, должен был прорычать — прорычал!) я и дернул занавеску. Из пустого горшка достал пистолет. В патроннике была ровно одна пуля, обойма пустая.

— Где?

Она сбегала в комнату и принесла кучку блестящих, недавно смазанных пуль.

— Сука, — я ненавижу ее заодно с остальными. Я бы наверняка убил ее — пусть бы только дала повод.

— У тебя кровь идет...

— Убирайся, отвали! Это все из-за тебя! Убью...

На улице я увидел только налитинских дружков. Самого Дрона видно не было.

— Эй, пи***к, чего, денежки несешь уже? — спросил один.

Я с расстановкой (а он, видимо, предпочел не увидеть, не испугаться, не напасть...) передвинул предохранитель, передернул затвор, поднял пистолет и стряхнул с плеч половину темного наваждения. Затем, не раздумывая, повернулся ко второму. Тот уже улепетывал вниз по улице, но второй выстрел прибил его к земле. Тьма рассеялась окончательно.

Дальше начинаю вспоминать, как было на самом деле. Бабушка причитала минут десять, потом собралась. Ей вообще-то было всего пятьдесят пять, не такая уж и «бабка», поэтому в критический момент она начала соображать удивительно быстро. Для начала выставила рыдающую Полину за дверь. Я не сказал ни слова. Дальше отцепила от моей руки пистолет. До этого я целый час шел по улице, никак не мог отыскать нужный дом и все это время, словно продолжение руки, в ладони трясся смертоносный кусок металла.

— Ну-ну, Кирюша, спокойнее, ну чего ты дрожишь, а? — бормотала бабка, смачивая в тазике какую-то тряпку, прикладывая к ране... Затем наливала горячий чай, поила. Потом опять промывала рану, потом бинтовала, снова поила... потом куда-то ушла, часа два ее не было. Пришла Полина. Она пыталась меня обнять, поцеловать, а я опять смутно вспоминал, как оно было еще каких-то девять месяцев назад, и не мог ее узнать. Потом меня вдруг стошнило. Она заплакала, я посмотрел на пистолет и тоже заплакал. Никогда не был особо верующим, но тут вдруг посмотрел на иконку, висевшую в углу под потолком, и горло сдавил ядовитый ком...

— Нет, нет, нет, — стал бормотать, как сумасшедший. Хотелось сорваться и побежать вон. Полина бы не удержала, но тут вернулась бабка. Сказала «пошли», и я ушел. Полину она опять прогнала. По-моему, ударила ее. «Бедная девочка, — думаю сейчас, — вот у нее ночь вышла». А все из-за чего? Из-за чего?! До сих пор не понимаю, как и почему все это произошло с нами.

Бабушка спрятала меня в одном из бывших хлевов закрывшегося совхоза. Это было в двух километрах от Ярцева. Оставила мне попить и поесть, сказала, что придет какой-то мужик и меня заберет. «Мужиком» оказался молодой парень, лет двадцати, кавказской наружности, с густой щетиной, в кожаной куртке, потертых джинсах и армейских кирзачах. Я вспомнил, что три года назад его видел на похоронах отца. Только тогда он был без бороды.

— Привет, — сказал почти без акцента, — меня Гоча зовут. Помнишь меня?

Я кивнул.

— Садись, поехали к Папе.

Я сел в красную «ниву», и мы запрыгали по ухабам и лужам старой проселочной дороги. Отъехав подальше от Ярцева, свернули на окружное шоссе и по нему уехали в Смоленск. Через месяц мне исполнилось шестнадцать.

* * *

Папой оказался седеющий грузин лет пятидесяти на вид (хотя на деле ему было гораздо больше). Он был высокого роста, средней комплекции, с черными пятнами под глазами — свидетельством сильной боли в почках. Сколько его помню, он всегда ходил чуть согнувшись и постоянно трогал левый бок. Видимо, боль не отпускала его много лет подряд. Очень скоро не осталось сомнений, что значит Папа и к кому я попал. Только в две тысячи седьмом, на похоронах, я прочитал на надгробном камне настоящее Папино имя — Елгуджа, хотя, если честно, черт его знает, насколько оно настоящее. Несколько лет я жил в небольшом двухэтажном коттедже, с тремя соседями, в том числе Гочей. Все они, оказывается, знали моего погибшего отца.

Мы с Гочей стали чем-то типа напарников и четыре года занимались какой-то х***й. Ездили по деревням, растаскивали трупки колхозов, скупали без разбора новую, старую, разбитую технику, гоняли ее к границе, где уже другие ребята разбирали на запчасти и куда-то продавали. Иногда приходилось драться за более-менее лакомые колхозы, иногда приходилось что-нибудь поджечь или взорвать, но убивать Папа никогда не приказывал. Если вдруг попадался председатель, который отказывался отдать хозяйство за бесценок, Гоча возвращался в Смоленск, привозил оттуда кого-то, и через несколько дней все решалось: иногда человек оставался жив, иногда нет. Сначала у меня от этого мурашки шли по коже, а потом я неожиданно понял, что привык.

Видимо, они это заметили и на очередную «профилактику» взяли с собой. Мы втроем искалечили какого-то дедка, после чего он подписал нужные бумажки и отдал увесистую пачку денег. Всю ночь перегоняли из колхозного хлева молодых буренок: гнали прямо в товарняк, который стоял в трех километрах от деревни. Все делали втроем, поэтому куча коров разбрелась неизвестно куда, но больше сотни загнали. Куда этот поезд потом ушел, я не знаю, да и опять же плевать. Под утро я сильно напился, а днем еще технику надо было «принимать» — ребята управились без меня.

С тех пор «человек из Смоленска» больше не был нужен: всех, кого надо, мы могли замочить на пару с Гочей. Раза два у терпил оказывалась крыша. Пока в деревне не появилась сотовая связь, вызвать ее было не так-то просто, но вот два раза кто-то приезжал на защиту. Мы с Гочей умели базарить и улаживали все миром. На третий раз не свезло, нас чуть не пристрелили — мы тогда попробовали цепануть очень крепкий колхоз (прямо на удивление), у них даже своя охрана была. Еле ноги унесли. Гочу ранили в пах, пуля прошла насквозь, потом мочевого пузыря с двух сторон зашивали. Когда врач сказал, что с эрекцией будет все нормально, он чуть не сплясал.

В девяносто девятом Папа сказал, что хватит нам колесить по области, «призвал» в город на постоянную службу. Мне дали пистолет Стечкина, Гоче почему-то ничего не дали — типа водила, пусть дальше баранку крутит. Зато с «нивы» мы пересели на «нексию». Стали ездить на разборки... Фуб** — это тупое слово меня еще тогда бесило. Обычно выглядело это так: Папа или один из его приближенных вызванивал Гочу, говорил, чтобы он брал меня и кого-нибудь третьего и ехал в такое-то место. Где-нибудь за городом (ночью обычно — в перелеске возле танка, который на въезде в город с восточной стороны), или в кафе «Ной» на Дзержинского, или в коттеджном поселке в пяти километрах к северу от города мы встречались с другой группировкой. Кроме нас, от Папы приезжали еще две-три машины, одна обязательно джип (один раз — мы потом очень ржали — джип сломался, и всю сходку отменили, я думаю, может, у Папы были какие суеверия на этот счет, что ли?). С другой сторо-

ны приходили когда кто: иногда русские, иногда кавказцы, иногда, как мы, смешанные.

Чаще всего дела приходилось иметь с торговцами наркотой. Папа этим дерьмом не занимался, но поневоле дорогу ему переходили часто, или он сам переходил. «Нарики», как мы их звали (что неправильно, так как из них мало кто сам сидит), были очень богатые, богаче нас. У них и оружие, и тачки были покруче, но Папа работал на перспективу. Он поглощал, как ненасытный паук, деревню за деревней и потихоньку концентрировал деньги и людей, чтобы взять что-нибудь крупное. Но пока крупного не подворачивалось, приходилось на этих тупых «разборках» выслушивать бесконечные матюги и в любой момент готовиться кого-нибудь пришить. Но стреляли там редко. На моей памяти всего три раза, да и то один раз чисто из-за недопонимания.

Но вот один раз произошла настоящая жесть. Нам забил стрелу какой-то генерал ФСБ. Он, сука паршивая, гнал в Беларусь состав танков Т-80. Фигня в том, что это по описанию они были восьмидесятками, а на самом деле под брезентовыми покрывалами умник припрятал свеженькие девяностые. Десять вагонов танков!

Как там они эту сделку проворачивали с таможенниками, нас не касалось, но поскольку Папа с девяносто седьмого держал все смоленские промышленные железные дороги, просто так, задаром, он пропустить этот поезд не мог. Это было не «по понятиям» — даже мы с Гочей понимали, — а генерал не понимал. Когда состав тормознули, его люди отказались платить, в результате сутки поезд стоял. Видать, таможенное «окно» они в этот момент прошляпили, поэтому дико взбесились. Из Москвы на стрелку приехал целый кортеж и чекист этот лично. В тот раз с нашей стороны было три джипа, в одном сидел Папа. Наша машина встала последней, нам сказали стеречь дорогу, чтобы никто лишний не заехал случайно (дело было на каком-то дорожном тупике). В общем-то, это и спасло нам жизни. Генерал оказался безбашенный, начал стрельбу первый. Гочу ранило в руку и шею, на мне ни царапинки. Папу спас бронированный джип, а еще с нашей стороны погибло восемь пацанов и десять было ранено. После этого пришлось целый год выплачивать генералу «компенсацию», но в двухтысячном Папа наконец наскреб денег на киллера, и снайперская пуля сняла это ярмо.

В течение нескольких следующих лет было еще несколько перестрелок, Гочу ранили еще раз, а мне все везло. Меня стали звать Кирилл Фартовый, но со временем сократилось до просто Фартовый, а потом еще короче — Фарт. В две тысячи втором Папа наконец-то добился своего: взял крупный промышленный объект в Смоленске. Деньги потекли рекой, надо было срочно легализоваться. Меня и еще пару молодых отправили в Москву, чтобы прикрывали тылы: давали на лапу кому надо, вели более-менее нормальный бухучет, оформляли первые законные сделки и, главное, мыли смоленские денежки. В столице делать последнее было гораздо проще и дешевле, чем в области. Чтобы лучше справляться, я даже поступил на заочный факультет Юридического института.

Парадоксально, что только теперь, когда я перебрался в Москву, в моей жизни наконец появилась возможность отыскать и вернуть прошлое. Я впервые за несколько лет был более-менее предоставлен самому себе. Поэтому съездил в Ярцево, навестил бабушку. Она сильно постарела, болела чем-то очень нехорошим, и вообще видно было, что жить ей осталось недолго. Я узнал, и это стало большим облегчением, что ни один из тех двоих пацанов шесть лет назад не погиб. Это, честно говоря, было как камень с души, ведь получалось, что за все эти годы я так и не убил никого

самолично — калечил, было дело, стоял рядом, стрелял в ответ, но целенаправленно не убивал.

Бабка ничего не захотела рассказывать про Полину, но в маленьком городке узнать про нее было проще простого. Как я и предполагал, Полина уже успела выйти замуж — в девяносто восьмом. А год назад развелась, детей у нее не было. Кто-то сказал, что после развода она пыталась найти работу, но в конце концов вынуждена была ехать в Москву, работала то ли гувернанткой, то ли няней, но надолго не задерживалась и периодически возвращалась в Ярцево, сидела здесь месяц-другой и опять уезжала.

Через пару месяцев я ее отыскал в Москве. Она действительно работала няней у каких-то геев на Гагаринском переулке. «П***ры, — рассказала, — девочку трехлетнюю удочерили, а воспитывать не умеют, я ей и как мама, и как папа, ужас, замучилась!» Я поржал (мы по телефону созвонились). Говорю, надо бы встретиться, но она чего-то долго ломалась... в общем, увиделись мы только в две тысячи третьем, в феврале.

Дела у Папы тогда шли плоховато: очень на него давили, причем со всех сторон. Я носился по Москве, разыскивая человека, кому бы дать нужную взятку, но все, кто хотел Папиных денежек, оказывались жуликами — ничего делать для него не собирались.

— Так и кручусь, — рассказал я, когда мы встретились в ее обеденное время.

Полина хмыкнула. Ей как раз исполнилось двадцать три, но я увидел, что молодость ее и красота рано начали сходить. Видимо, эти годы несладко ей жилось. Хотя, если подумать, и до разлуки жизнь наша была не сахар...

— Ты больше к герычу не возвращалась?

Она опять как-то странно ухмыльнулась.

— Возвращалась, потом деньги кончались, опять бросала. Чуть не померла один раз, потом надоело это все, вроде бросила. Уже лет пять не кололась.

— Молодец.

— Да что молодец. Может, лучше было и умереть тогда?

Я взял ее за руку.

— Ну, ты чего такое говоришь?

— Ой, пошел ты, — она отмахнулась от меня с какой-то едва уловимой, но очень неприятной брезгливостью. — Как будто тебе дело есть, — закурила, — как и что я без тебя.

— Есть. Я тебя люблю.

— Пфф, ничего ты меня не любишь. Ты меня еще после первого раза разлюбил. Помню, с каким отвращением ты меня целовал тогда. А в последний раз вообще сблеванул, помнишь?

— Дура, что ли? — меня даже передернуло от такой глупости. — Я ж думал, что двух человек угандошил. Как ты думаешь, из-за тебя я сблеванул или, может, из-за чего другого все же?

— Не знаю, — она наконец-то улыбнулась, опять руку на стол положила. Сначала не хотел ее трогать, потом коснулся. Сидели-курили несколько минут молча. Потом она рассказала:

— Вышла замуж за нарика нашего местного. У него полный комплект: алкоголик, колетса да еще и эпилептик... Идиот. И чем больше пил, тем хуже эпилепсия становилась.

— А чего вышла тогда?

— Отчим из дома выгнал, да и одной надоело.

— Мда, ну молодец.

— Ну а че?.. Короче, бить меня начал. Часто. Потом, после очередного припадка, я не выдержала и сбежала. Еще, не дай Бог, дети бы появились. Сдала его маме.

— Своей, что ли?

— Да при чем тут моя — его сдала.

— Ну, а потом?

— А потом стала в Москву ездить, но че-то у меня здесь не очень хорошо получается, уже три раза выгоняли. Говорят, невнимательная или еще че-то. На самом деле платить просто не хотят. Последняя бабка, у которой я работала, за три месяца не заплатила.

— Дай адрес. Хочешь, прессанем ее?

— С ума сошел? Здесь так не делается. Это тебе не Смоленск. Да и пофигу на нее, сейчас мне уже нормально платят. Если годик продержусь, смогу нормально вернуться, не работать сколько-нибудь.

— В Ярцево?

— Ага.

— А че там делать?

— А че здесь делать?

— Ну, работать.

— Я работать не люблю, — Полина засмеялась. — К тому же особо ничего не умею.

— Ну, пойдешь поучись.

— Да че ты меня лечишь, а? Не хочу я ничего.

Я подумал: «Прям как восемь лет назад. Ни черта не меняется».

— Чего ты вздыхаешь?

— Люблю тебя.

— Фи, какой сентиментальный. Никогда не поверю, что ты на каких-то там упырей работаешь.

— Ты меня слышишь вообще? Я тебя люблю.

— Говорил уже.

— А ты меня?

— А тебе не все равно?

— Б**, давай без этих штучек, а? Все ты понимаешь. Хочешь, давай поженимся.

— Больше никогда замуж не выйду, — резко ответила она.

— Почему? Я не эпилептик, я даже почти не пью.

— Нет, Кирилл.

— Строгая какая.

— Ну, вот такая.

Я сделал вид, что меня все устраивает, да, в общем-то, так почти и было. Когда я ее первый раз увидел спустя столько лет, то показалось, что опять это самое «высшее» мгновение наступает — раскаленное, отрезвляющее. Но чем дольше она передо мной сидела, курила дешевые сигареты, крутила на руках уродливые пластиковые браслетики и поправляла грязные волосы, я понимал, что вернулись не светлые мгновения наших первых месяцев, а вязкий налет темноты. Мне было очень темно с ней. Удивительно, но я чувствовал себя хуже, чем когда мы колесили по очередной деревне, которую сейчас будем среди бела дня грабить. В те секунды во мне что-то загоралось. Я понимал, что творю зло, однако оно было сверкающим, соблазнительным. После него наступало странное опустошение, тупая боль. Но к этому привыкаешь. Как привыкаешь к ночевкам в машине посреди трассы или под открытым небом, под тентом или в непонятно чьей постели, неизвестно с чьей женой, дочкой, матерью... Ко всему привыкаешь. Я очень много тогда пил, чтобы унимать боль, и постепенно в голове ничего не осталось, кроме ярких секунд возбуждения — мгновений страха или

радости. Чем острее были впечатления, тем лучше, тем, значит, больше понадобится водки. Вот и все.

В Москве я оказался один, мой единственный друг остался в Смоленске. Пришлось немного перестроиться, использовать остатки мозгов — оказалось, в голове еще что-то есть... И вот я почти чудом отыскал свою первую и последнюю «любовь», а от нее никакого света, никакого тепла. Это вообще любовь? В кино все не так. В книжках тоже. Там это обязательно что-то восхитительное, что-то, чему посвящают лучшие сцены и длиннющие, «несъедобные» монологи. А у меня — «чувство» растеклось маслянистым пятном по поверхности пустой, злой жизни и скрыло солнце.

Но рефлексировал я недолго. Не было навыка.

Я стал частенько приезжать к Полине. Хозяев квартиры, где она присматривала за ребенком, никогда не было дома, поэтому мы развлекались прямо там, обычно в гостиной на диване, или ездили куда-нибудь. Естественно, работу она скоро потеряла, но жить со мной не захотела. Тогда я снял ей квартирку на «Юго-Западной», и какое-то время мы продержались. Правда, чем дольше мы спали, тем сильнее делалось противоречие. Было ощущение, когда встречались после перерыва, что это как раз то самое — наше оставшееся в ужасной, недостижимой дали трепетное чувство. Но после секса она смотрела на меня, и по ее глазам я понимал, что ей плевать. Не на меня — шире. Ей было плевать, если сейчас у одного из нас вдруг остановится сердце. Или если на улице рванет атомная бомба. Она не кололась, но как самый настоящий наркоман ничегошеньки не хотела. Меня это сначала бесило, потом пришлось привыкнуть, а через три месяца она не выдержала и уехала домой. Я стал ездить в Ярцево.

— Чего ты сбежала-то?

— Бесит меня эта Москва.

Ну, бесит — значит бесит, не насильно же ее тащить. Дела у Папы опять пошли на лад, работы стало поменьше, поэтому почти каждую неделю на выходных я исправно мотался на Смоленщину и обратно. В четвертом году похоронил бабушку, а на Новый год, первого января две тысячи пятого, Полина вдруг возьми и скажи:

— Я беременна.

— Отлично. Выйдешь за меня?

— Нет...

Она уткнулась мне в плечо, я лежал неподвижно, смотрел в потолок и слышал, как она плачет. Надо же, хоть что-то ее расшевелило-растрогало. В моем сердце что-то почернело, обуглилось. Сначала хотел сказать: «Делай аборт», потом передумал: «Не волнуйся, буду деньгами тебе помогать, а потом, если надумаешь...» Нет, тоже не то. Решил, что лучше вообще ничего не говорить. Она так и плакала до утра — наверное, все слезы за несколько лет пролила. Так жалко ее было. Когда плачет любимая женщина, становится жалко всех на свете, даже себя — подонка. Первый раз в жизни я захотел взять пистолет, засунуть в рот и вышибить себе мозги. Зачем все это дерьмо? Зачем терпеть? А с другой стороны, потом лучше не будет. Ну, начнется постоянная тьма. Сейчас она только мгновениями, а так будет навсегда.

— Не буду рожать, — на прощание заявила Полина, и я больше ей не звонил — все восемь месяцев.

В начале августа, когда у нее бы уже наступил срок, на Папу нехило надели. У него отжали смоленский завод, мы оказались в преплачевном состоянии. С «фокуса» я пересел на метро, из съемной квартиры на Ленинском переехал в комнату в Алтуфьево — денег ни на что не хватало. В сентябре впервые в жизни получил повестку к следователю. Когда я приехал в ментовку, зазвонил телефон. «Полина (Ярц)». Сбросил. Потом начался допрос, телефон вообще выключил. Мог в тот день выйти на

улицу в наручниках и под конвоем, но пронесло. Уже вечерело, когда отпустили домой. Свернул за угол и увидел Гочу.

— Брат! Здорово, брат!..

Я его видел, конечно, несколько раз в течение последних трех лет, но все равно рад был безумно.

— Все отлично, Фарт, — сказал он мне, — Папа их всех сделал. Вернули мы свое!

— Ой, ну слава богу.

— Вот «за службу» тебе подарок пригнал.

Гоча показал на новенькую «ауди ТТ», припаркованную на тротуаре. Я вытаращил глаза.

— Че, в натуре? — взял ключи.

— Отвечаю. У меня такая же, — гордо ответил он. — Десять лет, между прочим, — усмехнулся.

— Да, точно. Я даже как-то забыл, перестал считать.

— Ну, десять в июне было, уже одиннадцатый пошел.

— Да пофиг же.

— Ну да. Садись, осваивайся.

Мы сели в салон, тут пахло новой кожей. Я провел по маленькому рулю руками, завел, включил кондишн.

— Какая-то бабская тачка, — говорю.

— Дареному коню... сам знаешь, — посмеялся Гоча.

Крутанулись по району. Была пятница, поэтому кругом пробки, домой решил поехать попозже. Выехали на Воробьевское шоссе, поехали по направлению к Киевскому вокзалу, не доезжая Третьего кольца, свернули направо. Там есть такой «кармашек» для машин, а после него начинается дальнейшее окончание парка «Воробьевы горы». Остановились метрах в пяти от реки и смотрели, как на воду ложится янтарный закат. Здание «Лужников» горело на другом берегу светло-рыжим факелом. Тут я вспомнил про телефон, включил. Были еще два пропущенных звонка от Полины и эсмэс: «Меня зовут Катя, я Полинина соседка по палате. У нее три недели назад родился мертвый мальчик. Я вам очень сочувствую, она боялась вам говорить. Она уже два раза пыталась покончить с собой, сейчас попала сюда (адрес больницы). Ей очень плохо...» Дальше я не запомнил. Странно, несколько лет помнил эту эсмэску наизусть, а сейчас не могу вспомнить. Меня будто парализовало.

— Ты чего, брат?

— Ты в Смоленск когда возвращаешься?

— Думал завтра утром поехать.

— Ясно... поедem вместе.

— Э, нет, брат. Тебе надо завтра с одним очень важным человеком встретиться.

— Что? С кем?

— С Папиным «Папой», — Гоча рассмеялся. Впервые его смех показался мне отвратительным. Чуть по морде ему не съездил.

— Он что, откинулся?

— Да. Возьмешь эту машину и покатаешь его. Он в Домодедово в двенадцать прилетает. Рейс из Иркутска.

— Черт.

— Че такое?

— Ничего. Надо в Смоленск мне, брат.

— Слушай, Фарт, это очень большой человек. Папа же все эти годы его дело держал. Мы на него с тобой работаем. Отец твой на него работал. Не дури, все должно быть по первому разряду. Машина эта — его, одежда на тебе — его, телефон, — он

кивнул на трубку, которую я крепко сжимал в кулаке, словно драгоценный камень, — тоже и все остальное.

— Мы ж его никогда не видели.

— Я видел.

— Черт, — повторил я, потом еще несколько минут мог говорить только матом. Дальше начал названивать Полине, но, как назло, телефон теперь был выключен у нее.

— Фарт, да че с тобой?! Кончай уже, возьми себя в руки.

— У меня сын родился.

— О, поздравляю, папашка! — Гоча, похоже, искренне обрадовался. Он меня, кажется, больше любил — именно как брата, — чем я его. — За такое надо выпить!

Мы отъехали за коньяком, через полчаса вернулись на то же место. Закат уже перебродил, и янтарь сначала превратился в светлый пурпур, потом стремительно потемнел. Тень легла на город, и я почувствовал, как она прибирает меня огромным крылом. Какая же это чушь — жалеть себя, тем более когда надо не «чувствовать», а делать. Бросать все и мчаться к Полине, к своему единственному «светлому» мгновению. Но ведь свет не проходит через ее масляное пятно... Что я такое выдумал?.. Чертовы мозги — пропить бы их уже давно, а еще лучше прострелить. Почему если даже убиваешь, взрываешь, врешь и воруешь, у тебя остается душа, которая чего-то там способна чувствовать? Я бы хотел не чувствовать ничего. Я захотел, чтобы тьма заполнила все уголки груди и вытравила остатки любви, которые когда-то по случайности там выросли. Стишочки чтобы все выгорели, запах ее волос, запах ее кожи в нежном месте под мочкой уха, ближе к тыльной стороне шеи... чтобы ничего не осталось.

Я пил и думал обо всем этом, потом в голове что-то застопорилось. Тогда я купил вторую бутылку, пил ее уже в одно рыло. Гоча удивленно смотрел на меня

— Э, брат, не напивайся так, тебе завтра Дедушку встречать, помнишь, да?

— На**р все, — пробормотал я (*наверное*, пробормотал — вообще-то я ничего толком уже не соображал).

Потом город парализовало. Он стал холодным, будто солнце его никогда не грело, будто я в нем оказался первый раз в жизни и не знал, по каким правилам, в каком ритме он живет.

— Здесь подогрев сидений есть? — еле ворочая языком, спросил я.

Гоча показал. Я включил и рванул с места.

— Тебе лучше не вести, брат, да?

— Заткнись. Я же Фартовый.

Мне в голову пришла сумасшедшая мысль, что если разогнать машину как следует, город согреется, я согреюсь, свет опять вспыхнет — и до Полины докатится треск внезапного горячего восхода. Как когда-то он настигал нас двоих — детей, сидящих на крыше заброшенного цеха, окутанных любовной горячкой, — и пробуждал, отрезвлял, вызволял из объятий тьмы, и мы просыпались всегда вместе, неразлучные, завернутые в крылья...

На скорости сто двадцать километров в час я влетел в опору пешеходного моста Богдана Хмельницкого через Москву-реку, напротив Киевского вокзала. Гоча погиб на месте, я провалялся в больнице почти полгода. Удивительно, но вышел не хромым, и даже зубы вставные не понадобились. Фарт...

Свою «работу» я потерял, Полину найти не пробовал, даже узнавать, жива ли она, побоялся. Устроился охранником в школу, сидел целыми днями и читал книжки, разгадывал кроссворды, писал на полях стихи, бухал каждую ночь, но почему-то пос-

ле аварии вообще переставал напиваться. Водка, коньяк, виски — все как вода. Только коктейли, которые детишки во дворах пили, немного торкали. Их и брал.

В апреле седьмого умер Папа. Меня как «старую гвардию», пусть и в отставке, пригласили почтить память. Похороны были в Смоленске, меня на машине повез один бывший товарищ. Когда проезжали Ярцево, я подумал, не поискать ли Полину, но побоялся. Точнее, так: сказал сначала: «Давай на полчаса заедем на такой-то адресок», заехали, я посмотрел на подъезд, с которого все началось, посмотрел на окно, с подоконника которого достал первое в жизни оружие... показалось даже, что узнаю лужу, возле которой упала моя вторая жертва. За двенадцать лет тут ничего толком не поменялось, только дороги, пожалуй, стали еще хуже. Чуть с Минки съедешь — уже быстрее второй передачи не покатиться: одни дыры в асфальте, нормального покрытия нет. Черт. Покурил, потом водителю надоело ждать, он сказал, что либо едем, либо он меня тут оставляет. Я сказал, что сейчас вернусь, поднялся до ее дверей. Вообще-то тут жил ее отчим, а сама Полина после того, как ее выгнали, жила на другом конце города, но я чувствовал, что она здесь, по крайней мере, дух ее здесь. А потом из груди выветрились последние ошметки тепла — старого, застоявшегося, которое сбереглось только благодаря воспоминаниям. И я уехал, так и не позвонив в дверь.

На похоронах была толпа народу. Был и откинувшийся Дед, точнее, погоняло у него другое, но вы же не хотите его знать, правда? Подходить к нему я не стал, помялся немного у оградки, поздоровался с парой знакомых пацанов, молча помянули... Из тех, с кем я когда-то начинал, осталось хорошо если человек десять. Почти все они занимались более-менее тем же, чем и дюжину лет назад. Кто-то, правда, уже ушел «на пенсию», один человек завел собственный бизнес, двое работали с тем же дерьмом, но уже сами на себя. Только один высоко продвинулся, стал личным телохранителем Деда. Когда я уже собрался уезжать, он отвел меня в сторонку:

— Слушай, тут такое дело. Короче, тебе лучше смотаться.

— Куда?

— Отсюда подальше.

— Я и так в Москве живу.

— В Москве опасно тебе. Лучше дальше свали.

— Куда дальше-то?

— Слушай, — он понизил голос, — я на свой страх и риск говорю: родня Гочи очень просила Деда, чтоб он с тобой поквитался, но он тянул, думал тебя назад взять. Да и Папа тебя любил, заступался. Но в последнюю встречу вроде договорились. Короче, никто тебя больше не защищает, и сам понимаешь: грузины до тебя теперь доберутся, их больше ничего не держит.

— Б**.

— Вот то-то и оно. Короче, я тебе это по старой дружбе говорю и своей башкой рискую. Лучше, чтоб они тебя не достали.

— Б**, это все хорошо, а че делать-то?

— Ну, найти тебя не так просто будет, если потише усядешься.

— Ладно, подумаю.

— Времени мало, думай по-резкому. В любой момент за тобой могут прийти. Они думают, ты его нарочно убил, многие, честно говоря, так думают. Я-то все знаю... — Он, разумеется, ничего не знал.

— Ладно, братан, спасибо.

— Держи, — протянул мне пятьсот евро одной бумажкой. — Чем могу. Езжай куда подальше, где ни друзей, ни родственников. На первое время растяни это, потом, если что, еще помогу. Дай знать, только тихонько...

* * *

Никому ничего давать знать я не собирался — своих, что ль, рук нет заработать? Два года я прожил в Миассе. На удивление живой городок для России. Развивается, цветет, правда, с экологией х**ово как-то. Устроился дворником в тот же дом, где снял хату. Зарплата копеечная, но на жизнь и бухло хватало. А больше ничего и не нужно.

Алкоголь опять стал на меня действовать — приятная неожиданность, следствие провинциальной жизни, что ли? Стал уходить в запой. Поначалу это было необычно: выпадать на несколько смазанных секунд из реальности, потом заныривать в нее обратно — через тягучее масляное пятно, видеть свет, осязать вещи... Потом — «бульк», упал, и опять нет меня, нет мира, нет боли... и прочь воспоминания, поглубже на дно текст той чертовой последней эсэмэски, подальше от собственной трусости и идиотизма. Падения казались секундами, а на самом деле растягивались на часы и дни. Моей спутницей могла быть только густая, бесполовая тьма — одно непрерывное темное мгновение — по сути, уже не мгновение, а вечность.

Для вас-то, поди, есть разница, да, православные? Между смертью и жизнью? Если жизнь — это ничто, а смерть — все, то что проку от мгновения, в котором вы рождаетесь, креститесь, болеете и чахнете? Впрочем, оптимист перевернул бы наоборот: есть только жизнь, а единственный мрачный миг, переворачивающий склеенные страницы, — он не страшен, разве что чуть-чуть печален, но всегда далек... Но это у «них». А я верю в простые вещи: жизни до меня не существовало. И глупо верить, что она останется после меня. Полина была чем-то вроде ингаляции — когда на несколько дней, месяцев или лет я поверил, что способен вздохнуть глубже, вобрать стороннюю душу и выдохнуть с благодарностью за свою жизнь. В конечном счете (я допивал третий обязательный коктейль перед сном) все оказалось обманом. Если я потерял ее, значит, ее у меня никогда и не было.

...А потом за мной пришли. В конце ноября. Снегу намело за сутки — как у нас всегда на Руси — зараз три месячных нормы. С огромной лопатой и метелкой мы бродили по двору, но против пурги что толку бороться. Зафар, второй дворник, плюнул еще в полдень, а я упрямылся до четырех. Боялся, что зарплату не дадут. Потом решил, что ну его на**р. Поднялся к себе, и вот там-то поджидали «они».

Нет, вообще-то там был только один человек. Просто в него концентратом собрались все ОНИ — ненавидевшие меня родственники-грузины Гочи, да и сам Гоча, да и еще весь грузинский народ в придачу, с которым наша страна повоевала полтора года назад... Да, нагоняю этого глупого пафоса специально, чтобы оттенить главное: мне *она* показалась похожей на Полину...

Зачем, мать их за ногу, они послали *ее* — в смысле девушку? Брюнетку с некрасивым вытянутым лицом, росточком сто шестьдесят, в очень легкой кожанке, с идиотским каре а-ля фильмы Квентина Тарантино... ну, глупо же, не? И какой, мать его, киллер ходит на дело с простым пистолетом? Да, у нас в девяносто девятом с Гочей был один «стечкин» на двоих, но, извиняюсь, «стечкин», если надо, очередями стреляет! Из него можно очередь в двадцать патронов за десять секунд дать! И отдача у него почти как от узи! А эта?.. Дурочка вышла на меня с «макаровым». Она бесшумной кошачьей походкой выползла из-за трубы мусоропровода, которая зеленой кишкой прошивает пять общих площадок пятиэтажки и является своеобразным ориентиром на никогда не освещенном пятачке перед квартирами.

...По дороге домой я уже успел тяпнуть одну «ягу», поэтому шагов не услышал. Она выстрелила с двух метров, попала в левый бок, на уровне нижних двух ребер. Эти ребра у меня удалили после аварии, поэтому пуля легко прошла насквозь, с на-

слаждением вспорола мякоть легкого и вонзилась в стену. Пробей она кости, меня бы наверняка дезориентировал болевой шок, и второй выстрел стал бы смертельным. Меня сильно качнуло, но боль не была пронзительной, скорее, протяжной, наваливающейся каскадом, и в драгоценные полсекунды я метнулся вправо, инстинктивно угадывая, куда она не повернет пушку. Второй выстрел мимо. Я развернулся.

— Полина, Господи, это же Полина, — сказал свет у меня в голове, но думать вслух было некогда. И ведь явно Полинка тут была ни при чем. Просто своеобразной логикой обладало то, что женщина, давшая мне вздох, заберет и последний выдох. Но этого не случилось.

Я бросился на нее, благо было всего два шага, руки вперед, вцепился в пистолет. Третий выстрел причинил куда больше боли: пуля прошла по касательной вдоль бедра. Вреда меньше, но гораздо острее. Но дальше пошла уже техника и грубая сила. Одним ударом я сломал ей нос, вторым опрокинул на пол, вывернул руки, отобрал оружие, бросил в сторону и задушил. Не хотелось стрелять. Когда все кончилось, этажом ниже опасно скрипнула дверь, затем резко захлопнулась. Сюда уже кто-то едет, понял я.

Поднял с пола сначала пистолет, потом пакетик, в котором болтались еще два коктейля и банка маринованных огурчиков.

— Б**, разбилась... Ой, чего это я вслух разговариваюсь?.. Б**, шатает че-то...

Сроду в этой засранной съемной квартире не додумался бы принимать ванну. Но сейчас залез. Она вся грязная, облезлая, в подтеках каких-то желтых. По-моему, туда предыдущие жильцы по малой нужде вообще ходили. Ну и плевать. Набрал воды так, чтоб по подбородок было, и лег. Сначала чуть не заснул, но через минут пятнадцать стали колотить в дверь. Я приподнялся. Вода в доме была так себе — с заметным коричневым осадком. Но сейчас моя кровь все отлично перекрасила. Мне вдруг стал нравиться вкус и вид моей крови. И как я раньше не осознавал ее прелести?..

Было в этой минуте что-то торжественное, хотя со стороны я выглядел, должно быть, очень жалким. Было что-то кинематографичное (а может, я просто зря посмотрел накануне «Утомленных солнцем»), но снять фильм уже было явно не судьба. Под рукой ни камеры, ни толпы ассистентов, ни Полиночки-блондиночки на роль «Полины» ... — помимо зажатого в руке пистолета и коктейлей в холодильнике, у меня из ценностей остались только кровь и чернота. Выбирать было не из чего, поэтому в канун своего последнего темного мгновения я написал об этом рассказ — как будто кто-то мог его прочесть — ядовитыми чернилами по мерзко пахнущей воде.

А потом они ворвались.

ВИОЛА

1.

Было время, Виола «держала» цыганок, умела гадать по руке, не стыдилась стрелять у студентов мелочь на пиво и зарабатывала воровством потерявшихся детей, но даже тогда никому бы в голову не пришло отнести ее к лихому кочевому племени. По большому счету она человек без национальности — апофеоз мечты космополита. Но миролюбивый космополит скажет: «Нет плохих или хороших национальностей — бывают злые и добрые люди — в любом народе».

Был ли Иисус Христос космополитом? Не знаю, но пацифистом он был точно, ведь его слова (записанные человеком-проводником спустя тысячу девятьсот лет): «Нет злых людей — все люди добры». Хорошо, с этим тоже не поспоришь. Виола не цыганка и тем более не злой человек. Она человек, опаленный войной, и хотя война давно позади и ее неуступчивый уголек тлеет лишь в горах, в тысячах километров к югу от наших сытых столов, Виола, как настоящий воин, не знает, какой тропой уйти с передовой. В ее черных глазах, насмешливо глядящих, не щурясь, на солнце, сверкает огонь, и *она помнит*.

Например, она помнит, каково было лететь в пропасть. Вокруг ревел раскаленный воздух, а где-то внизу алел океан огня, но, *вспоминая*, — она не боится. Ведь падать в пустоту — значит *уже* умереть и исчезнуть. Разрубить пуповину инстинкта, связывающую маленькое зернышко бога в груди и покрытый туманом «мир живых» — значит «никогда не быть», и, вынырнув со дна, ты уже ни за что не поверишь, что в жизни есть что-либо, стоящее страха.

Она рухнула впервые, когда они сказали: «Стреляй». Виоле было двадцать три, и, не поверив, она нажала на курок. Ее отпустили спустя час-сутки-неделю (неважно-неважно-неважно!) — бродить между остывших, умытых кровью тел, и она бормотала: «Живая, живая...» Да, жива ты, жива, Виола, посмеивался дьявол и увлекал в искрящийся костер мести, в пучину войны, в которой не будет победителей; впрочем, прошло много лет, прежде чем она поняла, за что вообще сражаются многочисленные убийцы, снующие вокруг.

Потом потянулся девяносто пятый и два года первой войны: стрелы огня с неба, стрелы огня из-под земли и четыре женщины, делившие с ней комнату. Каждые полгода одна из женщин погибала, и в конце концов живой осталась только Виола. Она все, как безумная, волокла воспоминание о падении, и упрямым поплавком оно выталкивало ее на поверхность. «Самая свихнувшаяся», — говорили боевики про свою палачку, но уважали ее, зная, что таких останавливает только смерть. Она шла, будто раз запущенная пружинная игрушка, и ни огонь, ни перепаханная бомбами земля, ни лес, ни дождь, ни холод не пугали и не ранили ее.

Постепенно на том, что в ней осталось человеческого — поврежденного, изодранного, испитого, — выросла защитная корка-панцирь, и Христос мог больше не отводить взгляд от «хорошего человека Виолы», как он поступил в девяносто четвертом. Она почти оправилась к концу войны: научилась смеяться, любить, радоваться солнцу. Мир вокруг два с половиной года был серым и пах свинцом, но воцарилось недолгое перемирие, и краски возвращались. Они просачивались сквозь потертый серый навес, и вскоре подтеками засинело небо, каплями на деревьях зазеленели листья, чернотой налились гнилые глазницы мертвецов.

Пока ты молод, в теле и психике есть какие-то скрытые вещества, способные восстановить разодранные, порченные ткани, — неважно, будь то кожа, мышца или душевный нерв, — но вторая война прибила Виолу к земле, когда ей было уже под тридцать, и вещества на регенерацию на сей раз не хватило. Ее душа завывала волком, обращаясь ко всем богам сразу — старым, молодым, вымышленным, — но никто не ответил «хорошему человеку», и смерть запечатала женщине глаза. Стиснув зубы, она *по привычке* выжила. Схоронила двух маленьких сыновей, мужа, брата и мать и уехала в Москву. Отец ее остался в лесу — воевать, казнить и умирать.

В Москве, на площади перед Киевским вокзалом полуслепая Виола несколько лет водила цыганскую стаю, больше похожая на бесшумного черного пса, который всегда держится в отдалении от мигрирующего стада, однако в любой момент готов броситься на его защиту.

Она не могла любить этих женщин, не могла не ненавидеть таксистов, за которыми ее также поставили присматривать. Беззвучно кипящая ярость текла по ее жилам, омолаживая и наполняя силой, — так добротное масло уберегает двигатель от износа, так опытный любовник поддерживает в женщинах жизненную силу и красоту.

Порой она замирала, если слышала звук, напоминавший о войне, — хлопок выстрела ночью за переулком, рокот мчащегося над кварталом вертолета или резкий рев завоющего на пустынной улице автомобильного мотора. Никакого страха, улыбалась Виола, проводя холодными пальцами по шее, замотанной в платок летом и зимой. Никакой паники, — вторил черноокий дьявол, ведший ее за руку, — ты уже давно мертва для таких жалких чувств, Виола. — Да, я знаю, мой славный, — она улыбалась, гладила лоснящуюся черную шерсть и острые рога, — чего бояться в этом городе?..

Часто когда звуки ее шагов раздваивались — один шаг женщины на один цокающий шаг дьявола, — она чувствовала, как спину обжигают расправляющиеся огненные крылья. Виола подспудно знала, что они распространяют пламя по всей улице и рыжие языки стелятся по асфальту, разъедают кирпич, инфицируют жаром сердца и головы — и вот уже огромное шоссе (площадь, набережная, улица...) съезживается в объятиях ангела-предателя, а смерть сочится в подземелья и на крыши: и никто не уберется, и никому не спастись...

Впрочем, Виолу пропитывал именно вдохновляющий ядовитый огонь, а не безумие. Она сохранила беспощадный быстрый расчет и здравый смысл. Она прекрасно видела разницу между фантазиями огнедышащего спутника и реальным вкладом, который, идя рука об руку, они вносили в дело войны.

В стайку своих цыганок, которые бродили по площади и в сутки зарабатывали несколько тысяч гаданиями и воровством, она дважды приводила молодых девочек. Те послушно вставали в центр группы и день-два ходили по городу, пока Виола дожидалась точного плана действий.

Глубокой ночью, отделившись от тени многоэтажного дома, маленький безбородый человек догонял ее перед подъездом и на плохом русском говорил, куда и когда переместить «девочку», чтобы та встретила со смертью и опрокинула в пропасть дюжину-другую вражеских сердец. Оба раза, впрочем, план срывался: девушек перехватывали, и никто никогда их больше не видел. Но на третью попытку, уже используя молодого человека, в две тысячи четвертом году, координатор прошептал: «Автозаводская», и на следующий день город взревел, как разбуженный медведь, разбрызгивая слезы и огонь, а зрители центральных телеканалов с горечью смотрели на кровоточащую столичную подземку.

За курирование и доставку «мальчика» на место Виоле тогда заплатили десять тысяч долларов. Часть денег она потратила на три переезда по съемным квартирам, три тысячи ушли на новые зубные протезы взамен паршивых золотых коронок, вставленных в грозненском госпитале в девяносто девятом году.

Чуть позже безбородый алхимик смерти догадался, что незачем подвергать хрупкие, замотанные в черные одежды орудия такому риску. Зачем оставлять их в Москве, если известно, что ищейки уже выпущены на охоту из-под сводов Лубянки? Решили, что инструмент лучше приводить в действие в тот же день, когда он прибывает в Москву, и к услугам Виолы больше не обращались. Ей осталось лишь «держат» цыганок да таксистов на площади.

В две тысячи седьмом она первый и единственный раз приехала в Карачаево-Черкессию, на лесистый берег речки Подкумок, и попрощалась с отцом. Старик умер

за день до ее приезда. Еще немного, и к Виоле, может, вернулась бы позабытая способность расплакаться: как-никак это был последний иллюзорно близкий ей человек, но в том же лагере, уже сворачивавшемся, чтобы перейти границу и уйти в Кабардино-Балкарию, она заметила Юру.

— А этот что у вас делает? — удивилась она.

— Безногий, видишь? — отозвался Алу.

— Не слепая, вижу.

— Взяли случайно машину, которая в госпиталь его везла. Никто его выкупать не станет. И еще у него контузия тяжелая, с головой плохо. Глупый, короче. Его даже не бьют. Пристрелим, наверное, завтра, когда выдвинемся.

— Я его беру.

— Что? Куда? — Алу немало удивился.

— В Москву. Мне он пригодится.

Виола поселила Юру в свою крошечную, двадцатипятиметровую квартирку (которую якобы снимала у давно закопанного в лесу мужика), чтобы немного обезопаситься. Соседи уже несколько лет смотрели на нее искоса, раза три совал нос молодой участковый, и хотя ничто не намекало на ее «причастность», «связи» или дьявола, свившего гнездо в дальнем темном углу, окружающие подсознательно улавливали фальшь и опасность.

Оказалось, что Юра сирота и к тому же молчун, то есть идеально подходит на роль «забытого-найденного дальнего родственника». Виола несколько раз провела его перед соседями, пуская пыль в глаза, и со временем добрые люди согласились поверить, что у черноглазой женщины — сожительницы рогатого демона — есть родственник, что она способна к заботе, нежности и, почти невероятно, к любви!

Виола купила инвалидное кресло, а через год заказала Юре протезы. За этот срок они вряд ли хоть раз проговорили дольше десяти минут. Она не хотела его знать. Она понимала, что дьявол ревнует, пусть и видит вынужденность ее поступка. Лишний раз злить его не стоило, поэтому она не вспоминала о Юре чаще, чем было необходимо. Правда, у нее испортился сон — оказалось невыносимым, когда живое существо сопит у тебя на полу подле дивана, поэтому она выселила Юру в крохотный коридор. Это не помогло, и тогда она начала пить. Чтобы забыться, поначалу хватало одной стопки, но постепенно доза увеличилась чуть не до пол-литра.

— Что ж ты со мной делаешь, стервец, — с ненавистью скрежетала Виола и смотрела на острое лезвие ножа, всегда лежавшего под рукой, раздумывая, надолго ли ей хватит сил.

Все стало совсем плохо в конце две тысячи восьмого, когда «ее» цыганок и таксистов сдуло с Киевского вокзала очередной проверкой. Виола осталась без единственного занятия. Ее, правда, звали на юг, обратно, в горнило войны, но она колебалась и втайне понимала (рвала на себе волосы, но понимала), что слишком привыкла к Москве, к удобствам, к врагам — на улице, в соседних квартирных сотах, метро... — слишком, чтобы обменять это на лес, холодный горный ветер и постоянную близость смерти.

— Ах ты, сукин сын, ах ты, мразь поганая, — вместо крика в момент злобы на ее зубах накопал ядовитый шепот, и воздух пропитывался невидимым огнем, — чтоб ты сдох, гаденыш, чтоб тебя черт подрал, гнида!..

В бессильной ярости, запертая в четырех стенах без дела и почти без денег, Виола била Юру, хлестала ремнем по груди, спине, плечам, брызгала ему в лицо кипятком, и вперемешку со слезами и ненавистью лила на него поток черной засасывающей пустоты. Солдатик, едва понимавший, где он, с кем и который год томится в плену, глядел в одну точку и лепетал что-то из своих детских кошмаров: «Мамочка, не бей, мамочка, прости».

В конце концов эти истерики стали завершаться тем, что они засыпали в обнимку, опустошенные многочасовыми немymi рыданиями, впившись когтями в спины друг друга, искусаив друг другу шею, щеки, губы... Ревнивый дьявол внюхивался в ночной майский сквозняк, разносивший по комнате смесь любви, ненависти, жизни и смерти, и вспоминал, как давным-давно сам вышел на темный берег, порожденный соединением этих четырех вечных начал.

2.

Юра, хоть у него были кресло и протезы, почти все время сидел дома. Только в теплые месяцы он, бывало, выбирался во двор и занимал скамеечку под кустом сирени часами напролет, не обращая внимания на прохожих, не разглядывая машины и девушек. Взгляд в одну точку и полная неподвижность. Собственно, не нужен ему был ни свежий воздух, ни прогулки, ни даже дорогие протезы — ему все было скучно, и от всего нового кружилась голова. Про Виолу он знал только, что она ему новая «мама» (и потому ее следует слушаться) и что ее цвет — фиолетовый. Последнее как-то раз подсказал безбородый странник, изредка деливший с ним лавку.

— Ты знаешь, мужик, что у тебя рога растут? — спрашивал Юра, косясь на соседа.

— Знаю, конечно, — хихикал дьявол. — А ты, — говорит, — знаешь, что твоя «мама» людей взрывает?

— Конечно, никого она не взрывает.

— Фиолетовый — цвет власти, — как бы между прочим сообщал безбородый, — а кто хоть раз убил и остался безнаказанным — он-то знает вкус истинной власти. — Юра промолчал. — А ты, мальчик, наказан был изрядно... Нет в тебе ни капельки власти, хе-хе-хе, — острые когти коснулись металлического протеза и передали несуществующим нервам дикую, разрывающую боль... Юра потерял сознание, а когда очнулся поздним вечером под кустом зацветающей сирени, над городом собиралась гроза. Было ветрено, и темно-фиолетовая туча ползла с запада, распугивая птиц клыкастыми зарницами.

Виола очень удивилась, когда промокший насквозь «сынок» проковылял в квартиру и горько заплакал.

— Никого я не взрываю, — успокаивала она бормочущего солдатика, а сама жалела, что нет ножа, способного пронзить черную рогатую тень — наказать ее за то, что пугает невинного мальчишку...

Через несколько недель, в светлый июньский вечер, Виоле стало невмоготу сидеть в квартире и пить одной. Юре она никогда не наливала — боялась, что он еще больше поглупеет от водки, — а дьявол только ехидно улыбался, если ему предлагали стопку. Поэтому как-то раз, устав смотреть на медленно затухающий за озером закат, Виола спустилась во двор и под села к каким-то случайно забредшим бомжикам. Она бы никогда не рискнула болтать с соседями или даже дворником-таджиком, но чем опасны, подумала она, две бездомные женщины, которых завтра здесь уже не будет?.. Что такого — разок выпить в компании? — размышляла она и долго уговаривала дьявола пойти на компромисс.

Он воротил свинячий пяточок, демонстрировал, как ему претит их вонь, но в конце концов дал Виоле поблажку. Ведь в этот день он отмечал праздник и был добрее обычного: ранним утром шестьдесят восемь лет назад разгорелась самая кровавая война в истории ненавистной ему православной страны.

Бомжихи, у которых, оказывается, не было своей выпивки, приняли Виолину бутылку как манну небесную. Они втроем пили до полуночи, а несколько раз к ним

подходил боязливый дворник и просил налить. Он стеснялся чокаться с женщинами, поэтому уползал, получив свой полстаканчика, в подвал, но через четверть часа возвращался.

В начале первого водка кончилась, и Виола пошла домой за добавкой. Когда вернулась, одна из бомжихов всю храпела, а вторая выковыривала из земли недокурный бычок. Она подняла виноватый взгляд на свою благодетельницу: мол, не серчай, барыня, надеялась раньше твоего возвращения управиться.

— Пошли, Нина, куплю тебе, — строго проговорила Виола. Несмотря на то, что она была пьяна, в крови по-прежнему текла ненависть. Да и не умела она быть нестрогой. (Нельзя, чтобы масло переставало смазывать двигатель: одно вращение без смазки, и механизм можно выбрасывать...)

В круглосуточном магазине купили сразу две пачки красного «Мальборо», а на улице вдруг закрапал дождик, поэтому курить и допивать пошли к Виоле в квартиру.

— Иринку не возьмем, — Нина по-заговорщицки сверкнула глазами, и они оставили собутыльницу дрыхнуть под столом для пинг-понга.

Юра по привычке проснулся, едва она вошла в квартиру. Виола поспешила загнать его назад в комнату, велела ложиться спать и не высовываться. Она догадывалась, что он без нее не уснет, но уже слишком напилась. Сидела с Ниной почти до зари и впервые за много лет курила. На кухне дым стоял коромыслом, обе женщины еле ворочали языками.

Нина плела что-то о своих семи женихах, брошенных когда-то в Орле. Оттуда она якобы сбежала то ли пятнадцать, то ли семнадцать лет назад (все время путала цифры и зачем-то скрывала свой возраст — над этим особенно потешался трезвый дьявол). Рассказывала, что ни одного из них не любила, а влюбилась в большого СПИДом московского алкоголика, приехала к нему, пыталась спасти, но сама заразилась, а он в конце концов на ней даже не женился. «Не любил, — с горечью бормотала она, — повесился через три года, а мамка его меня на улицу выставила. Я домой уже не поехала, зачем я там больная буду мешаться?»

И вдруг, когда белый пух начал заниматься над Битцевским парком, Виола ни с того ни с сего решила рассказать об осколке собственной истории:

— А я, — начала она, улыбаясь черными глазами, — приехала сюда, чтоб этот город взорвать.

— Это зачем еще? — Нина и дьявол изумленно уставились на нее.

— Я, — Виола пожалала плечами, — не могу по-другому. Меня же в девяносто четвертом в плен взяли.

— Кто?

— Федералы, кто! Отступали они (или наступали — кто тогда разбирал?) почему-то через наш город и все торопились наловить как можно больше наших — тех, кто якобы с оружием был. Выловили пятнадцать человек, в том числе и мужа моего. Мне тогда двадцать три исполнилось, все попрятались, а я беременная за ними бежала, просила не убивать. А меня спрашивают: а сын от него? Я-то не знаю даже — сын у меня или дочь, но чувствую, конечно, что мальчик, и кричу: «Да, от него сын, от кого же еще! Отпустите, пожалуйста!» У нас, говорят, счет простой. Пять к одному. Вот и выбирай, отвечают, кого из вас. Тебя с сыном или его одного расстрелять? Потому что пятнадцать боевиков, которые наших трех положили, мы, мол, поймали, и кого-то казнить точно придется.

Глаза Нины округлились, из них даже выкатилась пьяная слеза, и она немного протрезвела. Дьявол сидел неподвижно и глядел исподлобья. Виола хищно улыбнулась и провела языком по губам:

— Я ничего не выбрала, — сказала она после паузы. — Сгорела заживо, но не стала выбирать...

— Как это заживо?

— Или не заживо, — Виола забыла о существовании слушателей и рассмеялась, — просто продолжила стоять тогда как вкопанная. Огонь меня обнял и забрал душу, унес ее Аллаху. И после этого уже не нужно было решать... Ну, хотя да, я выстрелила, они же просили выбрать... Дали мне автомат, да я всех и расстреляла — четырнадцать человек. Багу тоже. Руки себе обожгла, брови сгорели, думала, кожа с меня сойдет, но ничего, оправилась, видите?

— Видим, — крикнул дьявол.

— Вот так... А потом федералы зачем-то потащили с собой, но на выезде из города меня наши отбили и забрали. Увезли в лес... Вот, — глотнула стопку, — а там у меня уже первый выкидыш, потом брат мужа на мне женился, — от него второй мог родиться, и тоже не получилось... Потом и он умер. Только от третьего и родила, уже сразу двойню. А во вторую кампанию их снарядом накрыло, мотыльков моих, и тихо стало... Только огонь кругом стоймя. Ну, ничего... они же не понимают. «Вы» то есть не понимаете — каково это по огню идти, огнем дышать?.. Выбирать между смертью и огнем... Не понимаете, куда ж вам. Ну да не страшно, я научу...

Виола очнулась и вздрогнула. Нина смотрела на нее с открытым ртом.

— Да не бойся ты. Ну, научу, что тут такого?.. Еще рюмочку?..

Через полчаса опустела последняя бутылка, потом женщины пили чай, убрали со стола... Вытирая посуду, Виола поняла, как следует поступить, и предложила Нине напоследок помыться.

— Воняет от тебя, — с улыбкой сказала она.

Гостя поначалу стеснялась, но вскоре согласилась. Виола наполнила для нее ванную, выдала мыло, мочалку, два шампуня на выбор.

Когда услышала, что бомжиха начала мыться, тихонько собрала ее одежду, взяла бутылку керосина, вышла во двор и, пока никто не видит, сожгла грязную кучу тряпья в углу помойки, потом бегом вернулась в квартиру, достала в комнате из-под матраса нож. («Юрочка, ты спишь? Почему мальчик мой не спит? Ну-ка спи... Спи, я сказала! Спи, зараза ты эдакая!..» — единственная струна ее чувств отвечала и за нежность, и за злобу, поэтому Юрочке всегда доставались вперемешку ласка и оплеуха. Вздохнув, он закрыл глаза и сделал вид, что спит.)

— Слушай, какое можно полотенце взять? — крикнула Нина из ванной.

Виола вошла.

— Бери красное, вот.

Нина начала вытирать волосы. Женщина стояла по щиколотку в воде за полупрозрачной занавеской. Оказалось, у нее вполне неплохое, не слишком изношенное тело — может, дать его сначала Юрочке? «Нет, опасно, еще заразит паскуда мальчика моего...» Виола грустно усмехнулась и ударила гостью ножом. С криком, окрасившим воду в красный, та забилась в углу, в панике размахивала руками и ногами. Она верещала на протяжении следующих шести ударов, на седьмом успокоилась, и когда даже после двенадцатого не издала ни звука, Виола вздохнула с облегчением.

Когда она отмывала на кухне нож, радио пропищало шесть раз и начался утренний выпуск. Юра всегда вставал по этому сигналу — наверное, наследство от армии. Она едва успела перехватить его у двери в ванную, велела сидеть в комнате. Он удивленно посмотрел на нее. Это была явно необычная ночь, глаза Виолы полоснули огнем — большее, чем если бы они, как всегда, проснулись вместе и глядели с отворачиванием на отражения самих себя: два сплетенных покалеченных тела, две обезображенные души...

— Сиди и не высовывайся, — злобно приказала «мамочка», но через несколько часов поняла, что не справляется, и позвала Юру на помощь.

Это был риск, но почему-то они с дьяволом догадались, что Юра ничему не удивится. Хотя в первую секунду, почувствовав запах, он отшатнулся и поморщился, на протяжении остатка дня делал все как надо. Поздним вечером, когда наконец-то ненадолго стемнело, Виола с Юрой поочередно выносили черные пакеты и несли в Битцевский парк, стараясь не попасться на глаза дворнику или соседям. Каждый раз, спускаясь в овраг, затем поднимаясь в непроглядную лесную темень, они озирались, но дьявол нетерпеливо шикал им вслед: «Да быстрее, быстрее же вы! Я за дорогой присмотрю, только быстрее, времени-то мало!..»

Ночью, когда все было кончено и они, обессиленные, лежали в обнимку, Юра продолжил молчать. Виола чувствовала, что тело его похолодело, перестало отвечать на ее огонь. Целых две ночи она не могла уснуть: ее беспокоил мальчик, ставший совсем чужим. Больше всего ее ранили слова, которые он произнес, высвободаясь из ее объятий. И будь она способна испытать страх, Виола бы, безусловно, испугалась. Он сказал:

— Ты меня спасла. Но я, мамочка, в следующий раз так не смогу. В следующий раз ты тебе не смогу помочь. Прости, мамочка...

— Ты слышал, что я ей говорила? — спросила Виола, закуривая последнюю сигарету из красной пачки.

Юра кивнул.

3.

Начался две тысячи десятый год, и шел март, когда Виолу снова призвали к делу. На этот раз роль координатора исполняла красивая молодая женщина. Как и несколько лет назад, они встретились поздним вечером. Высокая тень отделилась от многоэтажки и, пахнущая сладким персиком, склонилась над сутулой фигуркой Виолы. Острый рыжий луч фонаря пересекал ее лицо от левого виска до шеи.

— Одну из наших девочек только что чуть не сцапали, — сообщила она каким-то особенным нежным шепотом, словно получала наслаждение от каждого слова, и стареющая женщина невольно поморщилась. Она почувствовала, что красавица, чей силуэт с трудом угадывался во тьме, никогда не была воином, и ей стало больно и обидно оттого, что хозяева променяли ее на какую-то слабую куклу.

— И что? — глухо отозвалась она.

— Тсс, — девушка приложила к Виолиным губам тонкий палец — он пах порохом и сладким персиком. — Слушай, а я все расскажу. Ее вычислили — еле сбежала, дурочка. Но пояс у нее при себе, и ее координатора они еще не нашли. Если все сделать быстро, получится еще ее использовать.

— Что от меня нужно?

— Ближе к полуночи езжай в Люблино, встретишь ее у входа на рынок, поймашь машину, спрячешь до утра у себя. Завтра уезжайте в Подмосковье, куда-нибудь подальше, в Дмитров или Рузу, сама реши. Там оставайся, пока с тобой не свяжутся. Когда уляжется немного, мы опять ее запустим.

— Хорошо, — прошептала Виола и вдруг испугалась. Это было до того неожиданно, что она сначала не поверила. Впервые за пятнадцать лет испытать страх! Одинокая соленая капля упала на тлеющее сердце, и женщина невольно застонала.

— Что с тобой?

— Сердце колет... Черт возьми.

Виола схватилась за грудь. Она действительно отвыкла чувствовать колебания, сомнения. И вдруг поняла, что ей есть что терять и — опять спустя столько лет! — *кого* терять. Едва персиковая предвестница нырнула обратно в ночь, она ринулась домой, рыча от боли, ощущая, что ее словно ошпарили кипятком.

На диване покорно дожидался Юра. Он сидел без протезов, смотрел в одну точку, не поднимая глаз, и, как всегда, ни о чем не спрашивал, не говорил ни «привет», ни «что с тобой», хотя даже он не мог не почувствовать, что Виола вернулась сама не своя. Она была его яростнее, чем обычно, и плакала горше, испытывая настоящие, неподдельные, тысячу раз позабытые тоску и страх. «Только не опять, — причитало оттаявшее сердце, — нельзя умирать дважды, ну не бывает же так, не бывает!.. — и слезы сменялись каплями жидкого огня. — Ах ты проклятье, ах ты проклятье на мою голову!..»

Подобный шок бывает у людей, которым рухнувшее дерево переломило и на несколько часов придавило руку или ногу, — высвобождаясь, они рискуют умереть, отравленные гнилыми клетками поврежденных тканей и костей. Разница лишь в том, что Виолина душа была переломлена не много часов, а много лет назад. Она сидела на кухне и умирала от ужаса. Чувство, свернутое и унесенное из личной огненной геенны — на долгий срок личной маленькой войны, — оказывается, лишь дожидалось часа, чтобы вернуться.

— Из-за него, все из-за него! — вопила она про себя, хватаясь за голову всякий раз, когда слышала, как Юра ворочается в комнате.

Сделать, что ей приказали, значило оголиться перед ним окончательно, снять с себя кожу и повиниться: да, я не человек, со мной под руку ходит вот это — она бросала взгляд на чудовище, сидящее в углу, вылизывающее как ни в чем не бывало черную шерсть. Но даже этого будет мало! Ведь придется выгнать его («выгнать» — вслушайся только, ты, рогатая скотина!) — моего единственного бедного мальчика!..

Она представляла себе, как снова останется без человека, теплеющего от ее огня, как выкинет его на улицу, а сама уедет незнамо куда и незнамо на сколько — в Подмосковье или еще дальше — на много лет или даже навсегда. Но в конце концов Виола приняла единственное решение, которого от нее ждали. К этому времени вокруг собрался целый консилиум из ученых демонов. Дьявол с гордостью демонстрировал очередной экземпляр своей коллекции:

«Это классический пример уничтоженного воина, — рогатый надел белый халат и расхаживал по кухне, тыкая в нее острой указкой, — воина, умершего раньше, чем его одолела война. Воина, потерявшего тропу войны. Посмотрите, как он дергается, а?.. Как лжепророк на сковородке, не находите?.. Зрелище отменное. Тут все, как по учебнику, смотрите внимательнее, записывайте и запоминайте! Что мы имеем? Тут не какая-то выхолощенная, выдуманная жизнь и вялое умирание-тоска, чем страдает почти все поголовье этого города. Однако тут и не порожняя гордыня — все намного изысканнее: перед нами великолепный, «сочный» пример *непрощения*, друзья мои, а также настоящая бездна, пускай глупое создание и преувеличивает (вечно они все преувеличивают) ее масштабы. Ну, скажем так, просто небольшая персональная пропасть — право, она ли первая, она ли последняя?.. Фи, это даже не забавно. Однако обратите внимание, как крепко стянуты узлы: слепота, отчаяние, безнадежность, отрицание любви и сострадания, полное исчезновение чувства сопричастности к другим людям!.. Она шла в черноту, затем забрезжил ложный свет, и она позволила себе обмануться. Однако ей никогда не суждено вернуться к свету. И самое восхитительное в том, что она знает... Да, Виола?.. Я работал над этим экземпляром больше пятнадцати лет. Редкий случай увидеть жертву самонадеянности создателя нашего в

столь чистом, дистиллированном виде! Наслаждайтесь, господа, ах, наслаждайтесь!..»

Темный консилиум толпился вокруг Виолы в полупустом метро, затем у Люблинского рынка, где она куталась в шубу и полтора часа ждала девушку. Уродливые создания наперебой обсуждали представленный мессиром феномен. Их выпученные красные глазища упирались Виоле в лицо, она ожесточенно отмахивалась. Вонючие клыкастые пасти забрызгали ее одежду ядовитой слюной и в нескольких местах прожгли черный платок. То и дело чьи-то лапы норовили схватить ее, ущипнуть или погладить, и, разучившаяся не бояться, Виола вскрикивала, а затем с удвоенной яростью рубила воздух клинком ножа.

— Предатель, — с ненавистью бросалась она на дьявола, но он только усмехался и отступал за спины шумных демонов. Со всех сторон доносились слова: «Великолепно, мессир, феноменально, блестяще!.. Открытие!.. Находка!..»

Наконец-то, в полвторого ночи, к ней приблизилась молоденькая красивая девушка. Демоны расступились и стали разглядывать обеих.

— Вылитая Виола в молодости, — шепотом подсказал дьявол, и консилиум восхищенно ахнул.

Они не разговаривали. Виола изучила ее лицо: очень чистое, светлое, с темными бровями, но светло-голубыми глазами — и повела за собой. На пустынной улице они поймали одинокую машину и вскоре были в квартире.

— Спать будешь здесь, — Виола заранее приготовила на кухне матрас.

— Спасибо.

— В комнату не суйся.

— Хорошо.

— Что? — Виола заметила, что девушка смотрит на нее вопросительно. «Если эта мразь вздумает спросить, как меня зовут, или захочет узнать, что в комнате, я ее придушу...»

— Мне надо снять перед тем, как лечь, — девушка смущенно показала на талию.

— Ах ты ж черт подери! — рыкнула Виола.

Минут двадцать они возились с поясом смертницы, затем девушка долго молилась и наконец рухнула на матрас.

— Я двое суток не спала, — пробормотала она и тут же уснула.

Виола спрятала пояс в коридоре, за шкафом. Затем, вопреки установленным между ними правилами, она разбудила Юру во второй раз.

— Сука, мразь, — шептала она привычные слова, и, как никогда прежде, они были полны обжигающей, сулящей смерть любви.

Она невольно представляла, что бьет спящую смертницу, уродует ее молодое личико, бледные щеки, острый подбородок, прямой аккуратный носик, и потому усердствовала так, что Юра впервые за много месяцев пробормотал, что ему больно. Виола застыла, и вместо слез из нее заскользили слова:

— Мне страшно, сыночек, страшно за тебя, Господи, как я боюсь за тебя!.. Кто тебя защитит, когда меня не станет? Кто тебя спрячет?

— От кого мне надо прятаться, мамочка? — спросил Юра.

— От него, ты же знаешь, — она ткнула пальцем в фигуру дьявола, а затем закричала на него: — Где все твои приспешники, а?! Ушли, разбежались, да?!

Утром девушку разбудил Юра. Увидев русского мужчину, она побледнела и приготовилась к броску. Если что, могла бы попытаться счастья убить его голыми руками, но Юра не собирался ее трогать.

— Забери, — сказал он, кивая на пояс, разложенный на столе. Часть компонентов была извлечена накануне, но он собрал их аккуратной кучкой и сложил рядом, — и уходи.

Девушкин страх сменился изумлением. Она, однако, догадалась, что не надо ничего спрашивать, молча встала, оделась, собрала пояс.

— Помоги, — она показала, как его крепят на человеке.

Юра справился со второй попытки.

— Тяжелый, — равнодушно констатировал он.

— Да... Слушай, а... она? — она неуверенно посмотрела в коридор.

— Уезжай без нее. Тут тебе опасно. Она не поможет.

— Спасибо.

Девушка выпила стакан воды и вышла из квартиры. У Юры болели ноги, так как он всю ночь не снимал протезы. Он выпил чая, оделся и побрел в парк. Шел снегопад.

— Чего же ты плачешь, глупенький? — спросил дьявол. Теперь он выглядел не как рогатый получеловек-полузверь. Он принял обличье Виолы: обнаженной, ссутулившейся и фиолетовой с головы до ног (кроме нескольких алых швов-порезов).

Едва ли это можно было назвать человеческим обликом. Однако как в былые времена, разъяренные, полные страсти глаза завораживали «мальчика», прожигали душу горячими черными углями. Глядя в них, он видел разверзающуюся бездну, видел любовь, ненависть, жизнь и смерть.

— Я не плачу, — ответил Юра. Трясущимися руками он поднес к губам сигарету, опустил взгляд и уставился в одну точку. Где-то здесь, на краю парка, уже засыпанная снегом, лежала она.

— Пла-ачешь, — упрямо повторил дьявол.

— У меня мама... мамочка умерла, — прошептал Юра и больше не отвечал ни на какие вопросы.

Григорий БЕНЕВИЧ

ВИНОГРАД

Как усики винограда
Топорщатся, ищут нитку,
Так бедному слову надо
Опять совершить попытку

Понять что-нибудь, опору
Найти, вертикаль — движенье,
Чтоб было вперед и в гору
И не было чтоб сниженья

Мысли. Расти, невольник,
Мой комнатный виноградник.
Заглянет на подоконник
И твой когда-нибудь праздник.

Не то чтобы сладких ягод
Ты дал урожай, но глазу
Покой и простое благо —
Начать и окончить фразу.

ЖЕМЧУЖИНА

Падок я до женской красоты —
Ничего не могу с собою поделать,
И с тех пор, как на рынке появилась *она*,
Только у нее покупал я картошку.

А жена меня ругала: за эти деньги
Мог бы принести картошку получше.
А когда я ей показал *ее*,
Стала ругать еще пуще.

Григорий Исаакович Беневич родился в 1956 году. Кандидат культурологии, автор многочисленных работ по литературоведению, истории культуры и философии, преподаватель РХГА. Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 12'2012

Но вот прошел год, другой...
Что стало с моею красотою!
Жемчужину затоптали свиньи,
А жена говорит: сама виновата.

Не знаю уж, кто виноват, но без боли
Не могу теперь я ходить на рынок.
Никто *ее* не спасет, не отмоет...
Ешь теперь, жена, свои макароны!

ГОРОДКИ

Кто б мог подумать — здесь у рavelина
Народ играет в городки!
Какой там Петр Первый, мужики,
Какая матушка Екатерина,
Когда, прицелясь, битой бьет
Творец истории — народ.

И солнце льбится на золоченом шпиге,
И ангел города глядит на городок,
И целится, и отмеряет срок,
Когда он от удара разлетится.

* * *

Голубушка, голубка без крыла,
Душа моя, хоть бейся, хоть не бейся,
Крыла не вырастишь, и мастью не бела
Ты, а другой не будет, не надейся.

Душа моя, жена моя, крыла
Не вырастишь, да разве ж ты бескрыла?
Ты помнишь, как летала, как плыла
Ты над землей и как все это было?

Ну а теперь из милости живешь,
Из брошенного кем-то наземь проса.
По зернышку, найдя его, клюешь,
А не найдя, — копаешься в отбросах.

ЦВЕТЕНЬЕ

Украшена
 солнечной
 белизною
Ее голова.
 До чего же прекрасна
Черемуха
 в пору, когда еще зноя
Нет летнего,
 но уже сила погасла

Черемуховых холодов.
 Вознесенье —
Разлуки пора.
 Точно Божия Матерь
С апостолами —
 в окруженье деревьев
Черемуха,
 полная благодати!

НА 9-Й ДЕНЬ А. Г. ЧЕРНЯКОВА

удаление номеров
абонентов утерянных и ушедших...
как, философ, тебе *там?* думаю, легче,
чем в тот день, когда ты *здесь* жить не смог.
тяжелее-то некуда, ведь бежать
дальше некуда, невыносимей, чем было
в духоте, когда ты уже дышать
здесь не смог, *там* вряд ли...
твой гроб в могилу,
не открыв нигде, спустили, песком
забросав, мертвецом я тебя не видел.
да и умер ли ты или просто дом
наконец обрел, из **времени** выйдя.

Гурам СВАНИДЗЕ

КУДА? В ШТАТ МИССИСИПИ

Ньюму Левина считали странным. Говорили, что некогда его исключили из Политехнического института, в связи с чем о нем ходила байка. Она гласила, что во время прохождения трудового семестра в районе советско-китайской границы Ньюма пересек эту границу. Некоторые остряки рассказывали, что неуклюжий перебежчик прополз несколько километров и, когда почел нужным, встал на ноги. Произошло это поблизости от рисового поля, где по колено в воде работал крестьянин. Китаец был напуган до ужаса, когда вдруг увидел здорового, небритого, замызганного грязью человека «с той стороны». Страшила обратился к нему, произнося только одно слово — «Шанхай». Рисовод с криком бросился бежать — по колена в воде, застревая в поросли риса, что усиливало его панику.

— Приходилось ли этому бедолаге до этого видеть еврея наяву? — задавались вопросом остряки.

Скоро поспели пограничники.

Разносчики байки уверяли, что Ньюма засобирался в Америку и выбрал для этого весьма окольный путь — через Шанхай, через океан в Сан-Франциско и далее в штат

Миссисипи, на родину своего любимого писателя Уильяма Фолкнера. Китайцы довольно скоро вернули нарушителя границы. Ньюме не дали завершить трудовой семестр, быстро отправили в Тбилиси, прямиком в психиатрическую лечебницу.

— Хорошо, что такому увальню политику ни там, ни здесь не пришили, — был вывод.

Когда я познакомился с Ньюмой, он был полным, крупным молодым человеком. Вечно неопрятный и небритый. Колорит университета. Один парнишка спросил его о приключениях в Китае, чем вызвал иронию Ньюмы. Едко улыбаясь, он прибег к столь изощренной софистике, что трудно было понять, то ли он развенчивал миф, то ли, наоборот, подпитывал его.

Ньюма любил побалагурить и поэтому нуждался в аудитории. Но мало кто с ним дружил. Бывало, если кто заговаривал с Ньюмой, то начинал озираться по сторонам, строить рожи, давая понять окружающим, что ничего серьезного не происходит.

Гурам Александрович Сванидзе родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет. Журналист, социолог, кандидат философских наук. Автор сборника рассказов «Городок». Публиковался в журналах «Нева», «Дружба народов», в русских, американских, израильских и грузинских интернет-журналах. Автор ряда научных статей по проблемам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции. Работает в Комитете по гражданской интеграции парламента Грузии.

Сказывалась его одиозность. Он сам ничего не делал, чтобы свой имидж поправить, — еще пуще куролесил, когда видел такое к себе отношение. Однажды, рассуждая о романе Фолкнера «Шум и ярость», Ньюма сказал:

— Римские патриции обычно заказывали для себя вазы. По своему вкусу. Иногда они сами выдували их. Застывающее расплавленное стекло они называли кристаллизирующейся музыкой. Эти вазы они ставили у себя в изголовье. Фолкнер написал роман так, как будто сделал вазу для себя.

— Получается, что ты облюбовал чужую вазу? — спрашивали его с ехидцей.

Он не без ерничанья отвечал:

— Я — раб того патриция, моя функция — выносить по утрам ночной горшок хозяина. Я тоже влюбился в вазу и каждое утро тайком протираю ее, смотрю, как играет она гранями на солнце.

Только мой сокурсник Игорь общался с ним просто и с достоинством. Но Ньюма любил его не больше других ребят. Именно от Игоря пошло его прозвище Фольклорист. Имелись в виду его пристрастия, конечно.

Ко мне он относился лояльно. Я жил в студенческом общежитии, куда Ньюма часто наведывался. Это — чтоб пива попить в компании и поболтать всласть. В своей комнате я развесил вырезки из журнала «Америка». Вышел как-то номер, полностью посвященный американской литературе. Его я позаимствовал у своего тбилисского родственника и, не спросив его разрешения, искромсал журнал. Ньюма внимательно посмотрел на мою «экспозицию» и сказал, что со вкусом сделано, мол, в других комнатах разве что фото вульгарных девиц и диких поп-музыкантов можно увидеть. Он вспыхнул от удовольствия, когда я подарил ему статью критика Малькольма Каули из того журнала. Иллюстрацией к ней было фото Фолкнера, где он изображен у своего охотничьего домика, в котором написал не один роман. Фото я не стал вырезать, благодаря чему сохранил статью.

Однажды мы с Игорем заглянули к нему домой. Квартира находилась в «итальянском дворике». Наше появление в нем не могло пройти незаметно для соседей. Мы уже зашли в каморку Ньюмы, справили все приличествующие ритуалы вежливости, устроились у стола, я уже сделал заключение, что до такого срача свое жилье мог довести только Ньюма... а во дворе все еще продолжалось обсуждение наших персон. Приятно было услышать, что нас охарактеризовали как «благобразных молодых людей». Игорь напомнил хозяину о цели визита. Тот обещал ему шахматную литературу.

— Не ходи туда! — вдруг раздался из-за портьеры болезненный голос.

От неожиданности мы вздрогнули. Там лежала парализованная мать Ньюмы. Он никогда ничего не говорил о ней.

— Да, мама, я не пойду туда, — ответил он и подмигнул нам.

Оказывается, книги лежали в глубине двора, в пристройке, которая обрушилась, и было небезопасно в нее входить. Пока мы беседовали, слышно было, как за портьерой больная справляла в горшок малую нужду. В этот момент сын застыл, как бы переживая щекотливую ситуацию. Я и Игорь говорили наперебой. Делали вид, что ничего не заметили. Потом мы засобирались и начали прощаться с несчастной женщиной. Она слабо отвечала из-за портьеры, а когда мы выходили из комнаты, снова донесся ее тревожный голос:

— Не ходи туда, Ньюма!

— Я только ребят провожу и вернусь, — ответил он.

Пристройка находилась в одном из закоулков тесного двора. Она сильно обветшала, обвалились потолок и одна из стен, построенная из глины.

— Здесь был мой кабинет. На моей памяти он столько землетрясений перенес. Последнее не выдюжил. Сколько можно? Представьте себе: здесь по-прежнему работает электричество, — сказал Ньюма.

В этот момент он, кряхтя, протиснулся в заклиненную дверь, на ощупь нашел выключатель. Свет был тусклым. Ньюма начал рыться в куче опавшей штукатурки и рухнувших книжных полок. Наконец он выпростал из нее несколько книг, ради которых мы пришли к нему.

Выходя на улицу, мы спросили, не нужна ли помощь для матери. Он немного подумал и сказал:

— Жаль, там под развалинами остался комплект журнала «Иностранная литература» за 1973 год. Тогда в трех номерах печатался роман Фолкнера «Шум и ярость».

По дороге мы поохали о состоянии матери нашего приятеля и о том, как он неграшив в быту. Мы знали, что отца Ньюма потерял еще в детстве — тот умер от рака. После некоторой паузы Игорь добавил:

— На самом деле творчество Фолкнера противопоставлено Ньюме. Мощные необузданные характеры, ужасные поступки некоторых персонажей, сам стиль писателя тормозит слабую психику нашего общего знакомого. Ты обрати внимание, как он произносит «Йокнапатофа»?

Действительно, название выдуманной писателем земли Ньюма произносил так, как если бы выдыхал это сакраментальное слово, созерцая, «как медленно течет река по долине», что оно и означало в переводе, то индейское слово.

Иногда мы замечали, что временами Ньюма худел и вроде становился выше ростом. При этом он заметно прибавлял в аккуратности: тщательно брился. Его перманентное состояние легкого подпития сменялось мрачностью. Он обособлялся. Как я понимал, в чем со мной соглашался Игорь, бедняга страдал от депрессии.

— Это у меня экзистенциальное, — объяснял наш приятель свое состояние, когда выходил на контакт. Конечно же, он кокетничал.

После окончания университета я потерял Ньюму из вида — занимался своими проблемами. Надо было закрепиться в Тбилиси и не уезжать домой, в провинциальный городок. Нашел работу в редакции вечерней газеты, где, кстати, работал отец Игоря.

Тут еще перестройка поспела. В городе царил бедлам, «всеобщее обнищание народных масс», как выражались классики, гражданская война. Надо было спасаться.

Однажды, стоя в длиннющей очереди за хлебом, я увидел Ньюму. Он показался мне очень высоким и бледным. Нас разделяли человек двадцать-двадцать пять. Я решил, что поставлю его в очередь рядом со мной, так ему к цели поближе. И поговорить можно было бы. Я подошел к нему, но старый приятель никак не отреагировал на мое появление. Вокруг происходили непрерывные разборки, народ лихорадило от бесконечного ожидания, а Ньюма стоял отрешенный, теребя сумку. Разве что еле заметно шевелились его губы. Видимо, он вел внутренний монолог, кто знает — может быть, диалог. Подъехала машина с хлебом. Толпа оживилась, пришла в движение. На подножке кабины стоял гвардеец с автоматом. Он предостерегающе пустил автоматную очередь вверх. От ее звука вздрогнули все, даже сам гвардеец, но не Ньюма. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он продолжал свою внутреннюю речь.

Толпа не могла долго выдержать порядок. Очередь смешалась, самые ражие бросились на штурм. Еще один предостерегающий выстрел гвардейца уже никого не пугал. Я активно толкался локтями, дотянулся правой рукой до решетки оконца, застолбив таким образом позицию. Бочком-бочком я приближался к вожделенному окошку. В какой-то момент глянул в сторону, где мог находиться Ньюма. Его оттеснила толпа на самый край.

Но вот Ньюма подал голос. Да еще как подал! Он заговорил громко, как будто пытался перекричать окружающий шум. При этом бедняга не замечал, где говорил, кем был окружен. Ньюма, как зомби, ходил по улицам и иногда, «заговариваясь», оказывался в таких уголках городка, где никогда в жизни не ступала его нога.

Однажды на проспекте Руставели народ собирался на демонстрацию. Люди были возбуждены и кричали антиправительственные лозунги. Скандировали их на грузинском языке. Вдруг в воздухе завис голос. Демонстранты смолкли и стали озирались вокруг. Они увидели высокого, худого, изможденного вида, молодого человека в очках, который витийствовал и темпераментно жестикулировал. Оратор держал речь на русском языке. Это был Ньюма. Он шел в противоположном направлении, вышагивая на своих длинных ногах. Еще долго можно было слышать его рассуждения «о текущей политической ситуации». Голос медленно затихал. По мере того, как удалялся одинокий оратор.

— У него, видимо, свои претензии, — пошутил кто-то из демонстрантов.

Один американский фотокорреспондент снимал обугленные развалины здания парламента. Только что в Тбилиси кончилась война. В кадр попал Ньюма, худой, с всклокоченной шевелюрой. Кадр получился патетичным. Говорили, что фотограф даже получил за него премию.

Ньюма стал общегородским достоянием. Проще говоря, городским сумасшедшим...

Как-то ранним утром, выйдя из метро где-то на окраине города, я увидел Ньюму. Он шел в моем направлении и говорил. Я не прислушивался к содержанию его речи. Мне было жутко — не знал, как повести себя или как поведет себя он, увидев меня. Но Ньюма прошествовал мимо, шумный и энергичный, даже не взглянув в мою сторону. Я вслушался в его голос и обнаружил, что бедняга вел диалог. Одна его ипостась говорила спокойно, и обертоны были мягкие. Ньюма издавал гортанный звук, как будто откашливался, и в роль вступала другая личность: агрессивная, непоколебимая, с сильно выраженным еврейским акцентом в речи.

— Ты смотри, Склифосовский! — воскликнул стоящий рядом со мной мужчина своему товарищу. Это была дразнилка, которая закрепилась за ним. Мужик раза три произнес ее в сторону удаляющегося Ньюмы, но тот не отреагировал и продолжил путь, занятый своим диалогом-разборкой.

Впрочем, народ мало ему досаждал. Его жалели и с пониманием относились к его болезни. Времена были уж очень тяжелые. Как-то на улице Ньюму остановил милиционер, потребовал, чтобы тот не нарушал порядок и прекратил горланить. Проходящие мимо мужчины и женщины вступились за Ньюму. Физиономии у них при этом были жалостливо-снисходительные. Ньюма, пока с ним говорил страж порядка, виновато молчал. Но после того как его милостиво отпустили, он, набрав свой обычный ход, снова начал «голосить».

В другой раз мы чуть не столкнулись лоб в лоб на улице. Когда мне показалось, что он и на сей раз проигнорировал мою особу, я вдруг услышал имя Малькольма Каули. Ньюма удалялся, читая вполне связную лекцию о Фолкнере. Неужели он все-таки заметил меня и дал об этом знать этаким образом?

С некоторых пор о жите-бытье моего старого приятеля я стал узнавать от одной нашей сотрудницы по редакции. Она подрабатывала в Еврейском благотворительном фонде. В одно утро она пришла в редакцию расстроенной.

— Опять на улице повстречала бедолагу, идет, кричит, — сказала она.

— Склифосовский, что ли? — уточнил один из коллег.

Бэлла (имя сотрудницы) назвала настоящую фамилию Ньюмы и добавила, что хорошо знала его мать Аду.

— Она серьезно болела, насколько я знаю, — вступил я в разговор.

Она умерла несколько лет назад. Ее похоронили на средства фонда, по еврейскому обычаю, в течение дня после кончины. Девушки из фонда работали у нее сиделками. Ада постоянно рассказывала им о сыне, жалела, что он никак не женится. Вспоминала, как еще в школе в него влюбилась одна девчонка и что он сильно стеснялся этого. Она несла всякую околесицу, и создавалось впечатление, что она не знала о болезни Ньюмы.

Он сам приходил в фонд, слушал лекции. Был прилежен и тих. Когда его спрашивали, почему он так ведет себя на улице, молчал и краснел. За ним замечалось, что, получив гуманитарную помощь, он тут же вскрывал пакет. Ненужные ему и его матери вещи он возвращал.

Кстати, Ньюма «заговорил» после смерти матери. Он лежал тогда в психиатрической клинике. Его быстро переодели и привезли домой. Тогда и стало ему совсем плохо.

— Его вернули в клинику, но без толку, — рассказывала Бэлла.

— Какое лечение сейчас. Вы что, не слышали, что нашу городскую лечебницу закрыли из-за отсутствия средств. Всех больных на улицу выпустили, — сказал с укоризной коллега.

Потом мы перешли на популярную тогда тему эмиграции. Стали перебирать родственников, просто знакомых, кто отбыл за кордон. Получилось, что много народу отбыло. Неожиданно Бэлла заулыбалась, вспомнила Ньюму, один из его «пунктиков»:

— Бедолаге не в Израиль, а в США хочется, именно в штат Миссисипи, на чем настаивает.

В последний раз я видел Ньюму в весьма тяжелой ситуации. Обычно я возвращался домой через вокзал, через железнодорожные пути. В это время на первый путь, к первой платформе, подавали московский поезд. В тот день я не спешил, шел и озираясь на отъезжающих. Среди них я увидел Ньюму. Вид был у него торжественный. Лицо излучало спокойствие. Его багаж состоял из двух старомодных чемоданов и нескольких деревянных ящиков. Было заметно, что Ньюма долго и тщательно паковал свои вещи и делал это сам — к ящикам приделал подшипники вместо колес. Он стоял чуть поодаль от других пассажиров. Те суетились в предвкушении того, что вот-вот подадут состав, о чем уже было объявлено по радио. Ньюму никто не провожал. Куда направлялся мой старый приятель? Вдруг закралось жуткое подозрение, что у бедняги нет даже билета на поезд и что его «отъезд» — часть бредового состояния. Я прибавил ходу, чтобы не стать свидетелем коллапса, на который обрекал себя больной. Ньюма не заметил меня. Возможно, что в тот «торжественный» момент контакт с ним мог бы состояться. Но мне было бы невыносимо слушать делириум, содержание которого я с большой вероятностью мог предвидеть.

На следующий день Бэлла рассказала, что наш общий знакомый «учудил». В секрете от всех он отправился на вокзал, а до этого подозрительно копошился, возился с ящиками. Словом, его попытка сесть в вагон стоила задержки отправления поезда. Ньюма устроил скандал, кричал во все горло. Проводник быстро смекнул, что имеет дело с больным человеком. Позвали милицию — Ньюму отвели в отделение.

— Куда он направлялся? — осведомился я.

— Уж точно не в Израиль, а то бы о его приготовлениях скорее бы узнали, — ответила коллега.

Ньюме стало хуже. Как тогда у нас выражались, он «завернулся в одеяло»: перестал вставать с постели. Умер от тяжелой депрессии. Его похоронили рядом с отцом и матерью.

Недавно из Америки вернулся Игорь. Он работал над докторской диссертацией по социологии. За партией шахмат Игорь рассказал мне, что заехал в штат Миссисипи

пи, посетил дом-музей Фолкнера. Даже землю с его могилы привез. Потом он заговорил о Ньюме, дескать, помнит энтузиаста творчества этого писателя, мог бы поделиться с ним буклетами и щепоткой земли.

«НЕМЕЦ-ПЕРЕЦ-КОЛБАСА»

Вильгельм — немец. Моя мама говорила, что у него характерный для представителей этой расы рот: безгубый, твердосомкнутый, короткий. Не из-за этого ли Вилли (так его звали в народе) никогда не улыбался?

Он разводил кроликов у себя во дворе и продавал их на базаре нашего городка. Его дочь Марта училась со мной. Она соответствовала бытующему в грузинской провинции стереотипу немецкой девочки: белокурая, молчаливая, высокая, худая, грубоватая. Правда, губы у нее были полные. Нам еще казалось, что ее любимым блюдом должна была быть вареная картошка. Я выразил сомнение по поводу этой детали. В виде аргумента мне пересказывали некоторые советские фильмы на военные темы. В них немецкие солдаты если что и ели, то картошку. В этом отношении Марта не отвечала нашим ожиданиям. Каждый раз на завтрак в аккуратно завернутом свертке она приносила крольчатину с хлебом. Многие из нас на завтрак могли позволить себе если не яйцо всмятку, то вареную картошку уж точно.

По-настоящему озадачила нас Марта, когда пришло время изучать немецкий язык. Учительница обратилась к Марте, мол, ей, наверное, легко будет, ведь этот язык для нее родной.

— Да, — согласилась девочка, — но дома мы говорим на швабском, потому что мы — швабы.

Далее последовала историческая справка. Марта изъяснялась косноязычно, но вот что я запомнил. Будто бы из-за неправильной трактовки некоторых мест Священного Писания швабы потянулись к вершине горы Арарат, дабы спастись от предрекаемого их религиозными лидерами Всемирного потопа. Произошло это в девятнадцатом веке. Русский царь не препятствовал массовому переселению германцев. Швабы до Арарата не дошли. По дороге их ряды поредели. Некоторые спасающиеся от потопа оседали на территориях, через которые шли. Убедившись, что катаклизма не будет, идти в гору передумала вся община. Она остановилась и осела колонией на юге Грузии. Некоторые семьи поселились в Имеретии.

Преподавательница только пожала плечами: для нее такая история была в новинку. Дети же посмеялись. Слова «шваб», «швабский» им показались почему-то смешными. В нюансах разобраться они не стали и по привычке продолжали считать одноклассницу немкой.

В городке я встречал одну тихую маленькую женщину. Она никак не привлекала к себе внимание. Случайно я узнал, что она — мать Марты. Она пришла на родительское собрание в школу. Такие неожиданности вполне объяснимы. Вилли с семьей жил за высоченным забором, отгородившись от всех. Никто не ведал, что происходило за этой стеной, кто там вообще жил. По ту сторону забора всегда стояла глухая тишина.

Темной ночью трое сорванцов перемахнули через забор — воровать фрукты. Летний воздух был неподвижным, фруктовые деревья стояли, как изваяния. В доме уже спали. Только из сарая доносилось мычание. Хозяин возился со своими кроликами и пел. Не исключено, что на швабском. Неожиданно темноту прорезали две очереда. Это кроликовод гонял ветры.

Даже кролики у Вилли были особенные. Однажды на базаре я почувствовал, что кто-то пристально смотрит мне в спину. Я оглянулся... На лотке восседал огромный коричневый жирный заяц, размером с малую свинью. Он смотрел прямо и как будто видел все насквозь и с усмешкой. Как хозяин. Я подивился тому, как спокойно вел себя заяц.

Вильгельм не выходил на улицу. Он не играл с соседскими мужчинами в нарды, домино, не разделял их пирушек и разговоров. Иногда только выглядывал из-за своего забора и неподвижным взглядом, твердо сомкнув губы, обозревал окрестности. Про него ходила дурная слава склочника. Например, ему не давало покоя айвовое дерево моего родственника. Оно тянулось к солнцу и в результате вторглось в пределы двора кролиководы. Тот сначала нещадно обрубал ветки айвы. Но они только еще больше разрастались. К моим родственникам зачастили представители исполкома и милиции. Причина — жалобы соседа.

— Ваше дерево лишило его покоя. Он решил лишить покоя и нас. Пишет постоянно, — брюзжал во время одного из вынужденных визитов милиционер.

Гостей угощали айвовым компотом, джемом, вареньем. Родственник гнал из этого фрукта водку, а из молодых листьев дерева готовил отвар — отменное отхаркивающее средство. Из сердцевины айвы получался густой сироп. Сварливый сосед был неумолим. Он отказывался от предложения пользоваться теми плодами, которые падали на его сторону, к нему во двор. Обо всем этом мои родственники узнавали от чиновников, которые пересказывали содержание кляуз Вилли. Этот субъект еле раскланивался с соседями, но скандалов не устраивал. Своего он добился. Дерево пришлось спилить.

У имеретинцев есть песня, в которой помянут некий Сепертеладзе. Народная мудрость призывает не быть похожим на него: ни тебе гостей позвать и угостить или самому заглянуть к соседу на огонек, ни тебе улыбнуться, ни повеселиться... Словом, о кролиководе песню сложили. Таких типов у нас называли «байкушами». Но Вильгельма к этой категории людей не приписывали. Говорили: что возьмешь с иностранца, не байкуш он, а «немец-перец-колбаса».

И вот в городок случайно заехал Шеварднадзе, тогда партийный шеф. Он принимал просителей в здании райкома. Очередь собралась длиннющая. Вилли тоже явился с папками. Шеварднадзе, просматривая список граждан, обратил на невероятную для этих мест фамилию. Его разбирало любопытство. Немец предложил ему построить в предместьях городка ферму по разведению кроликов. Из своей папки он достал чертежи, расчеты, фото из семейного альбома, на которых красовались его родня и кролики... Эффект неожиданности сработал.

Довольно скоро по ТВ показывали сюжет: труженики-кролиководы Имеретии выполняют и перевыполняют взятые на себя обязательства. Некоторое время камера фокусировалась на кислой mine отца моей одноклассницы. Его представили как директора фермы. На экране много разглагольствовало местное начальство.

Вилли исполнил свое обещание, данное главному партийному боссу страны. Кроликов в городке ели утром, днем и вечером в вареном, пареном, жареном виде под всеми мыслимыми соусами. Продуктовые магазины полнились тушками «зайцев». В гастрономический обиход вошел паштет из крольчатины. Местные пряности сделали его популярным. Я тоже к нему пристрастился.

О директоре фермы ходили легенды. У него прорезался голос. Фразы типа «Арбайт!», «Ахтунг!», «Шнелла, шнелла!» слышны были по всей округе. «Прямо как в фильмах о фашистах», — ляпнул мой знакомый.

Особенно яростно директор гонял несунов.

— Кроликов в городке больше, чем «кур нерезанных», зачем их красть? — вопрошал он моего отца, с которым еще как-то раскланивался.

Вильгельм дневал и ночевал на ферме.

Население со смешанными чувствами реагировало на происходящее. Моя мама, например, говорила о чистоте и порядке, которые завел Вилли на ферме. Опрятность вообще была возведена в высшую ценность.

В городке говорили о порядочности немца. Она даже стала темой бреда сумасшедшего правдоискателя Шалико Б. Несчастный тихо-мирно работал бухгалтером, пока в одно прекрасное утро не сорвался. Все внутренне соглашались с тем, что говорил бухгалтер, но он сильно перепугал население. Крупный мужчина, как бешеный бык, бегал по городу. В какой-то момент он остановился у фонтана на центральной улице, снял с себя сорочку, обнажившись по пояс. Шалико обливал водой свое раскрасневшееся тело и издавал грозное рычание. С другими зеваками я прятался за кустами и наблюдал за ним. Я услышал его фразу: «В этом городке нет честных людей. Исключение — немец Вилли. Остальные — воры». Тут на него набросились милиционеры. Они связали буяна.

Другие граждане по-доброму и снисходительно улыбались подвижничеству Вилли. Были такие, что улыбались, но не по-доброму, а насмешливо или просто насмехались. Для них Вилли по-прежнему был «немец-перец-колбаса». Я же взгрустнул. Мог ли он выдюжить долго?

Увы, не выдюжил. Не дождался даже возвращения Марты, которую послал учиться на зоотехника в Тбилиси.

Как-то в городке, в быту его граждан, появились аэрозоли для освежения воздуха. Раньше здесь с дурным воздухом боролись своеобразно. Жгли бумагу. А тут такой прогресс... Красивые баллончики, испускавшие приятный аромат, привезли из Германии, специально для фермы. Целую партию дезодорантов украл завхоз. Ими стали облагораживать отхожие места... Рассказывали, что после этого хищения Вилли окончательно поселился на ферме. Ночи он проводил в сторожке в бдениях.

Я, как и Марта, уехал учиться в Тбилиси. В один из наездов мне бросилось в глаза, что битых зайцев в магазинах не стало, а дома меня перестали потчевать крольчатиной.

— Где мой любимый паштет? — воскликнул я в сердцах.

— Ты что, не знаешь?! Умер Вилли?! — последовал ответ мамы.

— Жалко человека, таким чистюлей был, — добавила она в своем духе.

Он умер в сторожке. После его смерти зайцы на ферме начали вымирать, как во время эпидемии. Мне пересказали содержание протокола о списании целой партии зверушек. Пьяный шофер уронил с кузова грузовика бидон. Резкий звук вызвал разрыв сердца у целого загона кроликов. Пострадали преимущественно импортные особи.

Мои знакомые не разделяли мои сантименты относительно кроличьего паштета.

— Дался он тебе. Что может быть лучше, когда на пикнике нарежешь барашка и готовишь шашлык. Ешь его и запиваешь вином, — заметили мне.

Да, шашлык из кроликов — смешно!

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА

Склонность к насилию сделала Гиго политически активным. Будучи бездельником, он слонялся по улице и всюду, где появлялась возможность, принимал участие в политических дискуссиях. Его предпочтения колебались, но постоянным был пыл. Однажды, пристроившись к очереди в магазине, Гиго в запале полемике вытеснил стоящих в ней людей и таким образом оказался вблизи прилавка. Продавец спросил его, будет ли он делать покупку. У Гиго денег не оказалось. Продавец театрально выразил недоумение: зачем было стоять в такой долгой и шумной очереди с пустыми карманами? Под смехи публики Гиго ретировался.

Его любимым занятием было ходить на митинги. Он возникал там, где дело шло к потасовкам. Во время известного массового разгона демонстрации Гиго почувствовал себя в своей стихии — размахивал кулачищами, всласть матерился. Но столкнувшись со спецназовцем, который был выше и крупнее его, да еще экипированным, он сделал вид, что прогуливался и случайно попал в передрагу. Но хитрость не прошла — через некоторое время из полиции пришла повестка. Надо было заплатить административный штраф за участие в уличных беспорядках. В качестве доказательства ему представили фото. Он сначала не узнал себя в устрашающего вида агрессивном мужлане, но убедившись, что это все-таки он, не без некоторого форсу заплатил штраф.

Гиго регулярно слушал политические новости по ТВ. Однажды на него сильное впечатление произвело патетическое выступление ультрапатриотически настроенного деятеля: дескать, исконно грузинскую породу собаки, кавказскую овчарку, хочет присвоить себе северный сосед. Не уточнялось, как это могло произойти. Нашлась группа энтузиастов-монахов, которые в одном из сел построили вольер для овчарок, чтобы спасти породу. Через некоторое время просочилась информация, что щенков овчарки стали раздавать населению. Поддавшись патриотическому порыву, Гиго приобрел себе щенка. Ему дали сучку. В самце отказали, мол, «рылом не вышел, блат нужен». Самцов передали более продвинутым политическим активистам.

Мы, городские, мало понимали в этой породе. Действительно, многие из нас знали ее только по фото и рассказам, но заведомо гордились ею (одно из названий чего стоило — волкодав). Это было благоговение, равное почитанию, с каким вспоминают героического предка в интеллигентных семьях, где мужчины не отличаются крутыми характерами. Мой отец, профессор математики, любил рассказывать о своем деде, который был сорвиголова, «служил у Махно». После мировой войны он прибудился к атаману, позже перебрался на родину. Он жил в деревне, где у него была, конечно же, кавказская овчарка по кличке Чмо. Кличка шла от «темного прошлого» старика. В те времена это слово в Грузии мало кто знал. Но стоило ли так уничижительно называть волкодава? Чмо спас моего прадеда, когда того на охоте схватил медведь. Косолапый ломал старика, когда на него набросился пес. Особенно подкупали разговоры о достоинстве, с каким держалась овчарка. Ей, например, противно было есть с жадностью, клянчить еду. Чмо, каким бы голодным он ни был, сдержанно прикладывался к пище, изображая даже наигранное к ней пренебрежение...

Я лично первый раз столкнулся с этой породой в детстве, когда с семьей и гостями съездил на дальний пикник в горы. Дорогу запрудило стадо овец. Я испугался, когда увидел заглядывавшего через стекло в салон пса, его оскал, пену бешенства, горящие глаза... Сидящий рядом со мной мальчик, мой товарищ, описался от страха.

Сантименты Гиго в отношении к волкодаву не выделялись затейливостью. Особой любовью к собакам он не отличался. Иногда забавлялся тем, что наблюдал их

драки, не упускал случая натравить одну псину на другую. Охранять его собственность не было нужды. Богатым он не был.

Появление Гиго с собакой на улице напоминало парад, демонстрацию силы. Этого субъекта и так остерегались. Теперь у него появился еще один аргумент — крупный, серой масти, лохматый пес. Хозяин дал ему кличку Энди.

Больше всего в волкодаве хозяину нравилась злобность. Когда Энди баловалась на улице с другими собаками, присутствовавшие умилялись ее медвежьей неповоротливости, забавной физиономии. Гиго же пришел в восторг, когда увидел, как Энди попыталась схватить товарища по играм за горло. Он со смаком рассказывал, как обошлась его овчарка с местным псом-забиякой. В какой-то момент показалось, что она проглатывает несчастного, которого за задние лапы вытащили из ее пасти. Гиго любил демонстрировать обрезанные уши Энди. Как ему рассказали монахи, во время драк с хищниками овчарки отвлекаются: они боятся за свои уши — их уязвимое место. Поэтому уши отрезают.

Отрывистый, низкий лай волкодава наводил страх. Из-за его рыка прекращали брехать другие собаки по всей округе.

Стихией «кавказца» является галоп. На нашей улице, в тбилисской «Нахаловке», ему было не разогнаться. Поэтому Энди бегала неуклюже, вразвалку. При этом огромные лапы она ставила как человек, страдающий от плоскостопия. Гиго снисходительно взирал на такой дефект.

В Гиго даже появились элементы чванства. Ему нравилось, как заискивающе поглядывают люди на его «кавказца», рост которого достигал шестьдесят сантиметров в холке. От Энди пахло дорогим мылом. Я сострил по этому поводу: «Гиго не спасает, а выводит породу» — и, посмотрев на горизонт, который у нас очерчен горами, картинно добавил: «Интересно, как там родичи Энди обходятся без французских шампуней?» Как-то в присутствии Гиго я рассказал, как американцы для войны во Вьетнаме подбирали служебных собак. Ими было проведено исследование. Выяснилось, что наиболее близкой к идеалу из огромного числа пород является немецкая овчарка. Получилось, будто я позволил себе бестактность: сделал сравнение не в пользу кавказского волкодава вообще и Энди в частности. Обычно, почувствовав себя уязвленным, Гиго начинал хамить, а тут он просто покраснел и сказал мне «мягко», что я, как всегда, выпендриваюсь, хочу казаться умником.

Однажды по какой-то надобности я зашел во двор Гиго. Наверное, поступил неосмотрительно, когда, нажав на кнопку звонка, не дождался появления хозяев. Звонки у них не работал уже год, а я об этом не знал. На меня набросилась Энди. Я прижался к стене, как будто изображал из себя барельеф. Овчарка делала устрашающие выпады, вот-вот обрушится на меня, но потом отступала, чтобы повторить свое па. Я чувствовал ее жаркое дыхание. На меня нахлынуло ощущение, похожее на то, что я испытал в детстве, когда в салон нашего авто заглянул волкодав. Рык оглушал, оскал пугал звериной яростью. Я собрался с силами, чтобы не впасть в панику, думал, что в крайнем случае постараюсь схватить псину за язык, что делает агрессивное животное беззащитным. Об этом варианте защиты мне рассказывал отец. Так поступил его дед, «бывший махновец», когда на него напал волк. Я подивился сноровке своего предка — поймать волкодава за алый язык представлялось совершенно невозможным.

Ленивый окрик сына Гиго прекратил мое испытание на твердость. Энди отвернулась и направилась восвояси — в конуру. Зайдя в дом соседа, я застал там все семейство. Гиго даже не спросил, как я себя чувствовал после довольно долгого «общения» с Энди.

Я стал замечать, как в городе появилось много кавказских овчарок. Они отличались разной степенью ухоженности и дрессировки, но во всех случаях от хозяев веяло гордостью за своего огромного и грозного питомца. Однако так же приметным стало и то, как в обратной пропорции Гиго терял интерес к Энди.

Как-то к нам на улицу заглянул один парень со своим «кавказцем», самцом. Энди и гость миролюбиво отреагировали друг на друга. Они приветливо помахивали хвостами, обнюхивали друг друга. Самец был помладше собаки Гиго, но ростом и массой уже превосходил ее. Умом тоже. Он, например, подавал лапу, садился по приказу хозяина. Энди все это было неведомо. После того как ей приказали принести брошенный мячик, она долго не возвращалась — пыталась перекусить неподатливый маленький резиновый шарик. Выпустив из него воздух, собака решила, что именно это от нее требовали. Гиго был недоволен не тем, что в ключья был изодран чужой мяч, а тем, что его питомец повел себя «неадекватно». Совсем он раздосадовался после того, как его жена сделала ему справедливое замечание: животное надо учить, а затем уже требовать от него хороших манер. Упрек был произнесен в присутствии большого скопления народа и хозяина того самца. Гиго распорядился, чтобы сын завел Энди во двор. Овчарка не могла понять, почему с ней поступают строго, и некоторое время упиралась.

Когда гость ушел, уводя на поводке своего «кавказца», один из соседей решил исправить положение. Он показал пальцем в сторону удаляющейся пары и едко заметил, что некоторые люди совсем «очумели» из-за своих «любимцев».

— Этот детина обычно при себе детскую лопаточку имеет, когда пса выгуливает. Он носит ее в целлофановом пакетике. Нагадит его псина, а он за ней убирает, кашки закапывает, — разглагольствовал он, хихикая.

Но Гиго только еще пуще насупился. Ему неловко и не вовремя напомнили о том, почему он сам так не поступает. Своими большими кучами Энди пометила всю близлежащую территорию. От этого у Гиго было много неприятностей. Один из соседей, известный своим склочным нравом, даже пожаловался на него в районную администрацию.

По весне Гиго совсем охладел к своей псине. У Энди началась течка. Кобельки-дворняжки стаями увивались за огромной сучкой. Соседи Гиго, кто с отвращением, кто с ехидцей, наблюдали невероятные трудности, коих стоили совокупления огромной сучке, окруженной малорослыми безродными кавалерами. Отбою от них не было, и каждый норовил оседлать овчарку, а она не проявляла разборчивость. Уж очень одиозно все это выглядело, чтобы не привлечь к себе внимания. Нашелся остряк, который попытался «в лицах» изображать пластические этюды в исполнении Энди. Гиго в это время играл в домино. Ему хватило ума не принимать кривляния всерьез, но общий смех он не разделил.

Скоро для волкодава наступили тяжелые деньки. Политическая оппозиция загроздила главный проспект города бутафорскими клетками. Она призвала своих сторонников в знак протеста против произвола властей поселиться в них и объявить себя добровольными арестантами. Погода стояла хорошая. «Узники» прохлаждались в клетках, играли в карты, нарды, шахматы. Пищу им приносили студенты-активисты. Гиго быстро влился в ряды добровольных «узников» и сутками пропадал в городе. Овчарку перестали толком кормить. Жена Гиго, и так не жаловавшая кинологические увлечения мужа, не особенно заботилась о собаке. Сыновья сначала забавлялись прогулками с Энди, но довольно скоро остыли к ним. О купаниях пса никто даже не заикался. Однажды Гиго в компании, с которой разделял пространство в бутафорской клетке, проиграл в нарды. Крупно и по-настоящему. Домой он пришел злой. Энди, увидев хозяина, от радости запрыгнула на него, положила лапы

ему на плечи и лизнула в небритую физиономию. Она чуть не сбила хозяина с ног. Из-за чего ей досталось. Гиго подхватил первое же попавшееся полено... Ее вой напомнил крик ужаса харизматических героинь опер Вагнера.

Овчарка забеременела. На некоторое время она смолкла, забила в конуру в дальнем углу двора. То, что она сотворила, стало предметом обсуждения на улице. На нее стали смотреть с суеверным ужасом. Она необычно и подозрительно долго находилась в конуре и не издавала ни звука. Некоторое время из того места было слышно, как скулили новорожденные щенки, но потом и они стихли. Заинтригованный Гиго сунулся в дальний угол двора — прояснить ситуацию. Оттуда он выскочил как ошпаренный. Заскочил в туалет, его тошнило. Домочадцы высыпали во двор, озадаченные его поведением.

— Не заходите туда, — нервно бросил жене Гиго. Он взял лопату и мешок.

Слышно было, как он материл овчарку, выгонял ее из конуры. Вскоре с перекошенной от отвращения физиономией, с мешком в правой руке, ни на кого не глядя, пробежал Гиго. В мешке были обглоданные останки потомства овчарки. Вот появилась она сама: облезлая, ленивая, исхудалая, безразличная.

Энди перестали привязывать, и она постоянно торчала на улице. Ее ослабшая шея с трудом держала массивную голову. Поэтому всегда казалось, что Энди смотрит исподлобья. В ее взгляде появилась сумасшедшинка, она легкомысленно виляла тяжелым хвостом. Овчарка еще сильнее облезла, обнаружив розоватую плоть и худобу. Сосцы отвисли и выглядели удручающе. Она приставала к прохожим на улице с улыбкой какого-нибудь дураковатого попрошайки-пьяницы. Прохожие шарахались от нее, а она упрямо, но не агрессивно приставала к ним, иногда сипло лая. В таких случаях хозяин или домочадцы кричали напуганным прохожим, что овчарка не кусается.

— Куда ей кусаться! Жуть смотреть на такого монстра! — ответила однажды одна проходившая по нашей улице женщина.

Раздавался свист Гиго или одного из сыновей — овчарка, с усилием разворачиваясь, бежала вразвалочку к хозяевам.

Энди повадилась есть мусор и даже дерьмо.

Однажды к ее заднему проходу прилип целлофановый мешок. Создалось впечатление, что это было плацентоподобное испражнение, от которого овчарка пыталась избавиться. Она, задрвав тяжелый хвост, терлась задом о дерево. Один мужик смотрел на все это с отвращением, а когда убедился, что собака не может избавиться от целлофанового мешка, даже несколько посмеялся — не таким, оказывается, физиологическим было зрелище.

В то воскресное утро меня разбудила брань Гиго. Он материл неведомого пакостника, который накормил овчарку индюшачьими костями. Как примерный хозяин, он стал проявлять осведомленность в вопросе ухода за собакой. Из его тирады я узнал, что эти кости острые и могут продырявить кишки. Я выглянул в окно и увидел пса, лежащего у ворот. Изо рта и ануса шла кровь. Он хрипел. Собрался народ. Пока обсуждали и спорили, Энди замолкла. Присутствовавшие присмотрелись к ней и констатировали смерть («Сдохла!»). Подогнали машину, овчарку загрузили в багажник, накрыли ее тряпьем. Гиго и двое добровольцев вызвались поехать закопать ее на пустыре.

Чуть позже один из добровольцев рассказывал, что, когда опускали завернутую в тряпье овчарку в яму, ему показалось, что она подала признаки жизни.

— Я промолчал. Так и похоронили. Скажи, что она сдохла еще здесь, — он посмотрел на меня несколько просительно.

Что я мог ему сказать?

Андрей ГРУНТОВСКИЙ

МЕДНОЕ КОЛЬЦО

Был сорок первый горький год,
Отецкое крыльцо...
Когда уже сошел народ,
Он протянул кольцо...
В простое медное кольцо
Перековал деньгу:
— Ты жди меня, — взглянул в лицо...
— Не ждать я не могу...
И вот прошло уж сорок лет...
— Ты ждешь его, бабуль?
Ведь и могилки даже нет...
— Теперь ужо дождусь.

* * *

Снова выйдешь утром рано...
Спит туманная река.
И глядят седые храмы
Через воды — в облака.
Будет новая Россия,
Вся подыметя с азов,
Потечет под небом синим
Журавлиный вечный зов.
И под тот осенний клекот,
И под ту степную грусть
Мы уйдем, но издалёка
Заглядимся в нашу Русь.
Из безумной черной глуби
И с сияющих небес...
Мы и ту ее полюбим,
Мы и Там не сможем без...

Андрей Вадимович Грунтовский родился в 1962 году в Ленинграде. Пишет стихи и прозу, работы в области литературоведения, этнографии, искусствоведения. Автор поэтических книг: «Стихотворения» (1994), «Лирика. Драма» (1997), «Донюшкины сказки» (1999), «Моя родословная» (2004), «Ландышевая страна» (2007). «Вострубили трубушки...» (2008), а также ряда книг прозы. Неоднократно публиковался в московских и петербургских журналах. Работает в Александро-Невской лавре художественным руководителем «Святодуховского» центра, где создал православный театр, ведет литературные вечера, концерты и постоянный семинар для поэтов. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Нам светит солнышко осеннее,
И причитают журавли,
И наше счастье-спасение
В такой дали, в такой дали.
И на поля на наши грустные
Такую хмарь наволокло...
А что, уж разве мы не русские,
Как там хотелось бы давно!
А что уж разве мы без совести,
Без глаз уже и без сердец
И у сия печальной повести —
Навек назначенный конец?
И нам судьбу переиначивать
Уж не достанет боле сил?
Мы долю выбрали собачую...
Собачью, Господи, спаси!
Живем, покуда не покаялись,
И ждем спасения извне,
Организуя апокалипсис
В отдельно проданной стране...

* * *

Из России мы уйдем... в Россию —
Вечность это будет или нет...
Словно на листке Твоем росинку
Я увижу всю ее на свет.
В этой сфере мизерной, хрустальной
Отразится тысяча веков —
Поле, что засеяно крестами,
Звон синиц и говор родников...
И куда бы нас ни заносило,
Отовсюду Родина видна...
Из России мы уйдем в Россию —
У Христа за пазухой она.

* * *

Эти — души попалили,
Покололи и пожгли,
Совратили, соблудили —
Смысла в жизни не нашли.
Им дорога в крематорий
В сорок, в тридцать, в двадцать лет...
Путь протоптан, путь проторен,
И назад дорожки нет.
Там барьерчик так построен,
Что уж лба не целовать...

Ну, а этих — путь устроен:
Не желают помирать!
Будут жить легко и долго,
Тело холить и беречь.
Без любви, без слез, без долга,
Без разлуки и без встреч...
Что им Родина? — Ошибка...
Что им Бог? — А Бога нет!
Можно, если хочешь шибко...
А Ответ? — Какой ответ!..

Вымрет Русь. Переродится,
И опять придет Орда...
— Видишь, пыль вдали клубится —
Занимают города...

* * *

Дом порушен, и под куполом
Не укрыть от бед народ...
Что содеяли мы, глупые!
Чем латать небесный свод!
Нету, нету покаяния,
Не отмыть пилатам кровь...
— Умалите, окаянные,
Не снимать святой Покров:
На полях ничто не родится,
Бесы в сумерках парят...
— Ах, куда ты, Богородица?
— А куда глаза глядят...
Ни во что уже не верится,
Что там, что там впереди?
— Пресвятая Погорелица!
Насовсем не уходи!

* * *

Н. М. Рубцов написал четыре книги...

Я написал двенадцать книг —
Меня никто не услышал.
Я не на первой, братцы, сник —
Я пережил девятый вал.
Я пересек безумный век
С надеждой детскою, простой...
Но я всего лишь человек —
Я не могу под спуд и в стол...
Но я — всего лишь человек,
Я положил полжизни в стол,

А над Россией новый век
Крыла совиные простер.
«Россия, Русь, храни...» — а вдруг —
Уж не хранить, а хоронить?..
И ни словес, ни дел вокруг,
Чтобы Ее огородить...

* * *

Малая пеночка-птичка
Села на пень... и молчит.
Где-то вдали электричка
Смолкла... Кузнечик стучит.
Тихо над лесом и полем,
Тихо звенят небеса...
Я этой музыкой болен —
Слушаю Их голоса.
Сам я — дай срок — и завяну —
Скосит Старая косой,
Словно цветок на поляне,
Белый цветок полевой.
Ну а пока что трепещет
Поле травой-муравой,
Плотью древесною плещет,
Мнетя под чьей-то стопой...
Гнется и тянется к свету,
Вянет и снова цветет...
Слушает музыку эту,
С хором небесным поет.

* * *

Осталось две недели
До первых холодов.
Все птицы улетели,
И мой роман готов.
Я жил, как в одиночке,
Не зная слова «ты»...
Я все расставил точки
И все сложил листы.
А дождь стучит по крыше,
Как двадцать лет назад...
Со мною только мыши
О чем-то шебаршат...
И те — уснули. Поздно...
Мечты мои тихи...
Осталась только проза
И поздние стихи...

Ярослав КОСТЮК

ГОЛБЕЦ*

Под одним из подстреленных фонарей, у входа в редакцию, сидела молодайка из рыбацкого поселка и глядела в палисадник. Молодайка носила пышное имя Эльза, столь же пышное и гордое, как и ее бюст, но была тупа как пробка. Она никогда не читала Ги де Мопассана и даже не знала, что такой существует. Однако она возбуждала Бабеля своими формами, возбуждала бесстыжими и наглыми веснушками — тысячью рыжих звезд на руках и плечах. Возбуждал даже ее ситцевый подол. Глядя на него, Бабель с досадой думал о том, что между ним и нею глухая стена, соприкосновение их миров невозможно и даже грубая коечная страсть ни к чему не приведет. Он еще раз посмотрел на толстые и будто обваренные колени женщины и со вздохом отвернулся. Перед ним был круп запряженной в телегу лошади, а чуть дальше сверкала мутно-зеленым солнцем лужа. В левом глазу разыгрался конъюнктивит — из-за него Бабель часто моргал, и оттого ему казалось, что поверх реальности накладывается дрожащая пленочка.

Сидевший рядом Кондаков прислушивался к шуму наверху.

— Вот же человек! — сказал он наконец. — Пустого не сбросит!

— Кто? — спросил Бабель. — Чего не сбросит?

Он совсем забыл про своего соседа — на какую-то минуту оперуполномоченный, простодушный малый с одутловатым лицом и соломенными волосами, выпал из его реальности.

А наверху снова уронили сейф и снова ругались...

Ярослав Николаевич Костюк родился в 1980 году в г. Днепропетровске. Печатался в региональных изданиях Украины. Лауреат VIII Международного поэтического фестиваля «Летающая крыша». Живет в г. Смела (Украина).

* Голбец — в деревянных избах — конструкция при печи для всхода на печь и полаты и спуска в подклет. Может быть оформлена в виде загородки или чуланчика с дверцами, лазом и ступеньками. Иногда чулан называется верхним, а подполье — нижним голбцом. Располагается у входа на жилой этаж (житье) или за перегородкой в стряпной (на кухне), при этом находится напротив красного угла. Считается имеющим, помимо утилитарного, сакральный смысл — связь мира живых с миром предков. В. И. Даль приводит поверье: входя в избу к невесте, берутся рукой за голбец. В народных суевериях — место обитания домового. Также надгробный памятник в форме избушки. В этом значении — также «голубец». Были запрещены, но встречаются на старообрядческих захоронениях. На Русском Севере — надгробный памятник типа креста или крест со схематической кровлей. Символически — дом умершего человека. Согласно словарю Фасмера, слово происходит от древнескандинавского *golf*, означающего «пол, отделение».

— Компанийцев, — отозвался Кондаков, — слышали, как он только что трехэтажно выразился?

— Нет.

— А напрасно — многое потеряли! — Он быстрым движением бросил в рот семечки, пожевал и сплюнул жмых, пригладил жесткие патлы. — А если лед к вашему глазу приложить, а?

— Нет-нет, не нужно, — потирая веко, Бабель надавил на глаз, и печная труба над крышей раздвоилась, ее резвый двойник скакнул в небо.

— Сколько туда ехать? В Балаклаву?!

— Глаз и зуб, — задумчиво протянул Кондаков, — хуже не придумаешь. Даже в Библии что-то такое упоминается, а?

— Глаз хуже, чем зуб, — посетовал Бабель. — Глазом мы действительность щупаем, а зубом — еду, которая к тому же — тлен.

— Философствуете, — резюмировал Кондаков. — Это муза в вас страдает! А до Балаклавы — мы к вечеру управимся!

Бабель повертел головой:

— Муза... Мельпомена... А-а-а! Все оно на разживу, как дрова в печь!

— А вам, собственно, что прописали?

— Раствор борной кислоты, — конфузливо признался Бабель и достал платок, чтобы вытереть слезящийся глаз. — Щиплет!

В парадном дружно затопали, заскрежетали перила, и сейф вывалился из дома на молодую траву. Рабочие разбрелись на перекур.

— Главное, дорогу перетерпеть! — убеждал Кондаков. — Лишь бы ветра не было!

— Да уж!

— Слышал я про одного престижиатора! У него фокус имелся с роялем, струны, значит, рвутся, а он играет... Так вот — ре-диез — ему аккурат в глаз угодил!

— Что за мерзость!

— Да представляете, встает, а у него — струна торчит! — продолжал Кондаков. — Да вы не сердчайте!

Бабель покачал головой.

— Лучше такого не слышать.

Компанийцев вышел из подъезда, прищурился на солнце и закурил. Бабель спрыгнул с телеги, но Кондаков его остановил:

— Да погодите, еще сейф катить будут!

Бабель вернулся в телегу.

— А борную вам правильно прописали — к врачу, конечно, не всякий раз пойдешь, но если уж прихватило...

— Бежим! — сказал Бабель. — Куда бежим?! В Балаклаву!

— А чем вам не угодил Балаклава? — удивился Кондаков.

— Лучше бы в Гнецель, — признался Бабель, — у меня там дядя, крепкий, веселый старик! — Он окинул взором пыльную улицу. — Веселья не хватает!

— Ничего, обустроимся!

— Нет-нет, — вздохнул Бабель, — не то вы говорите! Совсем не то!

— А что вас удерживает?

Бабель посмотрел куда-то вдаль, в небо над палисадником, подумал и решил ответить.

— Вчера вечером я думал о голубях, — сообщил он, — это была прекрасная предзакатная пора, и я думал о голубях и о том, что такое вообще птица?! У них есть свобода, для них небо — родной дом, где находишь счастливое упоение в каждом взмахе крыла, но даже у птиц имеется своя привязанность к земле!

— Это вы верно сейчас заметили!
— Послушайте, — рассердился Бабель, — чего вы пристали?!
— Я?!
Бабель снял пенсне и сердито его протер:
— Давайте помолчим!
Компанийцев с двумя рабкорами подкатил сейф к телеге.
— А ну — в сторонку! И вы, Кондаков, посторонитесь!
Компанийцев похлопал по стальному дну шкафа.
— Где такой еще возьмешь, а? Это же чудо из чудес! Ежели чего немцы умеют делать, так это сейфы!
— И маузеры! — поддакнул Кондаков.
Главред на секунду задумался, приметил маузер у молодого оперуполномоченного в кобуре и снисходительно согласился:
— И маузеры!
Тут лошадь потянула телегу вперед.
— Тпру! — осадил ее Компанийцев.
Лошадь покосилась на него и обиженно фыркнула.
— Едем! — воскликнул главред.
— Едем! — эхом отозвался Кондаков.
Погрузили сейф в телегу и двинулись в путь, Бабель не выдержал и оглянулся, точно эмигрант с корабля на берег родины, — куст сирени уменьшался в размерах, превращаясь в неразличимую точку, будто судьба имела свою грамматику, и точка была одним из самых понятных ее знаков. Эльза встала и вышла на дорогу — босые ступни утонули в пыли, грубые руки прижали к груди куклу. Глупая баба. И кукла у нее дурацкая. Все ходит с ней. Страшно в городе, стреляют. А она ходит! Редакцию с места сняли, как пылинку, сдули — пылинка, правда, тяжелая оказалась — размером с приличный сейф, в него и запихнули самые важные документы. А кукла странная: из сухих водорослей скручена, и голыши вместо глаз — антрацитовые, злые, колючие. Куст совсем пропал из виду. Выехали на тракт, где небо сливалось с желтым лиманом, архипелагом ушли в сторону зеленые острова дач; город затанцевал в белесом мареве, каланча задрожала, а затем стала истаявать, как свеча. Бабель закрыл глаза и потряс головой — не надо этого видеть... Он прилег, накрыл лицо соломенной шляпой и отдался на волю ритма, с которым покачивалась телега, — его разморило. и он уснул и снова очутился в той комнате, в минуту бегства: револьвер, пузырек с духами, шкатулка, бусы по всему полу... а Ирина — лежит, не позаботившись даже прикрыться, — обвислая грудь, коричневый сосок с укором указывает на Бабеля, а затем — вдруг вспомнился тонущий в мареве город, и Бабель разом проснулся.
— Вот мы и встали в полный рост! — непонятно произнес главред.
Телега все так же размеренно скрипела. Они еще ехали.
— А коли уж так, — кипятился Кондаков, — то полагаете, в России судьбы всего мира решаются?
— Это не нам судить, — строго сказал главред. — Это история рассудит. — Повеяло табачным дымом. — А много там у нас тараньки?
— Шесть штук отборных, — с готовностью отозвался Кондаков, — одна другой краше!
— Пить захочется! — буркнул Компанийцев. — Не надо пока!
В шляпу к Бабелю угодил муравей и забегал по соломенным квадратикам, полыхающий солнцем, огненно-прозрачный. Веко зудело, и дергалось и Бабель закрыл глаза, запечатывая двери во внешний мир...

— Вот доберемся — щербетом покажется! — сказал Кондаков и засмеялся своей шутке, а веко у Бабеля задергалось пуще прежнего.

Солнце нагрело лоб и грудь, ритм тряски захватил и увел обратно в сон — муравей был на ладони, а рядом, на скалах, бушевало море, а надо было защитить «одиссея» от бешеных брызг...

Когда Бабель проснулся — вокруг была седая ночь, какая только и бывает в самом сердце Украины, с запахом ковыля и безбрежным горизонтом. Глаз вел себя спокойно, и Бабель сел в колючем сене и сладостно потянулся. Возле телеги был разложен костер, в котелке варилась уха. Редактор и бухгалтер не грелись у огня, а почему-то отошли в сторону и перешептывались.

Потом в глухой ночи вырисовалась еще одна фигура, Бабель спрыгнул на землю — фигура во тьме была столь призрачной, что невольно становилось не по себе. Ноги отказывались нести. Компанийцев судорожно прошептал:

— Не уходит!

Ежась от холода, Бабель подошел к товарищам. Пляшущий свет костра расшатывал их тень. Бабель увидел стоящую в отдалении Эльзу и вскрикнул; мигом пронеслись в голове все те километры, которые он сладко проспал: и все их она прошла, босая, простоволосая, по горячей земле и раскрошенному известняку...

— Что она здесь делает? — спросил Бабель.

— Шла за нами, — сказал Кондаков. — Просили вернуться в город — так нет же!

— А вот теперь к костру зовем, — пояснил Компанийцев.

На лице у Эльзы сохранялось все то же глуповатое выражение. Она слегка покачивалась, прижимая к груди нелепую куклу.

— Иди! — крикнул Компанийцев.

Он поманил миской.

— А? Вкусно же!

Эльза помотала головой и отступила. Компанийцев крякнул:

— Вернемся к костру, голод не тетка! Сама явится!

— Да как же? — спросил Бабель. — Оставить ее там?

— Ну, не насильничать же?!

Они расселись вокруг костра. Море, подумал Бабель, принимая миску с ухой, — вокруг море — когда не видишь, то кажется, что волны набегают на остров — ветер, мгла...

Еда захватила его, разваристая, сочная рыба опекала губы, прозрачная луковка плавала медузой, и, только доев, Бабель вспомнил:

— А Балаклава?

— Не доехали, — сказал Компанийцев, — и, кажется, заблудились!

Он достал губную гармонику, любовно протер рукавом. Костер оживлял его лицо, делал подвижным и выразительным. Горели глаза. Желтые, как у рыси.

«Скажите, девушки, подружке вашей, — тихо вывела гармоника, — что я не сплю ночей, о ней мечтаю...»

Мелодия поплыла над степью, поднимаясь все выше и выше, к самим звездам — должно быть, таким волшебным голосом сирены зачаровывали моряков.

«Хочу тебе всю жизнь отдать. Тобой одной дышать...»

Гармоника смолкла. Главред довольно хмыкнул и мотнул головой — можно сказать, он захмелел от счастья.

— Спать, — сказал он, — спать, спать!

Забрались в телегу. Уже засыпая, Бабель слышал, как Кондаков бродит вокруг, доносился его приглушенный говор — должно быть, чекист убеждал Эльзу образумиться.

«Хочу тебе всю жизнь отдать. Тобой одной...»

Проснулся Бабель от звонкого шелканья кастаньет, сбросил с лица соломенную шляпу и увидел над собой красно-белый на растяжках транспарант: «Свободная торговля хлебом». Впереди и сзади была одноэтажная улица захолустного городка, показавшаяся Бабелю странно знакомой и как бы парящей на воздушной подушке из цветущих абрикосов. Его попутчиков поблизости не оказалось, но зато мимо шествовали хасиды, и это их деревянные клоги, подбитые гвоздями, выстукивали по брусчатке. Он услышал музыку и уловил в ней еврейские мотивы: скрипка рыдала и смеялась, горе и радость сплетались в единую мелодию. Хасиды повернули во двор, к белой мазанке, которую Бабель тоже узнал...

Это был город Гнецель. И это был двор дяди Якова.

И надо было понять, что к чему.

Бабель поспешил за хасидами, вошел во двор и занял место за одним из свадебных столов.

Напомнил о себе глаз. Бабель достал из нагрудного кармана пузырек с лекарством, но оказалось, что тот пуст. Вся жидкость вытекла через крохотную дырочку в пробке.

Во главе стола появились жених и невеста. Скрипачи подхватили смычки и ударили по струнам. Посреди подворья закужилась танцовщица. Она сжигала себя на костре страсти.

— Менора! — воскликнул какой-то старик. — Воистину Менора!

Бабель налил себе стопку самогона и залпом выпил. В голове зашумело. Ему вдруг показалось, что он все еще едет в телеге — воздух и свет обтекают его тело...

— Возьмите шинку! — подсказал хасид. — Цимес мит компот!

В глазу снова защипало. Проклятый хасид навис над столом и, перекрикивая музыку, принялся толковать про каббалу. Это было невыносимо.

— Что вы от меня хотите? — выпалил Бабель. — Чего вам надо?!

Старик запнулся.

— Это вы что от меня хотите? Вы же сюда подсели!

— Я ищу дядю Якова, — угрюмо пояснил Бабель. — Я его племянник!

Старик радостно закивал и засмеялся.

— Его здесь нет, — сообщил он, — идите в синагогу!

— А он точно там?

Старик развел руками.

— А разве мы находим только то, что нам необходимо?!

— К черту! — пробормотал Бабель, вставая. — Пойду!

Он выбрался из-за стола и пошел через сад — сквозь череду благоухающих, жужжащих пчелами белоснежных арок. Деревья вокруг тоже плясали — хоровод мавок с нежно-зелеными станами, они хотели увести его за собой...

Он вышел на улицу, залитую солнцем. От этой нестерпимой белизны выступили слезы. Бабелю уже казалось, что его левый глаз покрылся роговым наростом...

В звуках гремящей свадьбы на секунду почудилось:

— Скажите, девушки, подружке вашей...

Он быстро нашел дорогу к синагоге — острый, стрельчатый вход был увенчан краеугольным камнем. Из темной прохлады вышли два юноши-еврея. Один из них держал руки в карманах кафтана. А другой прижимал к груди Тору:

— Если не принимать пищу, то умрешь, но и принимая, наслаждаясь, мы тоже умираем, ибо всякое удовольствие есть стремление к творцу, а умирая, мы именно к нему возвращаемся...

Увидев Бабеля, юноши остановились. Второй достал из кармана грушу, грустно оглядел ее, покосился на товарища и убрал в карман.

— Вы к раввину Якову? — спросил тот, который с Торой. — По делу?

— Да.

— Он занят.

— Я его племянник.

— Он для всех занят.

— И для меня?

Юношеские пейсы гневно качнулись.

— Ищите наверху!

Бабель прошел в сумрачный предел и поднялся по винтовой лестнице. В комнате наверху пахло топленным сургучом, и мраморный купидон в углу был окутан красной взвесью дыма, подле книжного шкафа цветком полыхала менора.

Дядя Яков сидел за столом и составлял письмо — скрипело перо, слова выпадали из курчавой бороды и ложились на бумагу.

— Проходи, садись, — сказал дядя Яков. — Налей!

— Что налить? — спросил Бабель, но тут же заметил графин с изюмной водкой. — Ага...

— А вот и налей! — сказал старик. — Ее самую!

Он улыбнулся, довольный тем, что ничего на свете не упускает из виду. Вложил письмо в конверт, капнул сверху сургучом и придавил печаткой.

— Ты, конечно же, пришел с вопросом. Но все ответы у тебя уже есть.

В стопках плескалось виноградное солнце. Дядя Яков встал и распахнул руки для объятий — кафтан, обвисавший на грузном теле, казался проемом в темноту, лазом в потустороннее...

— Рад тебя видеть! — прослезился раввин. — Шалом!

Они обнялись. Перед таким великим человеком можно было сойти на нет. И Бабель сошел, тронутый сердечным приемом.

— Шалом! — сказал он.

Он снова почувствовал себя маленьким мальчиком, словно не было всех этих грозных лет: кровавого молоха революции, губчека, продотрядов, а были всего лишь дебри оседлости и годы кротовьего мещанства с цветком герани на окне...

— Выпьем! — сказал дядя Яков.

Они выпили. И снова хмель ударил в голову.

— Да, — сказал Бабель, — вот!

В глазу проснулся зуд и веко дернулось, делая новый кадр. Это была другая реальность, расщепленная на тысячу сланцев, а сам он служил не более чем камерой обскура...

Дядя Яков усадил Бабеля за стол и заставил смочить пальцы в чаше для омовения, влил в нее чернил и внимательно изучил получившиеся разводы.

— Напиши на листке свое имя и сожги. А пепел перетри в труху!

— К чему это? — спросил Бабель, хотя почувствовал: к тому все и шло. Уже давно.

— Не спрашивай ничего! — рассердился дядя Яков. — Просто делай!

«Надо ему подчиниться, — подумал Бабель, — старик определенно что-то знает».

Бабель написал свое имя на странице из блокнота:

— На чем сжигать? На меноре?

— На меноре, — подтвердил дядя Яков, цокая зыком над чернильными разводами. — Да побыстрее! Нам нельзя медлить!

— Уже, уже!

Листок вспыхнул и разом сгорел. Пепельный каркас осыпался в ладонь.

— Твой разум! Ты, как голбец, безобразный и голый, не знаешь, какой жар полыхает рядом! Не знаешь радостей земных! Я завяжу тебе глаза!

— А что вы собираетесь сделать? — испуганно спросил Бабель. — Зачем, зачем завязывать глаза?

— Чтобы отпустить твой разум!

Вдруг стало ясно, что до сих пор дядя Яков попросту изображал благодушие, а на самом деле — вопрос серьезный, и только сейчас начинается самое главное.

Дядя Яков завершал приготовления, расставляя все на столе. Его тень на стене несколько запаздывала за хозяином. Отпечаток, слепок с хозяина.

— Свечи! — сказал дядя Яков.

Он поставил менору на стол.

— У меня глаз болит, — пожаловался Бабель.

— Молчи! — только и воскликнул дядя Яков. — Иначе я пожалею, что ты мой родственник!

Бабель хотел спросить, откуда старик знает, что с ним случилось в городе, и почему не удивлен его приходом, но передумал. Почему-то вдруг вспомнилась сказка о морской царевне — как она вышла замуж за простого рыбака...

Дядя Яков взял из шкафа свиток и развернул его на свет.

— Под спудом, — непонятно сказал он. — Под самым сердцем!

...Вспомнилась вдруг степь — когда посреди ночи Бабель проснулся и его продрал озноб, ибо он увидел, как степь шевелится, а местами — встает дыбом, и по этим хмурым волнам бродит молодайка; душная полоса рассвета вставала на горизонте, небо пестрело звездами, и голова кружилась от этого алмазного венца. От этого, словно наяву, видения Бабель заерзал на стуле — ведь если он не помнил ночного пробуждения, то мог забыть и многое другое, и ему вдруг показалось, что он действительно забыл кое-что важное...

— А это дерево здесь раньше было? — спросил он, глядя в окно.

— Все было! — отозвался дядя Яков. — И ничего не было! О, если бы ты знал каббалу, то, конечно, не задал бы такого глупого вопроса!

На столе появилась клепсидра. Внутри стеклянной восьмерки зазмеилась голубая жидкость.

— Река времени начинается с одной капли! — сказал дядя и зажал бороду в кулак.

Верхнюю полку шкафа занимали книги: «Аль-баир», «Голем и Розенкрейц» и «Третий период» ошибок Коминтерна». Последнее название хотя бы давало намек на содержимое книги. По остальным же никак нельзя было составить портрет владельца. Гораздо больше о нем сообщали вещи — например, статуэтка, на животе у которой имелась замочная скважина и была инкрустирована буква «алеф»...

— Сядь ровно, — потребовал дядя Яков. — Не горбись!

Он снял с шеи белый шарф.

— Хочешь ли ты исправить то, что исправить почти невозможно?

«Она все еще в степи», — подумал Бабель, ему чудилось, что молодайка идет к нему, за ним... Он взял в руки шарф — лоснящийся золотом узор, — обернул вокруг головы на уровне глаз...

Дядя Яков прочитал молитву, сказал:

— А теперь приготовься!

Дядя Яков возложил руки ему на голову и принялся раскачивать; воздух в комнате был пропитан горячим воском, но вскоре Бабель ощутил холодок на лице — казалось, его ведут по лабиринту...

— Сосредоточься, — сказал дядя Яков. — Отдайся тому, что видишь!

— Тут темно, — сказала Бабель. — Но есть факелы...

Он действительно увидел их, но возникли факелы в тот момент, когда он произнес слово, то есть акт творения и само слово совпали.

— Хорошо. Возьми один!

Он послушно взял. «Уже близко!» — предупредил чей-то голос. И только с запозданием Бабель понял, что это сам дядя Яков...

— Приготовься, — дядя Яков втолкнул его куда-то.

Вокруг была тьма, но стоило глянуть вверх, как она отступила — обрисовались своды величественного храма. Посреди зала стояла ванна из белого мрамора.

— Где я? — спросил Бабель.

— Молчи, — прошипел дядя Яков. — Ты там, где надо!

Он вдруг убрал руку с его плеча. Бабель вскрикнул:

— Что там?!

Ему захотелось сорвать повязку, но тело будто налилось свинцом — нет-нет, обмотали якорной цепью и столкнули за борт, толща воды душила...

— Молчи-молчи! — цыкнул дядя Яков. — Будет немного больно! — Разгорелась, сердито шипя, спичка, и по теплomu дуновению стало ясно: дядя Яков поднес к лицу свечу. Правая щека ощутила жар. — Это всего лишь секунда! Но ты проснешься обновленным, как Лилит в день творения!

— Я всего лишь хотел достать лекарство!

Жар усилился. Бабель отпрянул, но дядя прижал его к спинке стула.

— Пустите, — просипел Бабель. — Я...

Боль взорвалась между глаз...

Мрак. Чудь. Забытье.

...И снова был коридор — эхо билось об своды, как крылья летучей мыши; стремительный бег, чьи-то руки высовываются из тьмы, а сзади — надвигается кукла, высокая, как каланча, голова задевает сумрачные своды. Она передвигалась вперевалочку, сухие водоросли, из которых она была скручена, скрипели на каждом шагу. Страх вонзился острой спицей и проткнул душу, как рыбий пузырь, — нога ушла куда-то вниз, и Бабель снова очутился в кабинете...

Дядя вещал, потрясая воздетыми руками:

— Великие ангелы, ангелы Божьи, помогите нам, и да будет с вашим участием исполнена наша работа! И также ты, ADONAI, приди и дай нам силу, чтобы...

— Что это за звук? — перебил его Бабель. — Вы слышите?!

Ему чудился трубящий с улицы горн. Он потряс головой, потому что она была как чужая и набита чем-то плотным.

— Тебе показалось, — сказал дядя Яков. — Скоро ты придешь в себя!

В углу кто-то копошился. Перекладывал стопки церковных листков. Это был тот самый юноша с Торой. Дядя Яков помог Бабелю встать и вывел из кабинета.

— Она гналась за мной! — вспомнил Бабель. — Где я был?

— Кто гнался?

— Кукла.

— Забудь!

— Я ее видел! — сказал Бабель. — В жизни, по-настоящему! Но там, в коридоре, она была слишком большая, как бронепоезд...

— Об этом нельзя говорить!

Дядя сердито подтолкнул его в спину, и Бабель, держась рукой за стену, стал спускаться по винтовой лестнице — сбивчивое дыхание старика позади щекотало затылок.

— Враг — внутри, — скороговоркой шептал дядя, — но ты рассеял тьму! А теперь загляни в себя, видишь ли ты врага?!

Они спустились к выходу из храма, и тут все было залито солнцем — небольшая площадь от храма до угла улицы.

— Аптека в той стороне, — сообщил дядя. — Иди!

— Почему же вы сразу не сказали? — удивился Бабель. — Я бы мог просто купить лекарство!

Он уставился на погребенное в морщинах лицо старика, но ничего не смог прочесть на нем.

— Бедный Исаак! — сказал дядя. — Бедный мой мальчик!

Он развернулся и зашаркал прочь. Уже из глубины храма донеслось:

— Жду тебя к обеду! В моем доме!

Бабель пошел через площадь, ему казалось, незримая паутина прилепилась к его спине и не отпускает от храма...

— А это что такое? — спросил он себя, увидев в пыли следы подвод. Площадь словно иссекли нагайкой, оставив на ней грубые рубцы. Впереди показалась вывеска — полосатые старомодные буквы, цвета североамериканского доллара.

— Что со мной? — пробормотал Бабель. — Ничего не понимаю!

Он несколько раз моргнул и ничего не почувствовал, ощупал веко и не обнаружил и намека на конъюнктивит.

— Или это тоже мне кажется?

Он вдруг подумал, что дядя мог загипнотизировать его и со временем боль вернется. Кроме того, он испытывал тупое давление в переносице, и предметы вокруг выглядели яркими, контрастными, будто придвинутыми вплотную.

На дверях аптеки был наклеен листок:

* BAYER

* ASPIRIN

* HEROIN

ОТПУСК ЛЕКАРСТВ ДЛЯ КЛИНИКЪ
ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА
АПТЕКА А. МАРЦИНОВИЧА

Внутри была очередь. А в застекленной витрине отражалась зеленая улица. Он встал в хвост очереди и стал разглядывать лекарства на полках — порошки в пакетиках, пластыри и бальзамы. В очереди перешептывались:

— А куда они поехали?

— А куда им ехать?

— Не знаю, но куда-то надо!

— Вот куда-то и поехали! То есть никуда!

Говорили двое, мужчина и женщина, Бабель не мог их видеть. Он перевел взгляд на отражения, надеясь разглядеть говорящих, и задохнулся: не было людей, они обратились в дымные столбы, и по ним текли вверх грязные разводы. Все вокруг было черным, и даже ребенок застывший с конфетой во рту показался вдруг обугленным пеньком. Возможно, это была часть видения, скрытая, но он догадался, и они тоже догадались, и главное теперь — не показать своего прозрения; наконец что-то дрогнуло в воздухе, как будто сама реальность моргнула, поколебав шаткие контуры, и в глазах зашипало. Впереди сверкнула лысина с родинкой, почти бородавкой, и седыми ласковыми волосиками за ушами; еще дальше из-под женского платка полыхну-

ли рыжие кудри, похожие на гроздь лисичек; а еще дальше торчала фетровая шляпа, смятая и потертая так, что понять ее природный цвет не представлялось возможным, а уже в самом низу пускала блики рука с перстнем. Стоявшие в очереди распались на части, на глаза, на уши, на подбородки, но и будучи собранными обратно вместе, не составляли единого целого. «А может быть, это я сам распадаюсь, — подумал Бабель, — от меня откалываются льдины и уплывают в океан безымянности, неназванности». Он кашлянул в кулак, косясь на соседа, проверяя, не случится ли с тем чего-нибудь: не растворится ли в воздухе...

Неожиданно подошла очередь.

— Чего вам? — спросил аптекарь, глядя на протянутые деньги.

Бабель обнаружил, что стоит перед окошком кассы с червонцем в руке. Слово из его восприятия выпал кусок времени.

— Раствор борной кислоты, — попросил он.

— Рецепт! — потребовал аптекарь вдруг.

— Почему рецепт? — удивился Бабель, но увидел в отражении мальчика с горном и, забыв обо всем, выбежал из аптеки.

В конце площади стоял лагерем отряд красноармейцев — сидя в телегах, бойцы курили, приглядываясь к новому месту. В каждой подводе скучали по две-три молодаячки: крутобедрые, с высоким бюстом и волосами до пояса; к лодыжкам присохли зеленые змейки водорослей. В тени деревьев травил анекдоты группа бойцов. Бабель подошел к ним и увидел мальчика с горном. Тот стоял к нему спиной: худенький, в шортах и маечке. Красноармейцы дружно одаривали его — кто пайкой хлеба, кто яблоком, а кто — улыбкой. Сорванец так и крутил белобрысой головенкой и, всхлипывая, на радостях промахивался рукой мимо предлагаемых угощений. А затем вдруг поднял горн и затрубил — звук ударил в купол неба, закружил ястребом — в точности такой, каким его услышал Бабель в кабинете дяди (все наконец объяснилось, и — слава богу!), но тут мальчишка обернулся, и оказалось, что глаза у него незрячие — пустые гнойники, слезящиеся, розовые, но с желтым глянцевым налетом... Бабель отшатнулся. И тут же увидел музыкантов. Они шли по улице, а за ними, путаясь в фалдах длинных кафтанов, трусили хасиды... свадьба ударила в обозы волной и закрутила в безудержном вихре. Выскочил откуда-то командир, заорал:

— Кто такие?! Почему безобразия?!

Он схватил за шкуру пробежавшего мимо хасида, но тот выпучил глаза и расхохотался ему в лицо, точно лисица пролаяла. Командир выхватил револьвер и ткнул рукояткой пейсатую, ненавистную ему морду:

— Уймись!

На пыль брызнула кровь. Ветер ударил в лицо, солнце упало и зависло у горизонта, раскаленный коричневый шар. Никто уже не сидел в телегах, хасиды трещали как сороки и с проклятиями плевались в сторону молодоаек. Жених с невестой завалились в телегу. По бесконечной площади бежал дядя Яков и что-то выкрикивал, мальчик продолжал трубить — и вдруг все опрокинулось в глазах у Бабея, потому что он увидел, как одна из молодоаек скользнула к веснушчатому бойцу, пролетела по воздуху, обнажила зубы и укусила за шею — фонтаном изверглась кровь, окропила платье невесты, раздался выстрел, это боец, оседающая, непроизвольно спустил курок, и тут же молодаячки засновали, как летающие пиявки; по ним стреляли, но промахивались — хасиды слезно причитали; кто-то ухватил Бабея за руку, и оказалось вдруг, что это Эльза:

— Пойде-о-м... — промычала она, и он сразу вспомнил, что ни разу не слышал, чтобы она говорила прежде, — к р-е-ечке, к в-во-о-де... в... в... во-о-ду... бежи-и-м...

Еще он вспомнил, что Кондаков и Компанийцев пропали ночью, и это могло означать только одно. Он с ужасом уставился на рот, полный игольчатых зубов.

— А вот я вас, подлюки! — заревел командир, прыгнул в телегу и развернул пулемет. — Щас вы у меня пострадаете!

— Адонай! — взвыли хасиды. — Ангелы божьи!!

— Ангелы?! — закричал командир и стал заправлять патронажную ленту. — Щас!

Молодайка выдернула из телеги жениха и потащила по земле. Она волокла тело, а за ней ползла невеста; платье стояло торчмя, алые цветы крови увядали на нем. Она ухватила жениха за сапоги, припала к ним и слизнула сизые ошметки плоти — улыбка стала блаженной, она откинулась на спину и раскинула руки.

— Брось! — крикнул дядя Яков, подбегая.

На Бабеля нашло оцепенение. Он беспомощно повернулся к старику.

— Отпусти, а?! — попросил раввин, нижняя челюсть у него дрожала от волнения — запрыгали седые полумесяцы в курчавой бороде. — Отпусти племянничка!

— Аг-гы-гы! — протянула Эльза. — Атый-ди!

Раввин помертвел лицом, сунул руку за пазуху и достал свиток, но прежде чем успел хоть что-то с него зачитать, как молодаяк надела ему большим пальцем на лоб.

— Алеф! — неожиданно четко сказала она. — Алеф, алеф! Мене текел!

Дядя Яков попятился, замотал головой, как бы прося отменить приказ, развернулся и механически, дергано, как объевшаяся лягушек цапля, зашагал обратно к синагоге.

— Ты, ты, ты... — Эльза ухватила Бабеля за руку.

Глядя на него исподлобья, набирая ход, по воздуху помчалась еще одна дьяволица — она оторвалась от земли, распрямила тело и выкинула вперед руки.

— А-а-а... — просипел Бабель, больше всего боясь, что Эльза его не услышит. — А-а-а! — повторил он, и Эльза закричала... Нет, выдала высокую резонирующую ноту. «Как губная гармошка, — подумал Бабель. — Там, в степи, как голос сирен...» Атаковавшая его молодаяк упала, заскулила и свернулась в калачик.

— Сети набрасывай! — заорал командир.

Бабель ничего не слышал больше. Он вдруг вспомнил, как добирался на лодке к пароходу, и разыгралась буря, и палубные огни да маяк служили ориентирами — буруны страшных вод вздымались за бортом, в лицо летели брызги, сдутые с пенных гребней ветром. Он склонился за борт, и его вырвало — едва успел передать весла жене, одно из которых вывернулось из рук и ударило ее по скуле. Он видел краем глаза, как Ирина упала без чувств, но его выворачивало — он почти вывалился из шлюпки, мертвой хваткой уцепился в ледяную корму, и тут что-то угодило ему в глаз, полыхнуло искрой, до самого мозга разворотило глазницу голубой болью. Море ярилось и свистало всех дьяволов. Глубина была перед лицом, глубина, черная, как самый плодородный и пропитанный крестьянским потом жирнозем, и белое пятно в обрамлении девичьих волос выплыло оттуда. Глаза, губы, рот. Руки обвили за шею, чтобы поцеловать, и почти утянули в воду, девичий поцелуй пронзил холодом — сердце сжалось и пропустило несколько ударов. Упоительные эти секунды ничем не были похожи на все прежнее в его жизни и на бегство из жизни в осажденном городе. В темной ночи грохотал оглушительный поезд счастья, но стук колес слабел, пропадал, и тишина, ревушая тишина, поражающая контуженных после взрыва, забрала дыхание и не давала оттолкнуть от себя русалку. Русалка пахла гниющими водорослями, утопленником, туманом. Эта смесь наполнила его, вызвав припадок эйфории, и тело запело от радости. Он подхватил весла, ставшие вдруг втрое тяжелей, заворочал ими в антрацитовый мгле, один посреди моря, над кото-

рым витала музыка — губная гармошка, орган, голоса тысячи сирен, — он догреб до берега и с поистине Самсоновой силой оттащил лодку к мертвым бакенам — жизнь после этого покатила вверх тормашками, он уехал, он бросил Ирину, он устроился в сотни газет и сотни раз уволился, и само бегство, и поцелуй как-то выветрились из его памяти — и только стыдная причина расставания порой еще мучила его своей смутностью, неопределенностью, в этом месте был жуткий провал, ничем не объяснимый и поэтому еще более мучительный... Он потряс головой, избавляясь от навязания. В корчах издыхали дьяволицы. Они извивались всем телом и как-то потеряли свою прежнюю человеческую форму. Животы распороты. А к Эльзе подбирался красноармеец со штыком на винтовке — безумная улыбка бродила вокруг пухлых губ...

— Ы! — помычала Эльза. — А-а-а-а!..

Она поцеловала Бабеля. Он даже не успел испугаться, что острые зубы прокусят ему губу, а потом все вокруг изменилось... Мир снова стал розовощеким и бодрым, как пионер.

— Уходим! — сказал Бабель. — Туда!

Они побежали, держась за руки, в тенистую улочку, за синагогу, через тихий парк и по откосу к речке. Уже на берегу он заметил, что у Эльзы повсюду ранки на ногах — костяные иглы торчали из них... Над головой просвистела шальная пуля. По склону сбегал красноармеец. Молодайка сбросила платье и неуклюже плюхнулась в воду. Ее тело сразу потеряло прежнюю форму, посерело, потемнело, костяные иглы стали еще длиннее, сомкнулись и сцепили ноги в замок — мелькнул в один миг отросший хвост, а вместо головы Бабель вдруг увидел что-то безобразное, шишковатое и сильно раздутое с двумя черными яблоками глаз, по бокам свисали странные щупальца, даже непохожие на волосы... Красноармеец подбежал к Бабелю, вскинул винтовку для выстрела. Бабель молча кинулся вперед и толкнул.

Грохнул выстрел.

— Ты чего?! — завопил красноармеец. — Уйдет же!

Он выглядел искренне обиженным, как человек, которому помешали исполнить свой долг. Он ничего не понимал. Молодайка извернулась, тяжело махнула хвостом и скрылась в глубине. «А ведь и правда — как ламантин...» — подумал Бабель.

— Вот ушла! — горько констатировал красноармеец. — Дурак!

Он еще что-то кричал, но Бабель уже поднимался по склону, срывая на ходу худую траву. Он прикусил стебелек и ощутил на языке счастливую горечь. Глаз у него не болел, дышалось ему легко, а на холме зеленым облаком, точно улыбаясь миру, парило дерево — одно среди светлой погоды.

Олег ЮРКОВ

* * *

Василию Субботину

Вам много лет, Василь Ефимыч.
Я в Вашем номере живу.
Все мыслимые серафимы
Кружат над Вами наяву.

Мы побратимы потолками.
Пусть Вы прозаик, я поэт.
Зазря не машем кулаками.
Нас согревает общий свет.

Вы старше на одну эпоху,
Вернее — на одну войну.
В Берлине дали волю вздоху
И выдоху — на всю страну.

Я не художник, не фотограф.
Во многом можно упрекнуть.
Но был у стен, где Ваш автограф
Никто не властен зачеркнуть.

Ни дождь, ни кризис, ни хвороба.
В других местах ему не быть.
Куда бы ни ушла Европа,
Ей от России не уплыть.

Мы не заморские индейцы,
Мы отстоим свом права.
Мы с Вами тоже европейцы,
Но все же русские сперва.

Олег Владимирович Юрков родился в г. Сухуми, окончил Ленинградский политехнический институт, работал инженером, научным работником. Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Аврора», «Наш современник» и др. Автор нескольких стихотворных книг. Издатель и ответственный редактор литературно-художественного журнала «Рог Борея». Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

Казалось, не прожить без дела дня.
Но надо ж — ни меча и ни орала.
Дымят мои заводы без меня
В предгорьях острожного Урала.

Я не постиг призванья своего,
И этому не поздно удивиться.
Демидов или Моцарт? От кого
Есть в сердце беспокойная частица?

Не с Пушкиным я пил, и не Аи,
Но все же под шатрами с камской солью
Явитесь вновь, товарищи мои
По шахматам, по слову, по застолью!

Я не рожден для северных утех,
Для валки леса, для ночной приманки,
Но мог бы я смеяться лучше всех,
Заваривая чай в консервной банке.

И может быть, через пятнадцать лет
Завистникам и внукам на потребу
Изобрести бы смог велосипед,
Катящийся колесами по небу.

Я по тайге пройду и без огня.
Мне Муза в Лете указала броды.
Дымят мои заводы без меня,
Немного постаревшие за годы.

* * *

Люди, посетившие меня!
Вашего вниманья удостоен,
Яркою, случайного огня,
Вами ошарашен, успокоен.

Вы исчезли, будто вас и нет,
Не было со мной пересечения.
Не горел в зените чудный свет,
Не было варенья и печенья.

Странно как-то молча исчезать
До нуля, до ледяной пустыни.
Будто вас и незачем спасать,
Воскрешать молитвами простыми.

А ведь было вправду хорошо,
Десятиминутная услада.
Вот и дождик медленный прошел,
Даже чай заваривать не надо.

Зазвенели за окном леса,
Изогнулась радуга упруго.
И глядели мы — глаза в глаза, —
Понимая и любя друг друга.

* * *

Когда ругательства не в силах нам помочь
В попытке выправить изогнутые души,
Бросай дискуссии, дверьми не хлопай в ночь.
Сбеги по тихому к границе вод и суши.

Вдоль побережья, ступая через птиц,
Содвинь в костер зигзаобразные коряги.
Ты в дымном мареве найдешь так много лиц:
Поляки, половцы, тевтоны и варяги.

Они исправились. Им хорошо в аду.
Они на Русь давно не зарятся зловеще.
А те, что сжарились, не подлежат суду.
У опорожненных котлов просохли вещи.

Их копья с латами снесли в металлолом,
Кольчуги бранные — в заморскую химчистку.
Исчадья мирные, мы за одним столом!
Хотите — чарку поднесу, хотите миску?

К чему ругательства? Был сдержан Цицерон.
Все, все исправится, что криво или косо...
А пляж наш ветренен и черен от ворон,
И дождик сеется, как желтенькое просо.

В ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Проведи меня в фонды, сестрица,
Там, где холодно, сыро, темно.
Что там старится, нежно хранится?
И к чему прикасались давно?

Здесь нужны молотки да стамески.
Еле держит вон та сторона.
Неразрезанный здесь Достоевский
И военных времен Пастернак.

В полумраке зигзагами бродишь,
Нарушая великих покой.
Очень редко сюда ты заходишь.
Детективы всегда под рукой.

Для решенья душевных вопросов
Всем хватает полтысячи слов.
Для детишек — зачитанный Носов,
Для родителей — мудрый Белов.

Посетители в читке вседневной
Будоражат поверхностный слой
В книжной ловле, веселой, безгневной,
Не касаясь печали былой.

Путешествия, лов анаконды,
Несгибаемый Тур Хейердал...
Неподвижны глубинные фонды,
И Вергилий, и римский портал.

Неподвижна седая Эллада.
Зевс на землю глядит с высоты.
Не войду я туда без доклада.
Ну а ты, дорогая, а ты?

Алексей ПАЛИЙ

ЧАСТИЧНАЯ ОТГРУЗКА РАЗРЕШЕНА

Сотню вечностей назад, когда мужчины были мужчинами, а женщины были мужчинами любимы, единый и делимый Бог решил развлечься. Он распался на множество подбожий, чтоб поиграть с самим собой. Потекли реки любви и крови, огромные города рушились, не успев достигнуть рассвета, а маленькие деревни хранили свои традиции, как кусочек янтаря неосторожное насекомое. Вволю натешившись религиями и судьбами, Бог воссоединился. Однако не до конца. Мелкие частички его застряли в человечестве, словно пластилин в ковре во время детской игры. Наплевав на несущественные потери, Бог замер в полной бездеятельности. Может, до следующего распада, а может, и навсегда. Что в принципе одно и то же. И люди точно сошли с ума. Днем и ночью мужчины и женщины, стоя, сидя и лежа, пытаются найти кусочки Бога-растяпы. Кто-то находит, кто-то врет, что нашел, кто-то, не найдя, учит других, как искать. Каждый при деле, у каждого есть шанс.

Я болтался на поручне полупустого вагона метро веселой макакой. Левая парализованная рука была пристегнута к поясу специальным ремнем, придуманным и сшитым мной два года назад. Настроение пока держалось на уровне «выше среднего», и я искал домкрат для его дальнейшего поднятия. Согласно наставлению Ли Юнга, которое еще звучало в голове, искусственное «хорошо» постепенно должно перейти в настоящее. Пока получалось слабо, но я не отчаивался. Сидящая напротив девушка открыла сумочку и принялась искать что-то несуществующее. Мой взгляд уткнулся в содержимое ее сокровищницы. Коробочка, еще коробочка, еще одна. Просто набор черных футляров. Я посмотрел на хозяйку этого добра. Милая. Деликатесные губы, острый носик, прическа с хвостиком как у девочки-запятой из мультика про Витю Перестукина. Она взглянула на меня и резко изменила форму щек. Я отвернулся, ее хищная улыбка смутила. Вот так всегда! Настроишься показать миру всю свою раскрепощенность, так сразу на землю опустят. Несколько секунд я размышлял, сто-

Алексей Валериевич Палий родился в 1975 году в г. Николаеве (Украина). В 1997-м окончил ГМА имени Макарова в Санкт-Петербурге по специальности «инженер по организации морских перевозок и управлению на морском транспорте». Работает в ООО «Модуль» специалистом по организации международных перевозок. В 2011 году окончил курс «Литератор» при Институте культурных программ в Санкт-Петербурге (мастерская Д. Н. Каралиса). Печатается в журналах «Аврора», «Невский альманах». Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 12'2012

ит ли взглянуть ей в глаза. Смотрит ли она еще на меня? Если смотрит, то как? Натянуто-дружелюбный голос прервал мои сомнения:

— Уважаемые пассажиры, я желаю вам приятной поездки...

О, продавец пластыря. Захотелось купить ленточку и заклеить ему рот. Немногочисленные пассажиры не обратили на него внимания. Лишь старичок, сидящий через несколько пустых мест от девушки с футлярами, слушал продавца с интересом. Дедуля был одет в старую форму неизвестного мне советского ведомства. Железнодорожник или капитан буксира на пенсии. Люди этого возраста часто прячутся от капиталистической действительности за шевронами некогда грозной империи.

— ...Замечательный стеклорез. Сейчас я продемонстрирую его работу.

Стеклорез при мне в метро продавали впервые. Я повернулся на голос, мазнув взглядом по незнакомке. Она смотрела перед собой. Люблю, когда у девушки открытый лоб. Можно мысленно написать что угодно. «Я твоя», например.

Продавец стеклорезов, лохматый парень в спортивном костюме, достал из рюкзака стекло. Демонстративно попробовал его на прочность, словно фокусник перед интересным трюком. Вдруг поезд резко затормозил. Парень, расставив руки, полетел на меня по вагону, как самолет, оставленный экипажем. Я выставил ему навстречу плечо парализованной руки. Старик в форме слегка дернулся. Продавец врезался в меня и остановился, с трудом сохранив равновесие. Поезд продолжил движение, и, казалось, инцидент был исчерпан. Я посмотрел на девушку в надежде, что она оценила мой поступок, но тут же уставился на старика. На его лбу темнела странная толстая полоска, она медленно расширялась. Дед, заметив мой удивленный взгляд, провел рукой по лбу. Рука стала темно-красной. Через секунду кровь уже заливала глаза раненого, и он тихонько завыл. Мое сердце упало в желудок и начало перевариваться. Продавец смерти бросил окровавленное стекло и быстро прошел в другой конец вагона. Ему никто не мешал. Хотелось заорать: люди, я сраный инвалид, сделайте что-нибудь! Взгляд сам нашел незнакомку с хвостиком. Она быстро пододвинулась к старику, достала из сумки один из черных футляров. Крышка откинулась, я рассмотрел разные хромированные штуkenции и кусок ваты. Вот она со словами «Сиди спокойно, начинаю лечить» вытирает кровь. Потом вкалывает маленьким шприцем что-то в лоб. Далее в ход идет незнакомый инструмент, напоминающий степлер. Через минуту я вижу на лбу старика аккуратно зашитый шрам и немного размазанной крови. Готов поклясться, что большинство пассажиров вообще ничего не заметило.

Я шагал по вестибюлю станции за таинственной медсестрой. Хвостик ее прически стрелкой указывал вниз, на попу. Я послушно опустил взгляд. Ягодицы вращались, словно китайские массажные шарики в ладони. Упустить такую девушку было немислимо. Но как к ней оригинально обратиться? Красавица, девушка... тьфу, банальщина. Первое слово ведь самое главное. Господи, помоги.

— Богиня!

Она остановилась и медленно повернула голову. Я впервые рассмотрел ее глаза. Если и ошибся в обращении, то не сильно. Щеки снова стали видоизменяться. Казалось, они могут принять абсолютно любую форму. На этот раз улыбка получилась более дружелюбная. Слегка приободренный, я продолжил:

— У вас есть вакансии на Олимпе? Я бы прислал резюме.

Она достала из сумки черный футляр, поменьше предыдущего.

— Будешь свободен, приходи! — Девушка достала из него глянцевую листовку.

Я схватил бумажку. «Любительский театр “Tabula Rasa” приглашает на представление “Частичная отгрузка разрешена”. Адрес, где-то в центре, в это воскресенье, семь вечера. Мое лицо разочарованно скукисилось. Никакая не богиня, не инопланетянка. Просто артистка неизвестного театра. Разыграла спектакль, пусть даже вполне реальный. Девушка вынула еще один футляр. Фокусница, блин. Достала из него узкие черные очки и едва заметным щелчком большого пальца ловко накинула их на лицо. Так крутые перцы из боевиков отправляют в рот подушечку жвачки. Приколно. Хотя очередной фокус, ничего более.

— Приходи, будешь свободен, — сказала она еще раз и направилась к платформам.

Эскалатор тащил меня вдоль серых стен. Я словно опять шел по коридору больницы Боткина, где мы с младшим братом лечились несколько лет назад.

* * *

Июль того года выдался на редкость жарким в смысле разного рода развлечений. Чего еще взять с молодого парня, только что получившего диплом университета? Специальность журналиста давала добро совести на изучение многообразия жизни. Домой я приходил редко, да и то, как говорится, «за гитарой». Легкие и быстротечные знакомства, широкий выбор средств затуманить любопытный мозг. Как-то белые ночи вдруг превратились в желтые дни. И, по правде говоря, гепатит А был не самой тяжелой расплатой за продолжительный разгул. Коммерческая одиночная палата в боткинской больнице, конечно, не стриптиз-бар, но минимальное пространство для маневра существовало. Редкий день обходился без посетителей. Мама приносила фрукты и жалела меня, как могла. Мне было легко и приятно играть перед ней роль жертвы обстоятельств. Я докладывал ей о своем самочувствии, назначенных лекарствах и процедурах. Она слушала с восприимчивостью подростка, глотающего «Три мушкетера». Женя, младший брат, перешедший на второй курс университета по моей же специальности, старался приходиться в разные дни с мамой. С ним мы вели другие разговоры. Я объяснял, например, почему при знакомстве с девушкой стоит обращать внимание на ее ступни и форму ноздрей или как мешать напитки с минимальными последствиями. Сам я редко придерживался правил, но хотел, чтоб Женя не повторял моих ошибок.

Брату было десять лет, когда мы остались без отца. Тот однажды вышел из дома к любовнице и не вернулся. Женька, во многом, даже во внешности, похожий на маму, воспринял потерю тяжелее всего. Он сбегал из школы, шатался по городу. Хорошо, что не попал в плохую компанию. Это за него сделал я. Да, я старался влезать во все возможные ситуации, показывая на своем примере, что делать стоит, а что нет. Моя толстая отцовская шкура защищала нас обоих. Вот, Женя, я краду в магазине шампунь, грузчики догоняют меня и чуть не отрывают уши. Воровать больно. А это, мой любимый брат, я каждый вечер бегаю на турники и занимаюсь до кровавых мозолей. Руки становятся жилистыми, они легко скручивают Федьку, самого борзого в нашем дворе. Быть сильным выгодно. Женя с удовольствием включился в эту игру. После очередного поучительного приключения я для наглядности рисовал в тетрадках основные его эпизоды — диафильмы. Схематично, левой рукой, чтоб забавнее выглядело. Покупал брату мороженое и устраивал показ. Мама однажды застала нас за этим занятием, молча погладила меня по голове и удалилась из комнаты. Позже я узнал, что отец любил рисовать ей разные моменты их жизни.

Так мы познавали мир и войну. Я проводил разведку боем, Женя ждал меня в штабе. Серьезно поссориться нам удалось только однажды, когда я увидел его гуля-

ющего с Людочкой. Мой четырнадцатилетний брат и Людка Треха, прозванная так по стоимости ее согласия, гуляли под ручку у кинотеатра. Я буквально вырвал Женю и оттащил домой.

— Вот вспоминай, чем закончилась моя дружба с Трехой, — я тыкал пальцем в одну из старых картинок в тетради.

Женя демонстративно отвернулся. Тогда я рассвирепел и раскрытой тетрадью надавил ему на лицо. Он не сопротивлялся. Когда я убрал руку, его щеки были красными и мокрыми.

— Знаешь что? Надоели твои диафильмы. И ты сам мне надоел. Заботишься ... а когда-нибудь бросишь меня... как отец. — Женя схватил тетрадь и выбежал с ней на балкон.

Я смотрел через окно, как брат поливает рисунки ацетоном из бутылки, берет с подоконника спички, и вот пылающая тетрадь сбитым «юнкерсом» пикирует во двор. Через несколько минут мы уже обнимались на балконе под ругань сидящих во дворе бабушек. Я клялся, что никогда не брошу брата, но постараюсь менее навязчиво его опекать. Женька обещал быть благоразумнее и прислушиваться к моим советам. Можно сказать, мы оба выполнили наше Балконное Обещание. И диафильмов я ему больше не рисовал.

Лечение гепатита А продвигалось бодро. Трансиминаза, билирубин и прочие развеселые показатели приходили в норму. По ночам я играл с медсестрами в карты на раздевание, днем, помимо процедур и общения с посетителями, читал и шатался по территории больницы. Меня устраивала подобная рутина. Приблизительно таким образом я планировал проводить время на пенсии.

Женю положили в больницу через несколько дней после моей выписки. Из всех людей, с которыми я общался, заразиться умудрился только он. В этот раз брат пошел по моим стопам без нашей договоренности. Меня не сильно расстроила его болезнь. Женю положили в мою палату, и я был уверен, что лечиться он будет недолго. К тому же я помнил, как Алла, единственная медсестра, которая игнорировала мои приставания, смотрела на Женю, приходившего меня навещать. Тут у него были все шансы исправить недоработку старшего брата.

Я пришел его навестить на третий день госпитализации. Вчера заходила мамуля, а сегодня моя очередь. В рюкзаке лежали гостинцы — бутылка коньяка (исключительно для угощения медперсонала), пачка презервативов и роман Кинга «Мизери». Палата была пустая. Наверное, уже гулять пошел. Надо рассказать ему про смешных наркоманов из соседнего корпуса. Я упал на знакомую кровать, взял с тумбочки яблоко и захрустел. Дверь приоткрылась, в щель вползло ведро с водой. За ним вошла тетя Варя, уборщица. Я приветственно поднял руку. Она упала на стул и разрыдалась.

— Тетя Варь, вы чего? — я присел возле нее.

— Женя уууууумер...

— Что???

— Ууууутром...

В палату вошла Алла. По ее щекам траурными ленточками ползла тушь. Я сидел на корточках, тупо уставившись на ведро уборщицы.

С территории больницы меня удалось выгнать только вечером. Я водил по корпусам и аллеям экскурсию:

— Вот, Женя, здесь лежат нарики, можно зайти, посмотреть, до чего доводит «Я в любой момент могу соскочить». А тут стоит очередь из иностранных студентов, они сдают кровь на СПИД. Хочешь познакомиться с веселой негритоской или узкоглаз-

кой? Если пройти по дорожке с кустами роз, увидишь морг. Там сейчас лежит мой брат.

Гуляющие пациенты сторонились человека, с улыбкой рассказывающего невидимому спутнику про больницу. Даже Швабра, ласковая местная псина, понюхав возле меня пространство, нервно тявкнула и скрылась с глаз.

Хоронили за городом. Нашли место на кладбище одного поселка у Ладоги. Народу немного. Я, мать, несколько друзей. Местный поп отработывал заупокойную. Надоел своим привыванием. Я старался держаться подальше от мамы, чтобы как-то растянуть концентрацию горя. Она держалась неплохо. Только иногда расплывалась в воздухе, словно неустойчивая проекция. Больше всего боялся, что на лицо брата сядет муха. Поп закончил, гроб заколотили. Женя рывками опускался в яму. Я присел взять горсть земли. Глаза смотрели в могилу. Ждал, когда туда полетят первые комья. Ничто не нарушало темного силуэта ямы. Ну вот же, кидаю! Я растерянно посмотрел на левую руку. Она уперлась в свежую землю. Совершенно не двигалась. Она вообще моя? Может, случайно отрыли чью-нибудь. Вдруг показалась, что рука поползет в могилу и утащит меня за собой. Я бросил горсть правой и отскочил.

Две недели я не выходил из квартиры. Друзей не принимал. Чтоб занять себя, стал ремонтировать все подряд. Обвесившись инструментами, ходил по комнатам в поисках жертвы. Подтягивал болты на диване, менял антенные штекеры. Мне даже нравилось справляться одной рукой. Мама смотрела на меня с тревогой. Возможно, углядела начальные признаки отшельничества. Но жизнь настойчиво требовала выхода на бис. Сидеть дальше за кулисами стеклопакетов не имело смысла. Первым делом я пошел в клинику. Точнее, туда меня вытолкала мать.

— Паралич руки. — Молодой доктор с выпученными глазами и нелепыми бакенбардами быстро поставил диагноз. — Валить надо из этой страны, — внезапно добавил он задумчиво.

Узнав про недавний гепатит, он едва мог сдержать радость. Его руки взлетели, словно разбрасывая конфетти:

— Ну конечно! Инфекционные осложнения!

Сложнее некуда. Я сказал ему про брата.

— Вот! Огромнейший стресс вызвал поражение нейронов! — он заорал так, что заморгали неоновые лампы. — А в Европе вашего брата вылечили бы... — и, внезапно заткнувшись, он принялся выписывать рецепт. Бумага заполнялась мелкими, но четкими буквами. Потом врач достал из стола несколько глянцевых листовок и прикрепил их к рецепту.

— И я бы не советовал вам оформлять инвалидность. Не в той стране живем. А еще инвалидность — серьезная психологическая установка. Может помешать выздоровлению.

Я стоял в коридоре клиники с рецептом в руке. Вдруг он под тяжестью прицепленных с обратной стороны листовок изогнулся вниз с громким треском. Инвалидность. Я мысленно нарисовал это слово. Получилась небольшая матрица со всякой ерундой: клетчатый плед, коляска в виде старинного паровоза, автобусное кресло у компостера, самовар, прочая ерунда. И схематичный человечек как на дорожных знаках. Присмотрелся внимательнее — вроде на меня не похож. Пока что.

Мама составила план лечения на основе рецепта. Самомассаж, зеркальная гимнастика, витамины. Я безропотно все принимал. Только отказался покупать биодобавки, разрекламированные в листовке доктора. «Сок, который пьет Мария Шарапова», — брррр, мне явно не грозило стать великим спортсменом.

Меня взял на работу глянцевый журнал для мужчин «Берсерк». Может, у них раз-нарядка на убогих была, а может, главреду понравилось, как я на собеседовании отстраненно крутил фиги на парализованной руке. Мои статьи стали выходить в каждом номере. Неизвестные дорогие клубы, закрытые политические семинары, поселения бомжей у крупных свалок. Больная рука часто служила авансом доверительных отношений с народом. Я быстро сообразил, как входить в контакт с самыми разными людьми — сразу показать две вещи: то, что я несчастный инвалид, и то, что меня это совсем не беспокоит. Хотя обе они были далеки от истины.

Где-то раз в месяц на меня накатывало очень сильно. За несколько минут я придумывал десяток вариантов благополучного развития прошлых событий. Женя с нами, у нас все отлично. Потом жалел маму, потом свою руку, и снова мысли возвращались к брату. Заканчивалось все пьянкой. В левую руку я вкладывал стакан (это был Женька) и чокался с ним правой.

Через год после трагедии случилось чудо. Нет, рука не стала шевелиться. Мама нашла себе человека. Она впервые после смерти брата купила себе новое платье. Мне оставалось на цыпочках переехать в съемную квартиру.

Доктор с бакенбардами оказался довольно приставучим. Периодически звонил, спрашивал, как дела, и советовал новые лекарства. В конце концов я сказал, что очень занят: готовлю в журнал статью о докторах, продающих пациентам всякую дорогую ерунду. Несколько месяцев он не звонил, пока однажды я вновь не услышал в трубке его голос:

— Алексей, может, эта страна не так и безнадежна!

— Мммм?

— К нам приехал великий Ли Юнг!

— Мммм...

— Человек уровня Христа, попасть к нему невозможно, но я вас записал. Группа начинает работать с понедельника. Диктую адрес...

Очевидно, что никуда идти я не собирался. Даже профессиональное любопытство не заставило бы меня смотреть на очередного гуру. Но мама, которой я рассказал про Ли Юнга в качестве прикола, настояла, чтоб я сходил. Пришлось махнуть правой рукой — в крайнем случае будет материал для статейки.

Ли Юнг исцелял в классе какой-то школы. Этот еще не старый китаец бодро шагнул между парт и говорил о волшебной пользе энергии радости. Группа из двенадцати человек уныло внимала. Мне захотелось спросить каждого: кто тебя сюда отправил? Не удивился, если бы они все оказались пациентами моего доктора.

— Начиная с этого момента запрещается не улыбаться, — по-русски он болтал почти без акцента. — А истинная радость придет! И вам следует постоянно ее усиливать. Пока не выздоровеете...

Вдруг взвизгнула женщина. Это великий лекар уколол ее бамбуковой палкой.

— Я сказал: улыбаться! Кто не будет слушаться, будет получать тыц-тыц, — он замахал над головой палочкой.

Странно, но мне даже понравилось ходить на эти дикие занятия. Мы улыбались, слушали поучения, медитировали. Настроение действительно было неплохим. У некоторых, по их словам, что-то перестало болеть. Моя рука, конечно же, от улыбочек не работала.

* * *

Я шатался по квартире, думая, чем бы себя развлечь. Неожиданно на глаза попался семейный альбом — мама чуть не насильно впихнула его в сумку, когда я переезжал. Вряд ли открывал его последние годы. Смотреть на отца или видеть улыбающегося Женю не хватало смелости. Ругая себя за малодушие, я раскрыл его наугад и пискнул от неожиданности. С черно-белой фотографии на меня смотрела девушка из театра «Tabula Rasa». Потребовалось несколько секунд, чтобы понять — это просто моя мама в молодости. Ну да, вон и улица явно советского вида. Да и не очень похожа, честно говоря. Прическа не та, нос другой, глаза... Глаза богини.

Черт, где это долбаное приглашение? Бумажник, куртка — пусто. Рука пошла в пляс по карманам джинсов. Без результата. Еще один круг. И вот из левого заднего кармана появляется скомканный листок. Все-таки культура — полезная вещь, мог бы прямо в метро на пол кинуть. Перечитал и запомнил время и адрес.

Я спустился в подвальчик обычной непримечательной подворотни. В таких местах часто ютятся рок-магазины. Небольшой вестибюль неправильной формы, у входа в зал вахтерша.

— Что у вас? — рявкнула она.

Я растерялся. Действительно, что у меня? Листовка осталась дома.

— Рука вот. — Я потрепал себя за парализованную конечность.

— Проходите.

Тяжелая портьера облизала меня, пропуская в зал. Блин, темно-то как. Единственный прожектор освещал только небольшую часть сцены. Зрителей, на которых зачастую интереснее смотреть, чем на артистов, не видно. Я на ощупь преодолел несколько метров до первого ряда. Долго ли ждать? В ответ на эту мысль прожектор метнулся вверх и осветил большой крест в углу сцены. На кресте висел распятый, на лице была кислородная маска. Вдруг я узнал человека — это же раненый старикан из вагона, в котором мы ехали.

Из темноты вышел человек. Я готов был узнать и его — так изображали банкиров в журнале «Крокодил»: толстый, в жилете, цилиндре и с сигарой. Заиграла музыка кабаре. Банкир подскочил к распятому и принялся срезать с него форму большими ножницами. Я приготовился увидеть не очень приятную картину. Но буржуй оказался милосердным, оставив распятому нижнее белье. Старик был в ужасе, его глаза над кислородной маской то округлялись, то закатывались едва не под самый шрам на лбу. Банкир, попыхивая сигарой в такт музыке, притащил мешок со знаком «\$». Достал оттуда одежду, похожую на свою, и попытался надеть его на висящего. Не получилось. Тогда толстяк снял со старика кислородную маску и спросил:

— А ю реди?

Распятый энергично закивал. Банкир аккуратно снял его с креста. Посредине я заметил велосипедное седло.

— Велкам! — пригласил буржуй.

Старик принялся облачаться в новую одежду. В конце он вытащил из мешка сигару и закурил. Второй банкир получился даже убедительней первого. Толстяк по-братски обнял нового коллегу и, что-то втолковывая на английском, увел со сцены.

— Антракт!!! — грянул сверху призыв. Но выходить в комнату со старушкой мне не хотелось.

— Тогда второй акт! — крикнули из мрака. И тут же луч прожектора осветил меня. Я вздрогнул и зажмурился. Когда открыл глаза, передо мной стоял гроб. В нем лежал

Женя. Я заорал. Громко и хрипло. Опять, опять мне надо его хоронить?! Левую руку словно сунули в кипящий фритюр.

Господи, какой брат, это же Она. Ну да — губки, носик, которым я любовался в вагоне. Как я вообще мог ее перепутать с Женей? Я пнул гроб ногой.

Тут же прискакало странное существо с невероятно длинной прямоугольной головой. Оно сняло голову и положило ее на пол. Да это просто банкир, уже переодевшийся в спортивный костюм, притащил крышку гроба. Он взял в свои руки мою парализованную клешню. А и не жалко. Внезапно пришла полная апатия. Я даже не пошевелился, когда банкир своими ножницами сделал надрез на левом рукаве моей куртки. Он победно завыл и оторвал рукав. И тут рука, моя никчемная рука, стала дрожать. Банкир запихал рукав в гроб, кинул сверху крышку. Закрытый гроб стал похож на футляр из сумки девушки. Но это меня уже не интересовало, я принялся трясти и целовать оживающую руку. Она пока ничего не чувствовала, но это ничего, ничего...

* * *

— Хочешь к нам?

— Очень, но не пойду.

Мы с ней сидели на лавочке безымянного парка. Малыш в дутом комбинезоне пытался поймать голубя. Тот в свою очередь пытался добраться до россыпи пшена. Прошло несколько дней после спектакля. Пальцы уже отзывались на прикосновения, а мизинцем даже можно было поковырять в носу.

— Не пойду, — повторил я. — Может, лучше ты к нам? Точнее, ко мне.

Она достала из сумочки футляр. Сейчас щелчком набросит очки и пропадет. В футляре лежал золотистый карандаш. Девушка вложила его в мои непослушные пальцы.

— Пиши телефон.

Инна РОЗЕНСОН

СТИХИЙНОЕ МАНИХЕЙСТВО

— Идиот!!! Знает же мой характер! Знает же! Выгоню к чертовой матери! Ведь тот год уж было: вышвырнула все в канаву, потом месяц куда-то перепрыгивал. Вот увидишь: вернется с дежурства — выгоню!

— Теть Каша! Ведь он нужен вам. Конечно, это ненормально. Но в остальном-то...

— И не пытайся меня успокоить! Не пытайся! Я его жить пустила, а не помойку здесь разводить. Нет, скажи: или это уже не мой дом?!

— Ваш, конечно. Но как без него?

— Обойдусь! Раньше обходилась — и еще обойдусь! Совсем свихнулся! Нет, ты поди, поди сюда. Да к тому окну! Взгляни, что за кустами у забора.

— Доски сложены?

— Доски!!! Вот иди и посмотри, что за «доски» такие!

И сама уже схватила палку и на тяжелых больных ногах — к выходу.

За разросшимися кустами малины под аккуратно сложенными досками схоронено множество полезных в хозяйстве вещей: проржавевшие ведра, тазы и тазики, рукомойники без поршеньков, чайники без носиков, кастрюльки без ручек, полочки-досочки, совочки-грабельки... чего там нет только! Можно полдня перебирать, рассматривать. Есть предметы и вовсе непонятные, когда-то принадлежащие теперь уже непредставимому целому. Чему служило оно? Хозяйке это неинтересно, и понять можно.

— Каких сил мне стоило навести здесь хоть такой порядок! Это ж — хлам! Хлам!!! Устроить из дома моего помойку! Выгоню к чертовой матери! Пусть забирает все это и убирается!

— Теть Каша, — новая попытка воззвать к практическому разуму, — а зимой как же?

Жилец пущен в дом хоть и без платы, но и не «за так»: чтоб жил здесь и зимой — стерег, протапливал печь, расчищал снежные заносы... Прежде могла и сама проводить «поместье», но располневшее тело стало рыхлым и слабоуправляемым, а ноги так и совсем плохи — теперь уже по скользкой зимней дорожке от автобуса до калитки не добраться. В городе же душа не на месте: как там в доме? все ли в порядке? не повадились ли бомжи? не спалили?! Так что они друг дружке очень даже нужны:

Инна Александровна Розенсон окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне СПбГХПА им. А. Л. Штиглица). Публиковала статьи в профессиональных и популярных изданиях, учебники для вузов по теоретическим, культурологическим вопросам дизайна. Член Союза дизайнеров. Опубликовала рассказы в журнале «Звезда». Живет в Санкт-Петербурге.

НЕВА 12'2012

ему, старику одинокому, жить негде, а у нее, при всей пенсионной бедности, от избытка жилья образовалось слишком много непокоя.

Нагнулась над обнаруженным кладом, похожая на пирата — краснолицая от подскочившего давления, в платке, повязанном от головной боли на манер банданы, хоть и без деревянной ноги, но зато со стеклянным глазом. И живой глаз от гнева и раздражения тоже сейчас блестит стеклянно.

Молодая дачница сочувствует ей, но и погулять хочет, и от лишних волнений себя поберечь стремится.

«Реакция, конечно, неадекватная, — думает, — с чего так уж из себя выходить? В старости естественные чувства, бывает, причудливо искажаются. Такой накал страстей больше похож на извращенную ревность: как! Ему недостаточно *ее дома*?! Чего ему здесь не хватает?! Плохо ему?! И жалость в ней к дураку бездомному, и оттого сильнее еще бешенство: не ценит, что имеет. Выгону! Сегодня же! К чертовой матери! Ее дом — это теперь сама она. Она *пустила его к себе*. И она не потерпит здесь...»

Когда-то, жизнь назад, девчушка, нечаянно зачавшая ее в примитивно-печальных обстоятельствах, нарекла младенца странным именем. В той ситуации ребенок — или кошмар, или чудо. Приняла второе и одарила девочку именем со смыслом. Оно вызывало в ней образ самый раскрепосный, какой только мог быть в мире. То была картинка на стене подсобки, где переодевалась, где и случилось «это», — а на картинке: море, пальмы, солнце и по синему небу слова: «Приезжайте в Аркадию!». Вот и стала девочка ее Аркадией, в быту — Аркашей, на маленькую думали, что мальчик. С годами же — и для многоюродных племянников, и в вендиспансере, где всю жизнь медсестрой протрубила, — тетей Кашей. Доброе такое, сытное, домашнее имя. Но нрав — тот иной! Беспокойный, пиратский, властный, упрямый.

— Идем в дом, — скомандовала, — сколько раз твердила ему: не бери! Нельзя подбирать чужое. Да еще к себе тащить. Не говорю уж, что — рухлядь! Я во всю жизнь ничего не подыму, даже если кошелек с деньгами. Всегда не к добру. Всегда! Хочешь, расскажу, какой со мной случай был? Нет, эта чашка грязная — возьми там, в буфете. Ты что, хлеба совсем не ешь? И как это так?! Да ладно, ладно, не лезу: не хочешь — не ешь. А скажи, тебе правда интересно?

Хоть отвлеклась на минуту от своей заикленности на собирательстве-измене своего жилища. Налегла на столовую клеенку растекшейся грудью и всматривается из-под банданы возбужденно разгоревшимся глазом.

— Тогда слушай. Я росла — в Бога не верила. Как все. Только когда Валечка в двенадцать лет заболел психически, стала в церковь ходить. Крестик на работу носить не полагалось — и я пришила его себе к лифчику, изнутри. Долго так ходила. А как-то потеряла — отпоролся, что ли. Со мной в диспансере работала одна женщина. Ничего такая. Нам с ней выпало дежурство. Сидим, она стала жаловаться, как у нее с мужем вдруг плохо все стало. Я эти бабьи разговоры всегда не выносила просто. К тому времени у меня-то уже ни мужа, ни глаза, а был один только бедный мой Валечка. Но послушать могла. И вот рассказывает она мне такое дело. Будто жили они вообще неплохо, муж не пил и ее особенно не обижал. Все будто бы нормально. А какое-то время назад находит она у нас в туалете крестик. В церковь сама не ходит, но крестик подобрала, жалко. Потом дома в сумочке нащупала, вспомнила — и бросила в коробку со своими цацками. И вот у нее началось!.. Тут уж и мне любопытно стало. Ничего не говорю, а ее спрашиваю: что же так уж у нее плохо? Она в слезы, уже сдержаться не может — и все подробности из нее, как из прорванного мешка. И рассказывает она мне в точности такое, что когда-то со мной было. Ну, точно! И

пить он вдруг ни с чего стал и ее побивать, и описывает она мне такие сцены, как у меня были, ну, прямо слово в слово.

Я про себя думаю: назад мой крестик все равно брать нельзя уж, беды мои — не ее ума дело, но да и ноша моя не по ней. И говорю только: не хочешь, как я, со стеклянным глазом ходить, быстро избавляйся от того крестика. Она еще больше испугалась, будто я ведьма какая. «Как же, — ревет, — избавлюсь от него, когда, люди говорят, его и выбросить тоже нельзя?!» — «А ты, — учу ее, — закопай тот крестик в какую-нибудь могилу, все равно чью, — лишь бы его со всем, что на нем, отдать неживому. Мертвому не повредить уж, а живого погубишь».

Она потом так сделала — и муж как ни с чего начал пить, так и перестал сразу. Стали они жить, как до того случая, — в общем, нормально.

Крестик крестиком. Это, конечно, дело особое. Но и на любой вещи, которая уже послужила кому-то, все остается и на других переходит. Никогда не подымай ничего чужого — поняла?

Как тебе моя история?

Да... История... Настоящая-то история — это другое совсем, о чем дачница со стороны слышала. Это — то, как бывший хозяйкин муж, узнав, что у единственного сына — доброго, хорошего мальчика — безнадежная шизофрения, запил совсем уж по-черному. Ну, когда боль такая — должен же быть кто-то виновным. А кто родил такого — тот и виноват! В последнюю ссору, ослепнув от ярости, запустил в нее, что под руку попало. А попались, на грех, ножницы — и нет глаза. И мужа нет с тех пор: больше не могла выносить. Стала одна растить и выхаживать своего сыночка: при обострении устраивала в больницу, при временной ремиссии — домой забирала. Потом на ощупь подобрала препараты, приноровилась сама снимать приступы и так держала при себе долгое время. Жили с ним в основном здесь, в родительском доме, хорошо жили, мирно. А тут подросли все эти перемены в стране — и то испытанное лекарство из продажи исчезло. Советовалась с врачами, замены пробовала — ничто так не помогало. Больницы боялся хуже смерти — да и сам любого бы уничтожил, кто попытается туда его. Зимой, когда жили в городе, спал под дверью в прихожей с топором в обнимку. А потом ухитрился уйти из дома — и пропал. Подала в розыск. Кто-то из знакомых видел его на рынке, таскающего с бомжами ящики. А потом в теплом подвале милиция нашла уже только давнишний труп. Опознала. Похоронила. Все позади. Бывший муж другой семьи не завел, опустил, в конце одинокой жизни долго болел. Она на него зла давно не держала, жалела, лекарства нужные доставала по своим связям. Теперь-то уж и его нет.

— То-то, что задумалась! — восклицает, гордая впечатлением от своего рассказа. И тут же снова вскипает, опасно багровея: — А этот идиот — тащит и тащит все подряд, и все ко мне в дом! Мало, что помойка — так еще и это... ну... эпидемия целая! Слушай, да завари ты свежий! Что, там уже грибы выросли? — ну, вытряхни куда, я бы тоже выпила покрепче. А плевать, что вредно. А еще лучше — давай тятнем понемножку водочки, а? У меня там вроде оставалось, в сенях. Поди взгляни-ка, — почти просительно.

Почему бы нет? Может, утешится — и жильца не прогонит, и жизнь ее покатится дальше хоть не хуже, чем есть.

Впереди длинный летний день: и погулять, и почитать — все успеется, можно и еще посидеть со старухой. Только к его приходу надо бы убраться, пусть они все это тут без меня, — прикидывает дачница.

Пока закипает чайник, остатки разливаются на доньшки шербатов чашек, по такому случаю можно и черный хлеб, он посыпается крупной солью — классика! Есть

и всякая трава огородная — чего еще хотеть от жизни? А за окном веранды — черемуха осыпает терпкие ягоды, в тени под ветвями будто пролиты чернила. Безнаказанно гуляют чужие коты, просунулась сквозь изгородь соседская курица. Виден отсюда и рукомойник, аккуратно прибитый жильцом к столбу, а также часть вымощенной им дорожки к уборной. Видна чиненная им, а дождями и ветрами посеребренная деревянная лавка... Вообще-то старик он хозяйственный, а не только что — помойный собиратель. Просто у него случая не сложилось проявить такие свои наклонности — всю жизнь по лагерям, ссылкам. Сам из прибалтов, молчалив, по здешнему обыкновению, непривычно опрятен. Как-то сюда занесло — своего ничего нет. Прибился вот, чтоб дом сторожить и вздорной старухе помогать в хозяйстве. А что до того, что она запретила... чем ей мешает?! А ведь были дома, были хозяйства, были семьи... Теперь все это — только его. Он положит руку на чайник — и чувствует, как греется в нем вода для семейного чаепития. Положит на кастрюлю — варится суп на семью. Все это он приведет для нее в порядок: отчистит, починит. Она еще порадуется, дурища, и прощения попросит, что орала и гнала со всем этим прочь.

«Им не понять друг друга, у каждого своя глубина и свое мелководье, — думает дачница, — да и старик только притягивает рациональное объяснение. Страсть его вне разума: утоление голода при помощи жевательной резинки. Страсть-потребность «пригреть» вещь, иррационально продлить ее существование: ведь ее сиротство — это и его тоска».

Водочка разлита в чашки, чайник вскипел, и настаивается свежий ароматный чай. На клеенке с почти стертым рисунком — такое все немудрящее, что и называть не стоит. Но все в тему, все в масть...

— Скажи, а ты загадочные истории любишь? Я всегда ужасно любила всякое такое. И — хошь верь, хошь нет — а со мной и вправду много чудесного происходило. Может, оттого, что рядом убогий был. Добрые силы убогим помогают, а как для них сделать что-то, чтоб ничего было и не приметить?! Но это я тебе в другой раз, если любопытно. А сейчас выпьем-ка за силы, что в помощь старым, убогим, дурным да одиноким. Я в книжке читала, что церковь такую мою веру не признает, считает, все это — мистика и суеверие.

Покачала головой упрямо, несогласно. Выпила.

Опять так энергично подалась вперед, что стол качнулся. Пригнула голову и заглядывает снизу в лицо цепким птичьим глазом.

— А ты веришь, что оно есть? Веришь, а? Вот я тебе сейчас другое расскажу — что вчера с соседкой моей случилось. Сидела я на той вон лавке, мимо шла нормальная такая пожилая женщина и спрашивает через забор, не продает ли кто здесь козу. Я знала, что соседка хотела, — послала к ней. Вечером прибегает соседка ко мне — мы так, дружим — и рассказывает. Заходит, значит, к ней та пожилая женщина и торгует у нее козочку. Она цену запросила скромную, а та предлагает, что дала б и больше, да и мешок сахара по дешевой цене и «левого» корма в придачу — только хочет за это получить еще и козленка. Соседка, смущенная такими посулами, согласилась. Тогда та женщина точно назначает, что завтра в одиннадцать приедет на машине, все привезет, а козочку и козленка заберет. А в самом конце, будто особую симпатию почувствовала, дает бумажку с непонятными буквами и говорит: в случае если беда какая, прибей эту бумажку к своему порогу семью гвоздями. А пока сговаривались, все гладила козочку, гладила... Через два часа пошла соседка в сарай, а та козочка — мертвая! В слезах прибежала ко мне советоваться, не прибить ли ей ту самую бумажку к своему порогу. Ну, тут уж я на нее надела — ты мой характер знаешь. Ору на нее:

дура!!! Сейчас же сожги эту гадость! Она еще не сразу, сомневалась. Ох, я и разозлилась! Так на нее орала! Сожгли все же. Козочку велела ей закопать незаметно и ничего никому не рассказывать. А если та вдруг появится — сказать, что продавать передумали. Ну, конечно, никто и не приезжал.

— Ничего не понимаю. Зачем было губить животное? Какая корысть ей? Ведь не своровала, не продала негодное, ничего такого.

— А-а-а, милая моя! В том-то весь и фокус! — и физиономия хитрющая, страшно довольна своей пронизательностью. — А ты не знаешь?! Есть такие люди, что *обрежены* делать злое. Думаешь, только добро может быть бескорыстным? Как же! Зло тоже бескорыстным бывает, и такое-то оно самое страшное — что ты ему напротив выставишь? Давай допьем это, чтоб у злого мощи было хоть на чуть-чуть поменьше, чем у доброго.

С чувством выпили.

— Теть Каша, а как думаете — что бы случилось, если б соседка ту бумажку все же прибила к своему порогу?

— Да что угодно! Зло не прервалось бы, а пошло вязать свою цепочку. Могли в том доме и люди заболеть, если не хуже чего, да мало ли... Всякую беду даже и не представишь — она нас придумчивее.

И то верно.

«Откуда?! — вскользь удивляется дачница своему наблюдению. — Живой пример стихийного манихейства! А уверена как — не поколеблешь! Ограниченность? Опыт житейский? Архаическое сознание? Кстати, у той, у «бескорыстной проводницы зла», почему вдруг именно те самые сакральные «семь гвоздей»?

— Спасибо за все, тетя Каш, — со всей искренностью произносит вслух, — очень интересно было, правда!

— Ну, и слава богу, коль так. Иди гуляй, заняла у тебя старуха полдня. А тебе и так не долго на отдыхе-то.

— А вы не волнуйтесь так... из-за того, ладно?

— Да устала я волноваться. Чего там! Иди.

СЫН

В кривой избушке, сварливо отвернувшейся от всего рода человеческого и сонма разнообразной лесной нечисти, по углам, накапливая пыль, пухла паутина. Бревенчатые стены потемнели и осклизли от тысячелетней сырости и копоти очага. Запахи стояли такие, что если бы тут вдруг потянуло человеческим духом — ну, как, например, знойным днем в набитом автобусе или в спортивном зале после тяжелой тренировки, — то это могло кому-нибудь показаться «ароматом зимней свежести». Но от аромата мерзкой этой свежести хозяйку избушки знобило. Впрочем, как и от духа человеческого, если он не был связан с насыщением. Когда-то она делала-таки исключение для свеженьких мальчиков, воруя их, как лиса кур, из окрестных жилищ. Но те сытные времена давно прошли: деревни в округе опустели и без ее помощи.

Давно уж питалась хозяйка избушки леший его знает чем, поскольку чем Бог послал, понятно, не была сподоблена. Вот и приходилось пробавляться таким, что не

приведи Господи! Ладно бы, только всякими корешками болотными, так ведь не кикимора же она какая-нибудь травоядная! Другой раз, чтобы не захиреть вконец, приходилось и вороной полудохлой или крысой не побрезговать.

Зато и гостей теперь угощать не требовалось. В былые времена на сладкие запахи жаркого заносило соседей, кто по роли своей не вегетарианствовал. Сиживали — не жадничала, изо всех сил стараясь обаять их своей умильностью. Понимала: сквалыжничать — после сама ничего не допросишься, а в долгой жизни всякое случается. И очень хотелось ей тогда каждого на свою сторону затянуть, своим с потрохами сделать. Такой вот чудаческий зуд случался у нее от хмельной сытости. Всякие другие лесные жители, кого рядом в тот момент не оказывалось, начинали казаться ей помехой, отвлекающей гостей от нее самой. Жуткое они этим вызывали в ней раздражение — аж молоденькое мясо начинало отдавать козлиной горечью! С пьяной откровенностью (ведь как друг же!) предупреждала своих часто меняющихся сотрапезников о подстерегающих их кознях! Хитрющей себе тогда казалась — ой-ой-ой...

А гости ее дорогие возьми этими историями между собой и поделись. Им-то что ссориться, коли все оказались одним дерьмом мазаны! Друг перед дружкой отмылись и остались добрыми соседями, а ее избушке оставалось только плюнуть в сердцах под куриные свои ноги да повернуться к темному лесу передом, а ко всему остальному миру задом. Так вот сделалась она вынужденной затворницей. А здесь все обречены жить чуть ли не впритирку — в тесном мирке, который только в незапамятные времена мог представляться кому-то и необъятным, и таинственным, а теперь выродился в этакую вот трясиину. Где уж тут сохранить какую-то таинственность, при новых-то возможностях перемещения, всех этих новых технологиях! Вообще-то — вдруг осенило ее от длительного молчаливого одиночества — с новыми способами поддержания существования можно обойтись и без ворованных мальчиков, и без мерзости этой, которую приходилось жевать в последние времена.

И пронесся по лесу слух, что завелся у нее мальчик собственный. Как это могло получиться, никто не понимал. Особ мужского пола она даже в незапамятные времена дружеских обжираловок близко к себе не подпускала. И вот распространилось в лесу мнение, что сотворила она себе сыночка из себя самой: из жилочки своей желтой и жидкой кровушки, косточки своей кальцированной и морщинистой кожицы. Жилочку отбелила, кровушку выпарила, косточку размягчила, а кожицу разгладила и вышел мальчишечка на славу: сильный, белокожий, кудрявый, а под кудрями на том месте, где у других собственный опыт набирается, — там у него белый лист, где только ее письма и запечатлеваются. Уж его-то она ни с кем делить не намерена: собственный он ее на все времена, нескончаемая пища ненасытной ее утробе. Довольно мальчишек воровать да на разовое жаркое изводить. Еще неизвестно, как чужеродную пищу эту неюный организм ее воспримет. Иные времена — иные возможности. Чтобы поддерживать себя, достаточно извлекать жизненную силу в чистом виде из молодого и родственного тела. Тут уж точно никакой аллергии! Понемножку, понемножку, незаметненько...

Она на него не наглядится, она на него не нарадуется: «Единственный ты мой! Никого у меня нет, кроме тебя!» Еще бы! Конечно, нет! И такой удачный, такой сильный получился — ничего и не чувствует! Уж какой год одного его хватает на завтрак, обед и ужин. Лучшего и не надо.

Рацион оказался полезнейший! Поздоровела. Еще бы! Это после ворон-то и крыс — чистойшей молодая энергия без усилий на усвоение! Только скрывать приходилось, хвори фальшивые изображать, чтоб сделать симбиоз неприметней. С

виду все такая же, а под кожей сила молодая ходит, жизнь несокрушимая. Чувствует себя, как старый «запорожец», которому мотор от «мерседеса» поставили — энергию ну прямо девать некуда.

А сыночку все эти ее ахи самозабвенной материнской любовью чудятся. Никак не мужает он в блаженном своем неведении, а под кудрями одно только и записывает: что она единственная — душевное его прибежище, правда вся этого мира и вдали от нее нет для него жизни. И главная его уверенность, что бескорыстней ее любви на свете быть не может и в одной ее заскорузлой пятке больше ума, нежели в хорошенькой головке иной женщины.

Впрочем, по временам отпустить его все-таки приходилось, но ненадолго, чтоб не привыкал вольничать. Да и как проголодается, не могла уже назад не притягивать. Вроде наркоманки сделалась — без него настоящая ломка начиналась: страх, что не вернется, неустанная, мучительная, сосущая тревога. А и совсем не отпускать тоже нельзя. Что поделаешь — молодой, здоровый на радость ей и на сытость. Вот иногда в профилактических целях и гулял неподалеку. Да еще чтоб иллюзию свободы в нем поддерживать, а у окружающих отвести от себя всякое подозрение: вот, мол, может ведь он делать, что хочет, идти, куда потянет, да не везет ему с женщинами, и все тут! А она ему в одиночестве и всеобщем предательстве — всегдашняя безотказная опора.

А так как был сыночек произведен на свет, скорее всего, описанным странным способом, то перенял и известные особенности своей родительницы, если можно ее так назвать. В частности, умел перемещаться на большие расстояния безо всякой посторонней помощи. Генетически эта способность коренилась, понятно, в материнской метле. Но в процессе своего развития грубую телесность метелка утратила — и теперь городские умники, любящие поразглагольствовать о «сверхъестественном» (предполагается, что границы «естественного» им известны), эти сверхчувствования называли такие перемещения телепортациями.

Вот однажды в краткую отлучку из дома и занесло его в горы, откуда — правда, вдалеке — видно было уже и Белуху. Ту покрытую снегом вершину, где географически прописывают неуловимую Шамбалу. До нее, впрочем, было еще неблизко, а оказался сыночек на вытоптанной площади знойного городка около гастронома. Ничего романтического или лирического здесь не предвиделось, высокодуховного — тем более. В пыли сверкала битая стеклянная тара, вяло грызлись между собой до плоского состояния ссохшиеся собаки, глубокомысленно и увлеченно о чем-то своем совещались алкаши с раздутыми лиловыми лицами... Нечего здесь делать, лететь бы ему дальше.

Но в сторонке ото всего околোগастрономного люда робко стояла очень худая женщина без возраста. Лицо ее было прозрачно-бледным, кисти рук, прижатых к плоской груди, поражали восхитительной пластикой. Она стояла, вытянувшись в струнку, и неотрывно смотрела на магазинную дверь, которая постоянно открывалась, пропуская кого-нибудь внутрь или наружу. Вот когда дверь выпускала кого-нибудь, бескровное лицо женщины еще больше напрягалось, дистрофически-огромные глаза впивались в лица... Но те проходили мимо, и она вновь упорно вглядывалась в следующих. Ей необходимо было выпить, он это почувствовал, хотя и наивен был, лесной наш житель. То, что при этом она ничего общего не имела с сизыми приятелями, тронуло нашего залетного, и он подошел в женщине.

Сначала она ужасно застеснялась и, возможно, испугалась незнакомца. Но верх взяла неотвратимая нужда — и она созналась, что ей очень плохо и что ей сейчас может быть только одна помощь: хотя бы глоточек вина. Он взял ей бутылку местной бормотухи и был провожаем глазами всего социально заинтересованного насе-

ления городка, когда вместе с ней пошел куда-то с площади. Туда пошел, куда, преисполненная благодарности, она застенчиво, но настойчиво повела его. Отпив из бутылки, женщина немного ожила, какой-то намек на цвет появился в изможденном лице, она даже улыбнулась трогательной, беспомощной и беззубой улыбкой.

— Ты добрый человек, — сказала она — Ты на сегодня спас меня, и я кое-что тебе подарю.

— Не надо мне ничего! — бескорыстно смутился залетный.

— Не отказывайся, — с достоинством и даже обидой протестовала она, — думаешь, мне нечем тебя отблагодарить?

— Да нет, — опять неловко заспорил он, — это я так, провожу вот только, а то больно вы бледная.

Они миновали улицы, застроенные немислимо обшарпанными блочными четырехэтажками, и стали взбираться на круглую гору, сплошь заросшую по пояс вымаханной лебедой. Кое-где и кое-как в этой лебеде стояли деревянные домишки. Забравшись довольно высоко, они подошли к самому маленькому из них и открыли дверь, изнутри обитую рваным ватным одеялом. Сразу за дверью оказалось помещение, часть которого занимала непомерная для такого жилища печь. Кроме печи, здесь были только голый стол под единственным крохотным окошком да пара табуреток. Женщине от длительного подъема стало совсем темно, и она прилегла на сваленное под стеной тряпье. Наш путешественник пощупал ее пульс, тот был совсем слабым.

— Ничего, не волнуйся. Сейчас отлежусь, и все поправится, — успокоила его хозяйка. — Вот встану и принесу тебе мой подарок. Только на чердак надо слазить.

Чердаком она называла незашитое помещение под крышей, куда вела приставленная снаружи лестница.

Что-то зашебаршилось на печи, и, словно перевалившаяся через край опара, на пол плюхнулся одутловатый детина с сонными глазами. Никого не замечая, он подтянулся к столу и зажевал кусок хлеба, запивая простоквашей из обитой эмалью миски. От него потянуло кисловатым душком. Гость наш вырос тоже не в хоромах, но и его неудержимо повлекло наружу. Хозяйка чутко уловила это движение, поднялась с тихим вздохом и вышла за ним под палящее солнце.

— Он не злой, только дурак совсем, — ответила она на произнесенный вопрос, — куда ж его денешь?

Помолчала, глядя в землю. И вдруг подняла на гостя зажегшийся взгляд.

— У меня же еще один есть! Тот хороший. Рудольфом зовут.

Иноземное имя его она произносила мечтательно и вкусно, как имя Божье.

— Выучился. В другом городе живет, работает. У него все как надо, у моего Рудольфа. Такой хороший сын! Он, если кто едет к нам оттуда, всегда обязательно привет передаст, что помнит меня и что все у него хорошо: и работа, и заработки, и семья. Чтобы я зря за него не беспокоилась. Такой хороший, такой заботливый сын! Лучшего и пожелать нельзя.

Глаза ее продолжали светиться счастьем, кожа лица юно порозовела, худоба превратилась в изящную хрупкость — и она с молодой ловкостью взбежала по приставленной к стене лестнице, немного повозилась наверху и так же проворно спустилась, издали с радостной улыбкой протягивая ему медную нагрудную иконку.

— Я положу ее здесь. Тебе обязательно надо взять ее, я точно знаю. Она уберезит тебя от дурного. Только отдавать нам не положено, а ты будто бы украдешь ее. Ладно?

Залетный гость наш втроене смутился: какой еще подарок от этой прозрачной, истаявшей от жизни женщины! И как же может на свете быть такое, чтобы она

гимны слагала про великолепного своего Рудольфа? Она, совсем пропадая здесь, счастлива одним его благоденствием? Так не бывает!!! — обиженно заплакалось в его доселе не знавшем сомнений мозгу. И от чего такого дурного беречь меня надо? Со мной все нормально, я свободен, летаю вот тут — вам бы быть такими свободными! Гордыня вскипела в нем. Но что-то и защемило при этом, тоска какая-то неопределенная. Казалось, что сам доволен всем и радуешься — а кто-то тайно подсмотрел для тебя самого незаметное и плачет над тобой. Неуютно от этого, и раздражает ужасно, но и потянуться к тому плакальщику хочется — может, есть все-таки за что жалеть. А тот обнимет ласково и помощь предложит. Но как это — украсть, пусть даже и «будто бы»? Так — просто взять и уйти, и улететь в свои леса, и никогда больше не видеть этой женщины? Да она еще до конца его перелета растворится в этом сияющем воздухе. И кто тогда будет приносить хлеб и простоквашу ее бледному сыну? Уж не Рудольф же с его работой, заработком и семьей — тому некогда.

На камне поблескивала темно-медная квадратная с петелькой наверху иконка. Он подошел посмотреть и увидел совершенно стертое изображение Богоматери с младенцем, как и полагалось тому быть. Только ему, по лесному его житью и повсеместно разъевшему жизнь атеизму, до сих пор видеть такое не приводилось. И залюбовался теперь, как они — мама с дитем — без лиц и складок на одеждах, только тенями, только массажи своими навсегда прильнули друг к другу. Даже в носу зашипало, и еще сильнее захотелось, чтобы кто-то неведомый, где-то и почему-то оплакивающий его, обнял вот так же и, наперед зная все, что от этого претерпит, посвятил себя неистощимой и бескорыстной нежности.

Так глубоко задумался, что автоматически включил перемещение и опомнился, уже задевая ботинками знакомые северные чашкобы. «Чего не бывает на свете!» — подумал он уже спокойнее. Все же, приближаясь к автобусной остановке, поглубже в карман засунул неожиданный подарок. Безрадостный рабочий день наконец закончился — скоро предстояло привычно погрузиться в зыбучую трясину жилища, лежища, узилища.

Квартира помещалась в стандартном муравейникоподобном здании, привычно отмеченном по стенам лифтов и лестничных пролетов нечленораздельным воплем скудоумного отчаяния. Это был его дом, где тарелки мылись всегда только изнутри, и со временем на их днищах образовался отвратительно липкий коричневатый налет. Полы подметались скособоченной шваброй лишь на проходе, и день за днем в кухонном углу накапливался прикрытый ею пыльный войлок, пронизанный длинными седыми волосами, нитками и прочими случайными мусоринками быта. Недостигаемые углы и закуты помещений занимали окаменелые залежи старых чемоданов, коробок и узлов с чем-то, что «вдруг еще может пригодиться».

Вокруг дверных ручек и выключателей за долгое время попустительству образовались темные ореолы. Обои поверх своего первоначального рисунка обрели новый, сотканный из стремительных трещин, тягостных морщин в углах помещений, разъевших краску ядовитых потеков, стертостей до цементного основания на поворотах, летописи жирных пятен, дырок от упраздненных креплений и прочих следов многолетней обжитости.

Она властвовала над всем этим и с чувством удовлетворения отмечала, что «в доме все есть»: кухонные шкафы заставлены банками с прогорклыми крупами и трухой исходящими сухофруктами, в ароматных недрах которых откармливались личинки для массового вылета пыльно-серых мотыльков. Они были крупнее и темнее моли, жирующей в шкафах, душно завешанных стертими за жизнь одежка-

ми. Низы этих шкафов занимала свалка заскорузлой скособоченной обуви, в массе похожей на кучу засохших апельсиновых корок, которые как раз и кладут обычно «от моли» и выгребают из дальних углов, только вычищая квартиру при переезде.

Но отсюда никто сдвигаться не собирался! В прихожей на крюке висели сумки-кошелки с перетертыми ручками для обхода близлежащих магазинов — она никогда не была ленива, напротив, деятельна чрезвычайно. Обилие скарба наполняло ее ощущением достигнутого житейского благополучия, хозяйской крепости. Так спала она в своем доме с редким теперь выражением успокоенности на лице, вконец изможденном чрезмерными годами, обильными хворями и неутолимой тревогой.

Ну вот! Вот снова! Опять эти сволочи стучат в дверь! Уходите прочь! Прочь! Прочь! Надо быть осторожной — они хотят что-то очень плохое... А может быть, это пришли хорошие люди, и их надо впустить? Кто там? Кто там?! Кто там?! Почему они не отвечают? Затаились там и стучат, стучат, стучат... Когда же придет наконец сын и выпустит их?! Ее сын, единственное, что у нее есть. Где его черти носят, когда она все время одна! Она тут с ума должна сходить от тревоги, а его все нет и нет. Он хороший сын, он очень хороший. Но где же его, паразита, носит?! Не может же она знать, с какой стороны всовывать это одеяло!

Тоска какая. Ничего не понятно. Кто. Зачем. Почему. Где. Она должна все знать. Эти хотят чего-то очень плохого. Паразиты! Сволочи! Если это — хорошие люди, то их обязательно надо впустить. Дверь никак не открывается. Она ни в чем не виновата. Ни в чем не виновата. Зачем они говорят глупости! Ничего она не делала! Ни при чем она. Ни при чем...

Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ: от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)

Гоголек: веселый меланхолик

Его рождения ожидали как чуда. У Марии Ивановны Гоголь уже появлялись мертвые дети, поэтому она дала обет: если появится сын, назвать его в честь самого почитаемого русского святого Николы Угодника, имя которого носила церковь в соседней Диканьке. Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 20 марта (1 апреля) 1809 года, в его честь в диканьской церкви отслужили торжественный молебен.

Отец, потомок древнего украинского рода, помещик средней руки (у него было 200 крепостных душ), мелкий чиновник Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский умел хорошо рассказывать и мечтать, увлекался сочинительством и актерской игрой, хотя в том и другом был дилетантом. Талант Гоголь, вероятно, получил в наследство от него. Отец умер рано (1825), когда сын еще учился в гимназии.

Мать Гоголя, Мария Ивановна Косяровская, по преданию, первая красавица Полтавщины, была женщиной набожной и деятельной. На ней прежде всего держалась большая семья (у Гоголя был еще один, умерший ребенком, брат и четыре сестры, о которых он заботился до конца жизни). Она пережила сына на шестнадцать лет и умерла почти восьмидесятилетней. Обычно ее принимали не за мать, а за старшую сестру Гоголя.

Большую роль в судьбе семьи сыграл дальний родственник, богатый сосед, бывший министр Д. П. Трошинский. Отец служил у него секретарем. В специально отведенном им флигеле Гоголи проводили много времени.

Но в десять лет ребенок покинул теплый дом, где был всеобщим любимцем. В 1819 году Гоголь поступает в Полтавское уездное училище, а через два года — в только что открывшуюся Нежинскую гимназию. С этого времени начинается его постоянная кочевая жизнь, и это кочевье остановит только смерть.

* Окончание. Начало см.: «Нева». 2012. № 1–11.

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2-е изд. 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3-е изд. — 2010), «Книги XX века: Русский канон» (2001), «Двадцать книг XX века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа» (2010), а также школьных учебников «Литература XIX век» (2008, 5-е изд. — 2011) и «Литература XX век» (2009, 4-е изд. — 2011). Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт-Петербурге.

Гоголевская гимназия была не похожа на пушкинский привилегированный Царскосельский лицей или лермонтовский Благородный пансион при Московском университете. Даже классные журналы заполнялись с ошибками. Учитель русской словесности задержался где-то в XVIII веке. Он больше всего ценил Державина и Хераскова, а Пушкина презирал и не знал настолько, что правил его стихи, которые гимназисты в шутку подавали учителю, выдавая за свои.

Но и в такой гимназии Гоголь не преуспевал. Его оценки, в том числе по словесности, были посредственными. Не пользовался он большим авторитетом и у товарищей, предпочитая одиночество, за что получил прозвище Таинственный Карло. Зато гимназист любил театр, предпочитая исполнять женские роли; в «Недоросле» он успешно сыграл госпожу Простакову.

Стихи Гоголь пробовал писать еще в детстве, но это увлечение было преходящим. Для него, как и для многих юношей, были характерны мечты о высоком призвании и служении, однако они никак не связывались с литературой. «Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания, я пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. <...> Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом — быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. <...> Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага» (П. П. Косяровскому, 3 октября 1827 года).

С такими чувствами после окончания гимназии в декабре 1828 года честолюбивый юноша вместе с товарищем А. А. Данилевским отправился в столицу. Петербург, как и многим провинциалам, казался ему волшебным местом, землей обетованной, где живут совершенно особые люди. Друзья специально отправились в столицу по белорусской дороге, в объезд Москвы, чтобы не испортить впечатления от первой встречи. Увидев петербургские огни, они взволновались и, позабыв о морозе, высовывались из экипажа, чтобы получше рассмотреть город. В итоге Гоголь простудился, отморозил нос и вынужден был первые дни просидеть в снятой квартире.

Его отношение к Петербургу резко меняется. «По моем прибытии в столицу на меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недели сижу, поджавши руки, и ничего не делаю. <...> Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее и великолепнее. Жить здесь не совсем по-свински, т. е. иметь раз в день щи да кашу, несравненно дороже, нежели мы думали», — пожалуется он матери (М. И. Гоголь, 3 января 1829 года).

Позднее в повестях Гоголь превратит Петербург в город-гротеск, город-обман, где призрак срывает шинель со значительного лица, Нос становится важной персоной, маленький чиновник сходит с ума, талантливый художник гибнет, а фонари на Невском проспекте, кажется, зажигает сам дьявол.

Первые годы жизни в Петербурге Гоголя преследуют большие и малые неудачи.

Не сбывается мечта о знакомстве с великим Пушкиным. Позднее Гоголь с юмором рассказал пушкинскому биографу: «Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: “дома ли хозяин?”, услышал ответ слуги: “почивают!” Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: “Верно, всю ночь работал?” — “Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл”. Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесен-

ный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» (П. В. Анненков. «Материалы для биографии Пушкина», 1855).

Плохо складываются и собственные литературные дела. Публикацию под псевдонимом В. Алов написанной еще в гимназии поэмы «Ганц Кюхельгартен» критика встречает насмешками. Гоголь забирает книги у книгопродавцев и сжигает их.

Он пытается поступить на сцену — и снова терпит неудачу. Актеры Александринского театра отказали ему в таланте после первой же репетиции.

После неудачи с поэмой он вдруг решает отправиться в европейское путешествие, но столь же внезапно возвращается в Петербург. «Распрашивать, как и что, было бы напрасно, и таким образом обстоятельства, сопровождавшие фантастическое путешествие, как и многое в жизни Гоголя, остались <...> тайною» (П. А. Кулиш. «Записки о жизни Гоголя», 1856).

Мечты о высоком служении оборачиваются скромными обязанностями домашнего учителя в богатых семьях и скучной должностью помощника столоначальника в Департаменте уделов. Потом Гоголь в шутку признавался, что на службе научился лишь одному: шивать бумагу.

Гоголя спасают талант и воспоминания о родине, которые он преобразует в сказочный хронотоп, поэтический миф. В 1830 году в журнале «Отечественные записки» пока еще без подписи публикуется произведение с двойным заглавием и длинным подзаголовком: «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви». Повесть становится началом первой книги «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Ч. 1–2, 1831–1832).

Возвращение Гоголя в литературу в роли пасечника Рудого Панько стало триумфальным.

Книгу замечает сам Пушкин, но ссылается на еще больший авторитет. «Сейчас прочел “Вечера близ Диканьки”. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались “Вечера”, то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор <распорядитель работ> объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою» (А. С. Пушкин — А. Ф. Воейкову, конец августа 1831 года).

Рассмешить таких серьезных людей, как наборщики, было чрезвычайно трудно: ведь их интересовал не смысл, а правильное составление слов и предложений из отдельных букв. Редкое произведение могло заставить их забыть о работе и увлечься содержанием. Историю о смеющихся наборщиках, кстати, Пушкину подсказал сам Гоголь.

Благодаря «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Гоголь быстро входит в литературные и научные круги, знакомится с издателем и университетским профессором П. А. Плетневым, А. И. Дельвигом, В. А. Жуковским (который дает ему прозвище Гоголек и становится покровителем на много лет).

Наконец осуществилась и гоголевская мечта о знакомстве с Пушкиным. Оно состоялось на вечере у Плетнева 20 мая 1831 года и переросло в удивительный сюжет.

Пушкин и Гоголь были людьми разного социального круга и культурного положения. Родовитый аристократ, принятый при дворе (далеко не все знали о сложности пушкинских отношений с царем, но все знали о существовании этих отношений), —

и никому не известный дворянин-провинциал, фактически — разночинец. Обще-признанный первый русский поэт — и автор талантливой, но всего-навсего одной книги. Петербургская квартира Пушкина занимала целый этаж — Гоголь ютился в двух комнатках на четвертом этаже доходного дома.

В отношениях с Пушкиным Гоголь вначале играет еще не написанную роль Хлестакова, который находится «с Пушкиным на дружеской ноге». «Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе. Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей!» — радостно сообщает он гимназическому товарищу (А. С. Данилевскому, 2 ноября 1831 года).

Биографы уточняют: Гоголь жил в Павловске в роли домашнего учителя, в Царское Село ходил пешком и мог лишь изредка видеть Пушкина. Их знакомство поначалу было настолько далеким, что Гоголь путает в письме поэту имя пушкинской жены. Тем не менее он дважды предлагает матери оригинальный адрес: «Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так: Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н. В. Гоголю». Пушкин был удивлен допущенной бестактностью. Гоголю пришлось извиняться.

Однако эти неловкости и неточности не могли отменить главного. Для Гоголя Пушкин играет роль, которую сам поэт приписывал Державину: «Старик Державин нас заметил / И, в гроб сходя, благословил». Пушкин замечает новый талант и поддерживает его, хотя мог узнать из ранних статей Белинского, что с Гоголем как «поэтом действительности» связано будущее русской литературы, а вот Пушкин «уже свершил круг своей художественной деятельности».

Интересы литературы были для Пушкина выше бестактностей несветского человека, творческой зависти и ревности. Хотя пушкинский биограф приводит шуточную пушкинскую реплику, возможно, услышанную от Н. Н. Пушкиной: «В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: “С этим малороссом надо быть осторожнее: он обдирает меня так, что и кричать нельзя”».

В петербургской биографии Гоголя был и еще один «хлестаковский» эпизод, продолжающий поиски «душевного дела». По протекции Плетнева и Жуковского молодой писатель становится адъюнкт-профессором (помощником профессора) по кафедре истории. Гоголь прочел две блестящие лекции: первую и ту, на которую пришли Пушкин и Жуковский. Но другие лекции курса...

И. С. Тургенев, тогдашний студент, вспоминал: «Я был одним из слушателей Гоголя в 1835 году, когда он преподавал (!) историю в С.-Петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, — и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании наших лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор “Вечеров на хуторе близ Диканьки”. На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, — с совершенно убитой физиономией, — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. <...> Он был рожден для того,

чтоб быть наставником своих современников: но только не с кафедры» (И. С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания»).

Гоголь в свою очередь был недоволен «сонными слушателями» и после отставки написал историку М. П. Погодину: «Я расплевался с университетом, и через месяц опять беззаботный казак. Неузанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся, — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души» (28 марта 1836 года).

Из разнообразных гоголевских попыток и предприятий славу ему принесла только литература. 1831–1835 годы — самое продуктивное время гоголевского творчества. После «Вечеров...» выходят сборники «Миргород» (Ч. 1–2, 1835) и «Арабески» (Ч. 1–2, 1835), где появились петербургские повести «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». В 1836 году в пушкинском «Современнике» печатаются «Нос», «Коляска» и несколько критических статей и рецензий. Написана первая редакция комедии «Женитьба» (1835).

Но два главных гоголевских замысла сходятся опять-таки в коротком письме Пушкину: «Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. <...> Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию. <...> Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее черта» (7 октября 1835 года).

Работа над «Мертвыми душами», ставшими книгой гоголевской жизни, растянулась на много лет. А комедия из пяти актов «Ревизор» действительно была написана очень быстро. Уже в январе 1836 года Гоголь читает его у В. А. Жуковского.

19 апреля 1836 года в присутствии императорской семьи «Ревизор» был представлен в Александринском театре.

Это — одна из самых знаменитых и скандальных премьер в истории русского театра. Внезапно приехавший в театр Николай I, по воспоминаниям мемуаристов, много смеялся, произнес «историческую фразу»: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» — и велел смотреть комедию министрам. Послушный приказу министр финансов явился на следующее представление и удивился: «Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу!» Так же разделилась и публика: одни восхищались, другие возмущались, третьи недоумевали. Но это была совсем не та реакция, на которую рассчитывал автор.

«Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается. Я виделся вчера с Гоголем. Он имеет вид великого человека, преследуемого оскорбленным самолюбием», — оканчивает рассказ о премьеры «Ревизора» А. В. Никитенко (Дневник, 28 марта 1836 года).

Гоголь надеялся потрясти и исправить нравы, воспринимал свое произведение как *моральный урок, проповедь*. А публика видела в нем лишь *художественное произведение*, пусть даже замечательное.

Взаимное непонимание обернулось, как часто бывало у Гоголя, внезапным и таинственным бегством. В начале июня 1836 года он вместе с гимназическим товарищем А. А. Данилевским, с которым восемь лет назад смотрел из окон экипажа на долгожданный Петербург, уезжает за границу.

Перед отъездом он не смог попрощаться с Пушкиным, тем больнее было пришедшее через несколько месяцев известие о его гибели.

Пушкин лишь выделил Гоголя из круга молодых писателей, заметил его талант. Гоголь же, особенно после пушкинской смерти, превратил Пушкина в своего главно-

го учителя и наставника, создал легенду о Поэте, который вдохновлял и поддерживал каждый его шаг: подарил сюжеты (точнее сказать, темы) «Ревизора» и «Мертвых душ» (об этих подарках мы знаем только от самого Гоголя), слушал отдельные главы и откликался на них («Боже, как грустна Россия!), вообще переменял направление его творческой деятельности.

«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходиться в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезла бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно» («Авторская исповедь», 1847).

Пушкина и Гоголя объединил точный оксюморон.

В пушкинском очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» есть упоминание о приятеле, бывшем «великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости». Литературовед В. Э. Вацура доказывает, что под приятелем Пушкин имел в виду самого себя. Однако чаще определение «веселый меланхолик» применяли к Гоголю.

Уезжая за границу, где он проведет в общей сложности двенадцать лет из оставшихся ему шестнадцати, Гоголь еще не знал, насколько точна пушкинская формулировка: жизнь превратит его из веселого меланхолика в великого меланхолика.

Новый Гоголь: непонятый пророк

Первоначально Гоголь увлечен Европой. Начав, как и многие русские путешественники, с Парижа, он объехал многие европейские города, нигде не задерживаясь надолго. Он даже не чужд простых туристских забав (ведь ему всего 27 лет). Оказавшись в швейцарском городке со старинным замком, которому Д. Байрон посвятил поэму «Шильонский узник», переведенную на русский язык В. А. Жуковским, Гоголь так описал свое времяпрепровождение: «Сначала было мне в Веве несколько скучно, потом я привык. На прогулках колотил палкою бегавших по сторонам ящериц, нацарапал даже свое имя русскими буквами в Шильонском подземелье, не посмел подписать его под двумя славными именами творца и переводчика “Шильонского узника” <Байрона и Жуковского>, впрочем, не было даже и места. Под ними расписался какой-то Бурнашев. Внизу последней колонны, которая в тени, когда-нибудь русский путешественник разберет мое птичье имя, если не сядет на него англичанин» (В. А. Жуковскому, 12 ноября 1836 года).

В конце концов Гоголь обосновался в Риме. «Удивительная весна! Гляжу, не наглядяюсь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нет у нас. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было

втянуть в себя как можно побольше благоволия и весны», — обращается он к бывшей ученице (М. П. Балабиной, апрель 1838 года). Повесть «Нос» уже написана. Гоголь как будто хочет перевоплотиться в своего странного героя и сопровождает письмо не менее оригинальной датой: «год 2588 от основания города».

Однако азарт путешественника скоро проходит. Окружающая жизнь почти не отражается в гоголевских творениях. За все годы заграничной жизни о ней Гоголь написал лишь небольшой «отрывок» (авторское обозначение жанра) «Рим». Он резко ограничивает круг знакомых, почти не общается с иностранцами, все глубже погружаясь в работу над «Мертвыми душами». Свой труд он рассматривает как добровольно взятый на себя долг перед Россией и перед памятью Пушкина. «Я должен продолжать мною начатой большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин, которого мысль есть его создание и которой обратился для меня с этих пор в священное завещание» (В. А. Жуковскому, 6 (18) апреля 1837 года).

Работа, однако, идет медленно. Гоголь не имеет ни наследства, ни постоянного литературного заработка. Ему не хватает средств даже на самую скромную жизнь. В том же письме Жуковскому он просит обратиться за помощью к императору Николаю I. «Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтоб она была долговечна; а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду...

...Я думал, думал и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к государю. Он милостив; мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал к моему «Ревизору». Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим предстателем, вручите! Если же оно написано не так, как следует, то — он милостив, он извинит бедному своему подданному. Скажите, что я невежа, не знающий, как писать к его высокой особе, но что я исполнен весь такой любви к нему, какую может быть исполнен один только русский подданный, и что осмелился потому только беспокоить его просьбою, что знал, что мы все ему дороги, как дети».

«Вспоможение» было получено, и работа продолжилась. Осенью 1841 года Гоголь возвращается в Россию (это был второй его приезд на родину) с готовым первым томом «Мертвых душ». Весной 1842 года книга выходит в Петербурге под измененным цензурой заглавием «Похождения Чичикова, или Мертвые души» и без запрещенной «Повести о капитане Копейкине» (позднее Гоголь был вынужден переработать ее). Большую роль в публикации сыграл В. Г. Белинский, давний поклонник Гоголя. Гоголь тайно от своих московских друзей отправил ему рукопись в Петербург.

Полемика вокруг гоголевской поэмы превзошла страсти по «Ревизору». Бурный восторг читателей сопровождался яростной руганью недоброжелателей. «“Мертвые Души” потрясли всю Россию, — скажет позднее А. И. Герцен в написанной для французских читателей книге с характерным названием «О развитии революционных идей в России». — Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который испускает человек, униженный от пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо».

Известный граф Ф. И. Толстой-Американец, прототип грибоедовского Загорецкого, видимо, испытал сходное чувство, но оценил труд Гоголя по-иному: он публично утверждал, что Гоголь — враг России и его нужно в кандалах отправить в Сибирь.

Однако Гоголь отправился в противоположную сторону, снова за границу продолжать свое одинокое душевное дело. На первый том «Мертвых душ» — чуть более двухсот страниц — ушло около семи лет. Время окончания второго тома терялось где-то в тумане будущего. Все очевиднее «Мертвые души» воспринимаются Гоголем

не просто как художественное произведение, а как книга жизни, едва ли не новое Евангелие, которое должно изменить и Россию, и человечество, и его самого.

«Ты спрашиваешь, пишутся ли “Мертвые души”. И пишутся, и не пишутся, — отвечает он на вопрос Н. М. Языкова, ставшим в эти годы близким ему человеком. — Пишутся слишком медленно и не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть, и притом так самый предмет и дело связаны с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед, — идет и сочинение; я остановился, — не идет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, непохожим на вседневные, и чтение таких книг, над которыми воспитывается человек» (Н. М. Языкову, 14 июля 1844 года).

Таковыми книгами для Гоголя все чаще становятся религиозные сочинения, которые писатель настоятельно рекомендует, даже навязывает своим друзьям и знакомым. Странная, конфузная ситуация, напоминающая историю с адресом Пушкина, возникает у Гоголя со старым писателем С. Т. Аксаковым (с его семейством Гоголь сближается в годы работы над «Мертвыми душами», в его доме часто живет в Москве).

Гоголь таинственно сообщил, что отправляет Аксакову «средство от душевных тревог, посылаемое в виде подарка». Аксаков увидел в этом намек на долгожданный второй том «Мертвых душ», но средство оказалось известной книгой средневекового богослова Фомы Кемпийского «О подражании Христу», которую Гоголь строго наставлял читать «немедленно после чаю или кофею» и предаваться размышлениям о прочитанном.

Удивленный и возмущенный Аксаков ответил Гоголю лишь через три месяца. «Мне пятьдесят три года, я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. <...> Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренны; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, насильно, не зная моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... и смешно и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма, а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов; ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника» (С. Т. Аксаков — Н.В. Гоголю, 17 апреля 1844 года).

Однако новые убеждения Гоголя не могли развеять никакие предупреждения. В 1845 году он сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». А в 1847 году выпускает книгу «Выбранные места из переписки с друзьями».

Позабыв, оставив в стороне искусство художника, Гоголь обратился к современникам с прямым публицистическим словом. Тематика книги широка. Гоголь рассуждает об обязанностях помещика по отношению к крепостным крестьянам, роли женщины в семье и губернаторши в обществе, нравственном значении болезней, церкви, Карамзине и Пушкине, историческом живописце Иванове, сельском суде и празднике Пасхи. Он призывает «возлюбить Россию» и «проездить» по ней. Он презрительно отзываясь о многих европейских общественных институтах: светском образовании, судебной системе, формальном равенстве граждан перед законом. Этому он противопоставляет истинно русские ценности: аскетизм и самоотречение, нравственное единство, вершиной которого является христианство, религиозная вера.

«Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши домой, он заснет, как убитый, богатырским сном. <...> Народ наш не глуп, что бежит, как от чёрта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых» («Русский помещик»).

«Во имя Бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем» («Занимающему важное место»).

«Служить же теперь должен из нас всяк не так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос...» («Страхи и ужасы России»).

«Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва — и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» («Близорукому приятелю»).

Без Бога, оказывается, невозможно ни служить, ни работать, ни читать книги, ни понимать историю!

Гоголевское самоуничижение (книга открывалась «Завещанием», в котором писатель призывал не ставить ему памятника, не оплакивать его и утверждал, что в его сочинениях больше того, что надо осуждать, а не того, что заслуживает похвалы) оборачивалось грандиозным самомнением: писатель выступал как некий апостол, пророк, с высоты обретенного религиозного знания разрешающий любые мучительные земные вопросы. Гоголь упоминает об исторических проблемах России: голодающих целых губерниях, «язве роскоши», лихоимстве чиновников. «Соотечественники! страшно!..» — восклицает он в «Завещании».

Но в его воображаемой, утопической России все проблемы разрешаются одним и тем же путем, невозможным в других странах. «Есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, <...> еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе... <...> Ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресенья Христова: воспряднуется прежде у нас, чем у других» («Светлое воскресенье»).

Идеологические схватки вокруг «Выбранных мест...» далеко превзошли толки о «Ревизоре» и споры о «Мертвых душах». Людей, не принимающих идей Гоголя, возмущенных ими, оказалось много больше, чем его поклонников и соратников. Писатель был удивлен и обескуражен. «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть всё свое неряшество и меньше грешить вперед», — признается он В. А. Жуковскому, вспомнив одного из главных своих персонажей (6 марта 1847 года).

Особенно важным, заметным, весомым оказалось слово В. Г. Белинского. Критик когда-то поддержал первые вещи Гоголя, объявил его «поэтом действительности», главой натуральной школы, помогал Гоголю в издании «Мертвых душ» и написал о поэме большую статью. «Выбранные места...» потрясли Неистового Виссариона (та-

кое прозвище было у Белинского среди друзей) и вызвали знаменитое «Письмо к Гоголю» (15 июня 1847 года), которое умирающий от чахотки Белинский написал, находясь на лечении за границей. Услышавший письмо в авторском чтении А. И. Герцен заметил: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» (П. В. Анненков. «Литературные воспоминания»).

Послание, конечно, было адресовано не только автору книги. Это было *открытое письмо*, в котором критик, не оглядываясь на цензуру и литературные приличия, изложил свой взгляд на затронутые Гоголем мучительные русские вопросы.

В книге Гоголя Белинский увидел не моральный урок, а неискренность, боязнь смерти, желание подольститься к власти, но главное — непонимание стоящих перед страной проблем и способов их решения. В ответ на гоголевскую проповедь самосовершенствования и утопию единства помещика и крепостного мужика, народа и царя Белинский выдвигал свою общественную программу: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». В конце письма Белинский добавлял: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

Даже в резкой полемике критик четко обозначает дистанцию между собой и Гоголем: «...дело идет... о предмете, который гораздо выше *не только меня, но даже и Вас*». Он по-прежнему ценит Гоголя как замечательного писателя, а не религиозного мыслителя: «Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге».

Потрясение писателя тоже было велико. Он смог написать только через два месяца (первый вариант письма был уничтожен, от него сохранились лишь фрагменты): «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, всё во мне потрясено. Могу сказать, что не осталось чувствительных струн, которым не было бы нанесено поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. <...> Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. <...> Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать всё то, что ни есть в ней теперь».

В конце этого растерянного ответа возникает гоголевское прозрение, с которым, вероятно, согласился бы и Белинский: «Мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбросались» (Н. В. Гоголь — В. Г. Белинскому, 10 августа 1847 года).

Через год Белинский умер. Письмо к Гоголю было опубликовано в России лишь в 1906 году, до этого чтение его считалось преступлением. Достоевский был приговорен к расстрелу фактически за то, что публично читал это письмо на собрании Петрашевского.

Диалог Белинского и Гоголя был продолжением *великого спора* о судьбе и историческом пути России, который начали Чаадаев и Пушкин, продолжили западники и славянофилы, люди 40-х годов и нигилисты-шестидесятники, народники и большевики. Эти мучительные русские вопросы наследовали и XX век, и даже век XXI.

А жизненный ответ Гоголя был снова неожиданным. Вместо возвращения к художественному творчеству, чего ожидал от него не только Белинский, он еще более «усредоточился в себе».

Над вторым томом «Мертвых душ» Гоголь работает очень медленно, по инерции, изредка читая главы немногочисленным друзьям. Все его мысли занимают религиозные вопросы. Из непонятого пророка он превращается в неистового подвижника, аскета, светского монаха. Он тщательно соблюдает все религиозные обряды, постится, читает душеполезные книги.

В начале 1848 года Гоголь отправляется в Иерусалим. Но и путешествие к Гробу Господню лишь ненадолго воодушевило его, а вскоре принесло дополнительные страдания. Реальность уступала том образу, который писатель создал в своем воображении. Гоголь ощутил себя недостойным христианином.

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика *черствость* моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому, 28 февраля 1850 года).

В апреле 1848 года Гоголь возвращается в Россию и кочует по стране: ездит на родину, живет в Одессе и Петербурге, но больше всего — в Москве.

Те, кто встречался с Гоголем в последние годы, видели изможденного, уставшего человека, тем не менее продолжавшего упорно работать над книгой, словно выполнявшего некий обет. «Не могу понять, что со мною делается. От преклонного ли возраста, действующего в нас вяло и лениво, от изнурительного ли болезненного состояния, от климата ли, производящего его, но я просто не успеваю ничего делать. Время летит так, как еще никогда не помню. Встаю рано, с утра принимаюсь за перо, никого к себе не впускаю, откладываю на сторону все прочие дела, даже письма к людям близким, — и при всем том так немного из меня выходит строк! Кажется, просидел за работой не больше как час, смотрю на часы, — уже время обедать. Нечего даже пройтись и прогуляться... Конец делу еще не скоро, т. е. разумею конец «Мертвых душ»» (Н. В. Гоголь — П. А. Плетневу, 21 января 1850 года).

В 1850 году он делает предложение знатной даме А. М. Виельгорской, но получает отказ. Это единственная известная гоголевская попытка найти семейное счастье.

В январе 1852 года умирает другая женщина, сестра поэта Н. М. Языкова, с которой Гоголь испытывал духовную близость. «На панихиде он сказал: “Все для меня кончено!” С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве» (А. С. Хомяков — А. Н. Попову, февраль 1852 года).

В это же время Гоголь встречается со своим духовником, священником Матвеем Константиновским, имевшим на него в последние годы огромное влияние. Содержание их разговоров точно неизвестно, но вскоре наступила развязка.

7 февраля Гоголь исповедуется и причащается. В ночь с 11 на 12 февраля он сжигает рукопись «Мертвых душ», в слезах признаваясь знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, — вот он к чему меня подвинул!»

Когда-то Гоголь сжег первую поэму. Это была драма, но у юного сочинителя все еще было впереди. Сожжение «Мертвых душ» стало трагедией. Умирающий великий писатель признавался в поражении: вторая, положительная, книга не удалась. Читатели не могут подтвердить или опровергнуть эту точку зрения: остались лишь ранние варианты пяти первых глав.

Через десять дней, 21 февраля 1852 года, великий меланхолик умер, согласно диагнозу, в том числе и от приступов меланхолии.

В описи гоголевского имущества, сделанной после смерти, значатся два сюртука, трое брюк, четыре галстука, три носовых платка. Чаше всего в применении к этим вещам повторялось слово «старый». Оценили этот жалкий скарб в 43 рубля 88 копеек серебром. Единственной драгоценностью были золотые часы, когда-то подаренные Пушкиным. Ценность главного гоголевского наследия — великих книг — обнаружилась только со временем.

Гоголя похоронили на кладбище Данилова монастыря. Много позже, в 1931 году, могилу перенесли на Новодевичье кладбище. На надгробной плите были вырезаны слова пророка Иеремии: «Горьким моим словом посмеюся».

Потом на могиле поставили памятник, а прежний камень, напоминающий своими очертаниями Голгофу, оказался выброшенным, никому не нужным. Его выкупила Е. С. Булгакова и положила на могилу мужа.

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью», — воскликнул в трудную минуту жизни автор «Мастера и Маргариты». Голгофа соединила Гоголя с одним из его замечательных учеников и наследников.

МЕРТВЫЕ ДУШИ (1842)

Поэма: Гомер, Данте, Сервантес и Чичиков

Исследователи подсчитали: над «Мертвыми душами», включая и сожженный второй том, Гоголь работал около семнадцати лет из тех двадцати трех, которые он посвятил литературе. Поэма стала *книгой жизни*, заветным трудом, произведением, которое все время выросло в своем значении. Как и «Ревизор», «Мертвые души» приобрели в сознании писателя грандиозный, исключительный смысл.

Гоголь постоянно подчеркивал масштаб своего замысла. Уже в начале работы, причем в письме А. С. Пушкину, Гоголь гордо заявит: «Мне хочется в этом романе *показать хотя с одного боку всю Русь*» (А. С. Пушкину. 7 октября 1835 года).

Через год в письме другому петербургскому покровителю замысел расширится: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! *Вся Русь явится в нем!* Это будет первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя (В. А. Жуковскому, 12 ноября н. ст. 1836 года).

Этот огромный и оригинальный сюжет (точнее было бы сказать: *фабулу*), как утверждал позднее сам Гоголь, подсказал ему старший товарищ: «Пушкин находил, что сюжет «Мертвых душ» хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров».

Однако, подарив идею, зерно, фабулу, писатель не может передать другому свое мировоззрение, эстетику, стиль. Некоторые литературоведы утверждают, что Пушкин как раз и отказался от этого замысла, потому что он был ему не нужен, чужд его художественному миру.

Но и Гоголь не сразу понял, что из этих поездок по России может получиться. Позднее, когда первый том был уже окончен, он вспоминал: «Я начал было писать, не определив себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самая охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то харак-

тер? что должно выразить собою такое-то явление? <...> Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость...» («Авторская исповедь»).

«Мертвые души», следовательно, начинались как *плутовской роман* (не случайно Гоголь какое-то время говорит о них как о романе). Герой-плут Чичиков придумывает «смешной проект», исполняя его, встречается с множеством людей, что позволит автору изобразить «разнообразные лица и характеры» то в смешном, то в трогательном роде. След этого замысла остался в первом издании, на обложке которого стоит двойной заголовок: «Похождения Чичикова, или Мертвые души».

Похождения героя-плута — привычный жанр европейской литературы. Однако, как правило, он был познавательным и развлекательным, не отвечая на главные жизненные вопросы: *зачем? к чему это?* Поэтому Гоголь продолжал поиски жанра. В набросках «Учебной книги словесности для юношества», написанных уже после издания первого тома «Мертвых душ», между жанрами *эпопеи*, изображающей «*всю эпоху времени*», «*весь народ, а часто и многие народы*», и *романа*, заключающего в себе «*строго и умно обдуманную завязку*», которая должна показать «*не всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни*», Гоголь самостоятельно обнаруживает *меньший род эпопеи*, составляющий «*как бы средину между романом и эпопеей*».

Героем малой эпопеи является «*хотя частное и невидное лицо, но, однако же, значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой*».

Однако герой важен не сам по себе. «Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени...»

Но и такая картина времени не является конечной целью автора. Его главная задача — «*привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего*».

Особо отмечено еще одно свойство малых эпопей: «Многие из них хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим». В качестве жанрового примера Гоголь приводит «Дон Кихота» М. де Сервантеса.

Герой как *гастный геловек*, за которым встает картина времени, данная в *поэтическом освещении* и предполагающая живой *моральный урок*, — таковы признаки меньшего рода эпопеи, которая прекрасно подходит к «Мертвым душам».

Поэма — еще одно авторское обозначение этого жанра, связывающее его с эпическими поэмами древности, прежде всего с Гомером, которого Гоголь называет в «Учебной книге для юношества».

Но все же отнесение к данному жанру романа Сервантеса и, главное, особенности структуры, строения «Мертвых душ» позволяют отделить гоголевское создание от поэм-эпопей и сблизить его с главным жанром нового времени.

«Мертвые души» — оригинальный, необычный *роман*. Индивидуально-авторский подзаголовок лишь подчеркивает его своеобразие: *большую, чем это было принято в романе, активность автора-творца*. Такие жанровые изобретения, как мы помним, характерны для раннего русского реализма. *Поэме в прозе* предшествовали пушкинский *роман в стихах* и лермонтовский *роман в новеллах*.

Логика гоголевского замысла (он собирался написать три тома «Мертвых душ») напоминает еще об одном создателе поэмы-комедии, которую потомки назвали «божественной». Поэма Данте состоит из трех частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай». Сопровождаемый Вергилием в загробном мире Автор идет от мрака к свету, преображению, воскресению.

По этим ступеням (кстати, характерным не для православия, а для католичества: в православной традиции образ чистилища отсутствует) Гоголь хотел провести некоторых своих героев в их земной жизни.

Писатель мечтал показать *всю Русь*, но все-таки он успел показать ее только с *одного боку*. Замыслы будущих «Чистилища» и «Рая» лишь частично, отдельными элементами отразились в сложной структуре первого тома «Мертвых душ» (о чем мы еще поговорим).

«Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью...» — скажет Пушкин о смелости Данте, Шекспира, Гёте (Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям»). Такую же смелость изобретения проявил Гоголь, в конце концов создавший уникальный, штучный жанр.

Таким образом, у колыбели гоголевского романа-поэмы сошлись Гомер, Данте, авторы плутовских романов, Пушкин, безымянные создатели былин и дум, лирических песен, пословиц и причудливых слов.

Любопытно, что на обложке первого издания, сделанной по рисунку самого Гоголя, жанровое обозначение *поэма* было написано крупнее, чем имя автора и заглавие, то есть выдвинуто на первый план, предъявлено как формула жанра.

«Смешной проект», история заурядного плута в конце концов превратилась в *поэму о России*, ее прошлом и будущем, ее безотрадном настоящем и потенциальных возможностях.

Первая страница: образ целого

«В одном мгновенье видеть вечность...» — написал английский поэт-романтик У. Блейк. Особенности художественного мира настоящего писателя можно увидеть в какой-то части, одном элементе целого. Известный литературовед и рассказчик И. Л. Андроников написал статью «Одна страница», остроумно обнаружив уже в первых фразах «Мертвых душ» почти все мотивы гоголевской поэмы.

Прочитаем вслед за Андрониковым и вместе с ним первые страницы «Мертвых душ». Здесь, в самом начале экспозиции, уже дан образ целого, представлены основные структурные элементы гоголевской книги.

«В ворота гостиницы губернского города NN. въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод».

Первая фраза любого произведения не только представляет героев, обозначает место и время, но и задает ритмическую структуру повествования.

Гоголевская фраза синтаксически сложна и в то же время поэтически напевна, эмоционально выразительна. Бытовые детали и поэтический ритм образуют мнимое противоречие, контрапункт, который станет основой романа-поэмы.

В первых двух предложениях сконцентрировано многое. Обозначен губернский город, основное, наряду с помещичьими именами и дорогой, место действия «Мертвых душ». Появляется знаменитая бричка, которая пронесется через весь роман, на последней странице превратившись в поэтическую птицу-тройку. Дана характеристика главного героя, его ускользающей сущности, связанной не с положительными, а с отрицательными определениями, повторяющимися трижды. Представив первоначальный портрет, повествователь не торопится назвать имя. Мы

узнаем его лишь через три страницы, вместе с трактирным слугой, который несет «лоскуток бумажки» для регистрации. «Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию, для сообщения, куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям».

«Персонажи Гоголя изумительно озаглавлены», — заметил когда-то Б. М. Эйхенбаум. Запинающаяся, подпрыгивающая, ускользающая фамилия героя навсегда срastается с ним, кажется первоначальной формулой его характера.

Первые две фразы «Мертвых душ» все-таки более понятны и привычны: как и положено в экспозиции, здесь представлены главный герой, место и время действия.

На далее начинаются сложности и странности. «Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой».

К чему здесь этот спор? И почему мужики названы русскими? Каких еще мужиков можно встретить в русской провинции? А зачем этот франт, описанный более подробно, чем господин средней руки? Ведь он мелькнул на мгновение и больше никогда не появятся в поэме?

Ответы на эти вопросы позволяют понять важные принципы построения «Мертвых душ». Во-первых, повествователь никуда не торопится, для него нет главного и второстепенного, он внимателен к подробностям бытия: главный герой, его слуги, мужики, этот безымянный франт заслуживают его внимания, описываются с пристальным интересом и хищным вниманием: изобретательно, вкусно, точно.

И. Л. Андроников замечает: «Одинаковый интерес <...> автор проявляет к явлениям разного масштаба и значимости. Поэтому равнозначными оказываются в изображении и господин в рессорной бричке, и тульская булавка с бронзовым пистолетом, коей заколота манишка губернского франта, и тараканы, и характер соседа, живущего за заставленной комодом дверью. Показанные в одном масштабе, они невольно вызывают улыбку» («Одна страница»).

Похожие наблюдения еще раньше Андрей Белый связывал с особенностями действия романа-поэмы: «Анализировать сюжет „Мертвых душ“ — значит: минуя фикцию фабулы, ощупывать мелочи, в себя вобравшие: и фабулу и сюжет <...> Сюжета вне подробностей в „Мертвых душах“ нет...» («Мастерство Гоголя»).

Итак, *равномасштабность описания* превращает *сюжет поэмы* не просто в историю Чичикова (это простая фабула), но в *антологию подробностей*, характеристик, замечаний и отступлений. Множество таких подробностей и характеристик наполняют роман с первой же страницы. Во второй главе Гоголь иронически обыгрывает эту особенность собственного повествования, говоря о слугах Чичикова: «Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже тре-

тьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но *автор любит трезвыгайно быть обстоятельным во всем* и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец».

Однако авторская обстоятельность коварна: она приобретает *преувелиженный, гиперболизеский характер*. Половой в трактире оказывается «живым и вертлявым до такой степени, что *даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо*». На его подносе «сидела такая же *бездна гайных гашек, как птиц на морском берегу*». У окна «помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что *на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с герною, как смоль, бороною*». Чичиков высморкался так, что «нос его *звугал, как труба*».

Подобные гоголевские подробности обычно называют *скрытым гротеском*. Они не просто изображают, но *преобразуют мир*, причем в комическом, ироническом, юмористическом ключе. Обратив на них внимание, мы чаще всего улыбаемся. Гоголь демонстрирует великое искусство оригинально видеть мир, находить неожиданные сравнения и метафоры — и учит этому видению читателя.

Но вернемся к двум русским мужикам. Их спор оказывается не случайным. Он не только конкретизирует место действия (город NN. находится ближе к Казани, а не к Москве), но и демонстрирует их профессиональную наблюдательность: бричку действительно придется чинить перед бегством Чичикова из города.

Однако почему мужики названы русскими? Вероятно, уже здесь намечается та всеобщность, универсальность гоголевского взгляда, превращающая роман в поэму. Гоголь смотрит на русскую жизнь будто бы издалека и со стороны и видит не просто конкретных людей, но — Русь в целом.

«Мужики на первой странице поэмы не только напутствуют чичиковскую бричку — они начинают в поэме *тему крестьянской Руси*. Молодой человек с тульской булавкой начинает *тему светского общества*, Чичиков со своей бричкой — *тему приобретательства и помещицкого благополучия*» (И. Л. Андроников. «Одна страница»).

Эти тематические пласты определяют фабулу «Мертвых душ». Однако (и мы к этому еще вернемся) сюжет поэмы оказывается сложнее и богаче фабулы.

Герой: подлец-приобретатель или воскресшая душа?

Герой плутовского романа обычно был страдающей фигурой. Он переживал разнообразные жизненные неприятности и лишения и лишь в конце — ценой хитрости, компромиссов и уступок — достигал некоторого неустойчивого благополучия. Плут был человеком из социальных низов, который мог выжить не изменяя мир, а приспособиваясь к нему.

Уже в первом портрете, на первой же странице, автор парадоксально описывает героя, с помощью трех отрицаний. Чичиков словно ускользает от описания, точного определения характера.

Чуть позднее, в той же первой главе, это подтверждается: Чичиков кажется *гением приспособления*. «Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему неизвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиардной игре — и в

бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком» (глава первая). (Обратим внимание, как синтаксически сложна гоголевская фраза и как богата она синонимическими конструкциями: каждая тема чичиковского разговора вводится с помощью нового глагола: шла ли речь — говорил; говорили — сообщал; трактовали — показал; было ли рассуждение — не давал промаха; говорили — рассуждал; знал прок; судил).

Благодаря уменью подстроиться к любому человеку Чичиков приобретает в городе NN репутацию порядочного человека и получает похвалу даже от Собакевича, который, как выяснится позднее, может похвалить лишь одного человека в городе — прокурора, который тем не менее тоже оказывается свиньей. «Словом, куда ни повороту, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!»» (глава первая).

Итак, Чичиков — пластичный плут, *зеловек-хамелеон*. Но одновременно он *дейтельный герой*, организует и ведет интригу с покупкой мертвых душ, на которых надеется разбогатеть. Именно с помощью этого героя и подобной интриги Гоголь намекался изъездить и показать всю Русь.

Изображенная в первой главе неуловимость характера Чичикова подтверждается в деревенских, помещичьих главах. С каждым из помещиков Чичиков ведет свою игру, находит особую интонацию. В ключевой сцене покупки мертвых душ — цели своей поездки — он ловко использует представления и привычные предрассудки очередного «клиента» и подбирает к каждому помещику особый ключ.

С Маниловым герой медоточив и ласков, поэтому тот дарит любезному другу мертвые души, да еще и берет купчую на себя. Дубинноголовую Коробочку он запугивает, с кулаком Собакевичем хитро торгуется, у бесшабашного Ноздрева пытается выиграть, скопидама Плюшкина соблазняет лишь уплатой податей.

В последующих городских главах его личность мистифицируется. Чичиков становится предметом толков и слухов, восхищения и опасений. И этот снежный ком сплетен завершается сопоставлением Чичикова с Наполеоном и болтовней Ноздрева, который охотно подтверждает все сплетни, добавляя к ним новые: Чичиков оказывается не только покупателем тысяч мертвых душ, но и шпионом, фальшивомонетчиком, похитителем губернаторской дочки. «И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков».

Ответ на этот вопрос Гоголь приберегает к последней, одиннадцатой, главе первого тома. Здесь автор использует принцип композиционного перевертыша. Биография главного героя обычно дается в экспозиции и предшествует раскрытию его характера в фабуле. Гоголь же, завершая фабульную историю героя, наконец рассказывает его предысторию (и это второй, наряду с Плюшкиным, персонаж, который изображен в развитии).

В рассказе о жизни Чичикова многие загадки получают вполне определенный и ясный ответ. «Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — Бог ведает».

Дворянское происхождение героя, однако, оказывается чисто номинальным. Даже самые захудалые помещики N-ской губернии в сравнении с его родителями кажутся богачами. «Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве!»

В сущности, Чичиков уходит в большой мир разночинцем, получая от родителя наставление, похожее на то, которое завещал отец Молчалину: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, всё пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибешь на свете копейкой».

С памятью об этом наставлении Чичиков идет по жизни, сочетая угождение и маленькие предательства. Его отношения с гимназическим учителем и первым начальником кончаются очень похожими репликами обманутых людей. «Надул, сильно надул...» — «Надул, надул, чертов сын!»

Но в попытках добиться уже не копеек, а огромных денег герой словно качается на чертовых качелях: фантастические плутни оканчиваются не менее оглушительными падениями. «Ну, что ж! — сказал Чичиков. — Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать».

Чичиков появляется в городе NN. с идеей нового дела-плутни практически бедняком. «Удержалось у него тысячонок десяток, запряганных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека: кучер Селифан и лакей Петрушка; да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек, вот и всё».

Все чичиковские загадки, таким образом, объясняются, вполне прозаически. В косной среде домоседов, Собакевичей, Коробочек, Плюшкиных, плутов и скопидомов, привязанных к месту, Чичиков — плут новой эпохи, *плут-путешественник*, пытающийся разорвать сложившиеся патриархальные связи и отношения с помощью *копейки*, которая должна превратиться в *миллион*.

Кличка *миллионщик* поражает воображение обывателей города NN., потому что превосходит самые смелые их мечты. «Виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получают от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть попросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик» (глава восьмая).

«Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!» — восклицает автор, начиная рассказ о герое (глава одиннадцатая).

Но завершается история его жизни более осторожным выводом: «Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертой: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строго к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название *не огонь густых*».

Но вдруг мысль Гоголя делает новый поворот. Как в реплике городничего из «Ревизора» («Чему смеетесь? Над собой смеетесь?»), автор предлагает читателю взглянуть на себя: «А кто из вас, полный христианского смирения, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»»

В истории героя социальная сатира оборачивается моральным уроком.

На последних страницах, перед самым преображением обычной тройки в птицу-тройку, Гоголь перебрасывает мостик к следующим томам «Мертвых душ», где судьба Чичикова должна была волшебным образом измениться: «И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме».

Позволяет чуть приоткрыть эту тайну воспоминание одного гоголевского собеседника, священника, которого страстно интересовало продолжение книги. «...Я прямо спросил, чем именно должна кончиться эта поэма. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли, как следует, Павел Иванович. Гоголь, как будто с радостью, подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма» (Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). Три письма к Гоголю, писанные в 1848 году).

Однако это перерождение терялось где-то в тумане будущего, возможного сюжета. В первом томе «Мертвых душ» и сохранившихся главах тома второго в неудачнике-плуте трудно увидеть будущую живую душу.

Портреты: смех и страх

По тематике и внутренней композиции одиннадцать глав первого тома «Мертвых душ» делятся на две группы: первая глава тесно связана с главами седьмой–одиннадцатой; вторую группу образуют главы вторая–шестая.

Эти группы противопоставлены друг другу в разных отношениях.

В главах первой группы развивается, согласно замечанию И. Л. Андроникова, тема *светского общества* (хотя это особый, не столичный, а подражательный, провинциальный свет), главы второй группы посвящены теме *помещицкого благополучия* (которое, впрочем, иногда оказывается вполне призрачным).

Главы первой группы разворачиваются в *городском хронотопе*, второй — в *хронотопе деревенском*.

Наконец, композиция первой и седьмой–одинадцатой глав — панорамна. Здесь создается *коллективный портрет* светского общества города NN. Персонажи здесь зачастую не имеют имен, а обозначаются либо профессиональными функциями (губернатор, судья, прокурор), либо ироническими кличками (Иван Антонович Кувшинное Рыло; дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях). Главы вторая–седьмая — портретны, перед нами предстает *галерея из пяти героев*, с которыми сталкивается Чичиков при осуществлении своей аферы: Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин.

Каждая из этих персональных глав строится по сходной модели, общему плану. Гоголь изображает окружающее героя пространство (пейзаж вокруг имения, интерьер дома), дает портрет очередного героя, потом рисует сцену предложения Чичикова и передачи (продажи или дарения) мертвых душ, увенчивая все прощанием и отъездом. Такой прием позволяет, во-первых, подтвердить пластичность героя, его умение найти подход к любому человеку (о чем уже шла речь), во-вторых, дать рельефный портрет второстепенного персонажа, в скрытом контрасте с другими, в-третьих, представить его окружение как слепок его поведения и образа жизни.

Бесхозяйственность и беспредметная мечтательность Манилова, однако с претензией на светское воспитание, представлены уже в описании его имения и интерьера дома.

«Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, какие только вздумается подуть; покатошь горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. <...> В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недоставало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Вечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги» (глава вторая).

Противоположное впечатление производит дом Собакевича. «Было заметно, что при постройке его (господского дома. — И. С.) зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и повертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности».

Но и этот дом с его убранством является портретом своего хозяина, что автор даже специально подчеркивает: «Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней

ни было, — все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства, словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: “И я тоже Собакевич!” или “И я тоже очень похож на Собакевича!”»

Точно так же говорят за хозяев и предметы в других домах. Но кто же они, сами хозяева?

Конечно, это русские помещики, современники Гоголя, которые могут существовать и вести хозяйство (как Коробочка или Собакевич) или демонстрировать беспхозяйственность (как Манилов или Ноздрев) лишь на почве крепостного права, при наличии у них десятков (Коробочка), сотен или даже тысячи (Плюшкин) крепостных крестьян.

Но Гоголь создает не социальный роман (хотя современные ему критики, включая Белинского, видели в «Мертвых душах» беспощадную социальную сатиру). Его не привлекают обычная социальная реальность и социальные конфликты крепостной России (чему посвящены, например, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева или тургеневские «Записки охотника»). Этот конфликт отчетливо проявляется лишь во вставной «Повести о капитане Копейкине» (поэтому в первом издании «Мертвых душ» ее не пропустила цензура, и писателю пришлось ее перерабатывать).

Но чаще Гоголь сближает социальные полюса русской жизни. Чичиков, как мы помним, должен был прийти к возрождению при прямом участии царя. С другой стороны, простонародные типы, те самые крепостные крестьяне появляются в поэме вне прямых отношений со своими владельцами: либо в проходных эпизодах, либо в отступлениях. Рисуя своих помещиков, Гоголь всякий раз подчеркивает обобщенный характер этих изображений.

«Сестру» Коробочки он обнаруживает в высшем обществе, за «стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли...» (глава третья).

При описании Ноздрева автор прямо обращается к читательскому опыту: «Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми...» (глава четвертая).

Начиная характеристику Манилова, он апеллирует не к социальным, а к моральным, общечеловеческим критериям: «Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова (глава вторая).

В итоге гоголевские портреты оказываются *изображениями-матрешками*. Внешне это помещики, гоголевские современники, существующие в русской действительности 30–40-х годов XIX века. Причем на первый план в них вынесена какая-то *одна черта*. Они представлены не как сложные изменчивые характеры, но как определенные *типы*, раскрывающиеся в сцене встречи с Чичиковым.

Но герои перерастают свои социальные амплуа. Андрей Белый удачно назвал их *обутыми и одетыми гиперболами*. Удивительное гоголевское живописание превращает персонажей в *сверхтипы*, воплощающие определенные моральные свойства и психологические черты, присущие разным эпохам и национальным традициям

(лишь плохое знание Гоголя за рубежами России мешает их превращению в вечные образы).

Манилов — беспредметный мечтатель, живущий в мире своих грез и совершенно не замечающий реальной жизни.

Собакевич, напротив, — человек, живущий только практическими интересами и оценивающий людей по степени выгоды, которую от них можно получить.

Ноздрев — жизнерадостный хам без царя в голове, напоминающий своим безудержным враньем Хлестакова.

Дубинноголовая Коробочка — мелкая скопидомка.

Наконец, Плюшкин — грандиозное воплощение скупости, разрушающей все человеческие — родственные и общественные — связи,

Противоположными полюсами этой выставки *пошлости пошлого человека* (такую характеристику его творчеству дал, по словам Гоголя, Пушкин) оказываются бескрайность, бесшабашность и сосредоточенность на одной идее.

Бесхозяйственный, бескостный, бесхребетный мечтатель Манилов оказывается во внутреннем родстве со столь же бесхозяйственным и безудержным вралем Ноздревым.

Три других персонажа по-разному представляют идею накопительства, скопидомства. В дубинноголовой Коробочке стремление к мелкой выгоде забавно. В кулаке Собакевиче, заботящемся ради собственной выгоды и о своих крестьянах, знающем всю их жизнь даже в мелочах, это стремление даже в чем-то привлекательно. В Плюшкине, философе скупости, идея находит уже отталкивающее, страшное выражение. Плюшкин — предел человеческого падения по данной траектории, *прореха на человеке*.

Любопытно, что в дальнейшем гоголевском замысле именно Степан Плюшкин должен был вслед за Чичиковым возродиться к новой жизни: предел падения ведет к возрождению.

На фоне монументальных обутых и одетых гиперболических городские персонажи представлены в «Мертвых душах» даже не как второстепенные, а как третьестепенные лица, по каким-то случайным, алогичным признакам. Гоголевский гротеск приобретает отчетливый сатирический оттенок.

«Свет» города NN. — люди без фамилий и характеров. Губернатор славен прежде всего тем, что «сам вышивал иногда по тюлю» (глава первая). «Председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшеею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажимал глаза» (глава восьмая). Дама просто приятная с трудом отличима от дамы приятной во всех отношениях (так в «Ревизоре» Бобчинский и Добчинский были почти двойниками).

Наконец, и общая характеристика чиновников города NN. строится на скрытом гротеске и полна сарказма: «Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет благоденствия уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч.» (глава восьмая).

Даже эпитафия внезапно умершему прокурору в устах Чичикова выглядит как издевательство: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови».

Смерть от испуга, вызванного толками о Чичикове, да память о густых бровях — вот и все, что остается от прожившего жизнь человека! (Позднее эту тему подхватит Чехов, тоже изобразивший смерть не человека, но чиновника.)

Коллективный портрет городского «света» и деревенских «хозяев» должен был, по Гоголю, вызывать не смех, но — ужас и желание жить по-иному. «И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может случиться с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости», — восклицает автор в рассказе о Плюшкине, однако имея в виду не только его (глава шестая).

«Соотечественники! страшно!.. — прокричит Гоголь в «Завещании» (1845) через три года после публикации «Мертвых душ». — Стонет весь умирающий состав мой, чужая исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не созревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...» («Выбранные места из переписки с друзьями»).

Но в поэме этому страху бессмертной пошлости противопоставлены *слово лирика и пророка и взгляд художника*.

Автор: лирик и пророк

Мы уже говорили о том, что гоголевскую книгу превращает из плутовского романа в поэму прежде всего особая активность Автора. Он не просто объективно рассказывает историю (хотя формально повествование в «Мертвых душах» ведется от третьего лица), но комментирует происходящее: смеется, негодует, предсказывает, вспоминает. Фрагменты, в которых проявляется автор, часто называют лирическими отступлениями. От чего же отступает автор? Конечно, от фабулы, которая всегда была основой плутовского романа. Но эти отступления имеют важное сюжетное значение: без них «Мертвые души» были бы совсем другой книгой.

Фабула «Мертвых душ», превращаясь в *сюжет*, размывается многочисленными *подробностями* и расширяется *авторскими отступлениями*.

Образ Автора очень важен для необычных неканонических русских романов в стихах и романа в новеллах. Но Автор в «Мертвых душах» иной, особой природы. Он не общается с Чичиковым и не наблюдает за Ноздревым и Плюшкиным. Он вообще не присутствует в мире романа, не имеет биографии и лица. Автор в «Мертвых душах» не образ, но *голос* не вмешивающийся в повествование, а лишь комментирующий, осмысляющий его.

Свою задачу Гоголь позднее сформулировал в «Авторской исповеди» (1847).

«Мне хотелось <...>, чтобы по прочтенье моего сочиненья предстал как бы невольный весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся

на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, — также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом».

О силе смеха мы уже говорили: она определяет фабулу «Мертвых душ» со всеми ее алогичными и гротескными подробностями. Она переходит и в некоторые отступления, когда автор то с необычайной подробностью рассуждает о различиях в общении с владельцами двухсот и трехсот душ (глава третья), то иронически признается в зависти к аппетиту и желудку людей средней руки (глава четвертая), то произносит хвалу услышанному от мужиков определению Плюшкина, хотя само это меткое слово так и не повторит (глава пятая).

Но более всего в авторских отступлениях проявляется именно *лирическая сила*. Можно выделить несколько типов ее реализации.

В большом отступлении из главы восьмой автор отодвигает в сторону склонившегося над списком купленных крестьян Чичикова и наконец создает коллективный образ народа. Для хозяев-помещиков эти умершие мужики были тяжелым бременем. Кулак Собакевич нахваливал деловые качества своих крестьян. В авторском отступлении «мертвые души» вдруг оживают, в отличие от обывателей города NN., получают имена и фамилии, за которыми, как по волшебству, возникают сильные, живые страсти и потрясающие судьбы.

Степан Пробка, былинный богатырь, исходивший с топором всю Россию и нелепо погибший при строительстве церкви.

Его напарник дядя Михей сразу же, без раздумий заменяющий Пробку со словами: «Эх, Ваня, угораздило тебя».

Дворовый человек Попов (этакий русский солдат Швейк), играющий в хитрую игру с капитан-исправником и прекрасно себя чувствующий и в поле, и в любой тюрьме: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!»

Наконец, еще один богатырь, бурлак Абакум Фыров. «И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при кликах, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню».

Эти мертвые души вдруг оказываются живее живых. Конечно, среди них тоже есть свои неудачники: спившийся сапожник Максим Телятников, или кинувшийся после кабака в прорубь, или убитый ни за что Григорий Доезжай-не-доедешь. Но в целом в этом отступлении Гоголь создает образ той чаемой *идеальной Руси* — трудовой, сметливой, разгульной, песенной, — которому противостоят не только помещики-хозяева, но и еще живые бестолковые дядя Митяй и дядя Миняй, не могущие развести сцепившихся лошадей.

Другие авторские отступления уже не оживляют персонажей, не расширяют портретную галерею романа, а представляют собой *густую лирику*, своеобразные *стихотворения в прозе*. Стилистически они резко противостоят фабульной повествовательной части романа. Здесь почти отсутствуют гротескные детали, но зато множество высоких поэтических слов. Интонационно эти отступления выдержаны в элегическом тоне.

У большинства из них есть и общий мотив — *дорога*. Дорога чичиковской брички — скучное пространство, которое надо побыстрее преодолеть на пути к цели: «Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор» (глава вторая).

Дорога в авторских отступлениях — пространство волшебное: она лечит, в ней рождаются новые замыслы, она становится символическим воплощением России и жизненного пути человека. «В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица!» (глава седьмая). — «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! <...> Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!..» (глава одиннадцатая).

В той же одиннадцатой главе, чуть ранее только что приведенной цитаты, есть фрагмент, где два этих контрастных образа сталкиваются. Герой выезжает из города, и поначалу мы, как и в главе второй, видим привычный и скучный дорожный пейзаж (даже с повторением ключевого глагола *писать*): «Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоянного двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещицьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далеке колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца...»

Появляющиеся в конце этого периода детали (песня, колокольный звон, горизонт без конца) подготавливают резкий скачок. Автор вдруг выходит на первый план и говорит о *своей дороге*: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу... <...> Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь

таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством.

Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройти ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отражаясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» (глава одиннадцатая).

На таком внезапном переходе-контрапункте строится и последняя страница, финал первого тома: реальная чичиковская тройка вдруг превращается в символическую птицу-тройку — воплощение Руси.

«Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подсакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? <...> Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. <...> Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? <...> Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Последние слова первого тома ведут еще к одному, третьему типу гоголевских отступлений: *прямым размышлениям автора* о жизни, о России и ее национальных особенностях, о своем искусстве, о будущих томах и темах его книги. Подобные фрагменты — об идеалах юности, о необходимости увидеть Чичикова в себе — мы уже цитировали. Для них характерна высокая патетическая интонация, стилистика уже не элегии, а оды (если ориентироваться на собственно лирические жанры).

Автор-пророк наиболее уязвим, даже когда он говорит не о высоком призвании Руси, а только о собственном искусстве, о планах продолжения книги: «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святой ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» (глава седьмая).

Это отступление предшествует уже цитированным словам о дороге. В нем присутствует замечательная формула, которая в сокращенном виде стала одним из главных определений гоголевского искусства: *смех сквозь слезы*.

Но имея в виду слова «величавый гром других речей», Белинский прозорливо возразит Автору (и Гоголю как автору): «Много, слишком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того и нет еще на свете; нам как-то страшно, чтоб первая часть, в которой все комическое, не осталась истинною трагедиею, а остальные две, где должны проступить трагические элементы, не сделались комическими — по крайней мере в патетических местах...» («Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”», 1842).

Патетические отступления — присутствие героического прошлого в безотрадном настоящем. Но они же — намек на будущее перерождение героев и Руси в целом, которое так и не осуществилось в следующих томах «Мертвых душ».

Но время настоящих эпических поэм ушло. Соединить в одном характере, как предполагал Гоголь, «разнообразье богатств и даров» не удалось. Высокий пророческий пафос отступлений не находил поддержки в конкретном изображении русской действительности. Идеальным выражением русской удали, свободы, силы, полета остались лишь мертвые души из чичиковского списка да появившийся в последнем лирическом отступлении ямщик, летящий на птице-тройке. Однако этот символический образ не мог найти поддержки в изображении конкретных персонажей ни первого, ни второго тома.

Гоголевская книга не окончилась, а *оборвалась*. И это стало истинной писательской трагедией.

Стиль: слова и краски

Слово Автора звучит в отступлениях. Взгляд Гоголя-художника определяет все повествование.

Во второй половине XIX века во французской живописи появились художники-пуантилисты (от *фр. pointe* — острое, точка), которые писали картины мелкими мазками прямоугольной или круглой формы. Вблизи мы видим на полотне лишь множество красочных пятен, с некоторого расстояния они сливаются в яркий, красочный, праздничный пейзаж или портрет.

Гоголь — словесный пуантилист. «Мертвые души» состоят не только из крупных мазков (история Чичикова, портреты помещиков, коллективный образ города N.), но из множества мельчайших «точек»: гротескных подробностей, развернутых сравнений, оригинальных метафор и просто «словечек», составляющих подлинную материю романа-поэмы.

Юрий Олеша, писатель XX века, более всего ценивший в искусстве словесную изобразительность, мечтал открыть «лавку метафор» (имелись в виду не только метафоры, а тропы вообще) и самое почетное место в ней отводил Гоголю.

«Гоголь широко применял сравнения. Тут и летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дороги, расползшиеся в темноте, как раки, тут и расшатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки... Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью: один раз это графин, который от пыли казался одетым в фуфайку, тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках» (Ю. К. Олеша? «Ни дня без строчки»).

Олеша (замечательный пересказчик чужих сюжетов: это тоже большое искусство) напоминает еще один эпизод: «Анненков чудесно вспоминает о встречах с Гоголем в Риме в то время, когда писались «Мертвые души». Он как раз написал главу о Плюшкине — ту, следовательно, где сад, где береза, как сломанная колонна, где упоминание о красавице именно третьей сестре, где доски моста, ходящие под проезжающим экипажем, как клавиши... Гоголь, вспоминает Анненков, был в восторге от написанного — и вдруг пустился по римскому переулку вприсядку, вертя над головой палкой нераскрытого зонтика». (Как не похож этот пляшущий Гоголь на того великого меланхолика и непризнанного пророка, которым писатель стал в конце жизни!)

Действительно, живописное мастерство писателя превращает описание запущенного сада Плюшкина в чудесный, фантастический итальянский пейзаж, с березой-колонной, прозрачной сеткой хмеля и бьющими откуда-то снизу солнечными лучами. «Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную

деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетоллиственными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался сверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листья, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте» (глава шестая).

«Мертвые души» можно читать как разные книги.

Кому-то запомнится Чичиков, кому-то — помещики-существователи, кому-то — тот мелькнувший на первой странице франт с булавкой, кому-то — чашки-чайки, кому-то — размытая дорога, по которой плутают герой и его спутники. По ней могут мчаться уже не тройки, а автомобили — но она все равно остается дорогой, вызывающей то грустные мысли об оставленном доме, то смутную надежду на ждущее где-то счастье.

«А что греха таить, господа... Ведь «Мертвые души» и точно тяжелая книга и страшная. Страшная и не для одного автора. Чего заглавие-то одно стоит, точно зубы кто скалит: «Мертвые души»... Ведь никогда и нигде в мире то, что называют пошлостью, так не покоряло и так не было прекрасно», — так прочел «Мертвые души» директор Царскосельской гимназии, поэт И. Ф. Анненский («Эстетика «Мертвых душ» и ее наследье», 1911).

А вот одному из гоголевских наследников она подарила счастливый вечер. Ф. М. Достоевский вспоминал, как он провел время сразу после окончания своей первой повести «Бедные люди»: «Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877, январь. Глава 2, раздел 4).

А не почитать ли и нам Гоголя? Не только потому, что его преподают в школе.

Эпилог как пролог: веселые ребята

«Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин». Так Александр Блок начал речь «О назначении поэта» (1921), посвященную 84-й годовщине со дня гибели поэта. Смех, юмор, веселье не менее важны для биографии и художественного мира поэта, чем грусть или мудрость.

Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Так Пушкин характеризует в первой главе романа романов образование своего героя. Исторические анекдоты любил не только Евгений Онегин, но и его создатель. Пушкин собирал и записывал анекдоты о русских императорах, полководцах, писателях XVIII века и о своих современниках. Вот один из них.

У Крылова над диваном, где он обыкновенно сживал, висела большая картина в тяжелой раме. Кто-то ему дал заметить, что гвоздь, на котором она была повешена, не проген и что картина может когда-нибудь сорваться и убить его. «Нет, — отвечал Крылов, — угол рамы должен будет в таком случае непременно описать косвенную линию и миновать мою голову» («Table-talk», англ. — застольные разговоры).

Уже современники начали сочинять анекдоты и о самом Пушкине. Один из таких анекдотов Гоголь придумывает в «Ревизоре» в сцене хвастовства Хлестакова: «Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все...» Большой оригинал».

В 1930-е годы несколько абсурдных, злых «анекдотов из жизни Пушкина» сочинил Д. Хармс, борясь не столько с поэтом, сколько с неумеренными его почитателями и литературоведами-пушкинистами (их можно прочесть в любом сборнике этого автора). Позднее, уже в 70-е годы XX века, появился цикл анекдотов «Веселые ребята». Его в подражание Хармсу сочинили московские художники Н. Доброхотова и В. Пятницкий. Эти тексты, однако, можно считать уже фольклорными, народными.

В отличие от Хармса, для «Веселых ребят» характерен не «черный юмор» (на самом деле это *сатира*), а юмор обычный: добродушный, беззлобный, школьный. Это — культурная игра: переименование известных биографических фактов, социологических шаблонов («Толстой — зеркало русской революции»), культурных ролей («главный писатель» Пушкин, влюбленный в него решительный Лермонтов, насмешник и актер Гоголь, робкий Тургенев), литературных мотивов («стрелялись мы»). Любопытно, что в цикле не упоминается Чехов: сочинители точно почувствовали, что он — из другого поколения, не из этой «семьи», из другой эпохи.

Избранные анекдоты цикла (всего их более сорока) выстроены в сюжет, по-своему комментирующий историю русской литературы XIX века.

При взгляде из другого времени русские классики предстают одной дружеской компанией, веселой, шаловливой талантливой семьей, совместно сочинившей роман «Герой нашего времени».

Так оно, в сущности, и было.

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри-ка, Арина Родионовна, я пришел!»

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Державину, Гавриле Романовичу. Старик, уверенный, что перед ним и впрямь Пушкин, сходя в гроб, благословил его.

Николай I написал стихотворение на именины императрицы. Начинается так: «Я помню чудное мгновенье...» И тому подобное дальше. Тут к нему пришел Пушкин и прочитал...

А вечером в салоне у Зинаиды Волконской имел через них большой успех, выдавая, как всегда, за свои. Что значит профессиональная память у человека была.

И вот утром, когда Александра Федоровна кофе пьет, царь-супруг ей свою бумажку подсовывает под блюдечко.

Она это прочитала и говорит: «Ах, Како, как мило, где ты это достал, это же свежий Пушкин!»

Пушкин часто бывал в гостях у Вяземского, подолгу сидел на окне, все видел и все знал. Он знал, что Лермонтов любит его жену. Поэтому считал не вполне уместным передать ему лиру. Думал Тютчеву послать за границу — не пропустили, сказали: не подлежит — имеет художественную ценность. А Некрасов как человек ему не нравился.

Вздыхнул и оставил лиру у себя.

Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти. На Кавказ. Все смотрел из-за колонны, смотрел... Вдруг устыдился своих желаний. «Пушкин, — думает, — зеркало русской революции, а я — свинья!» Пошел, встал перед ним на колени и говорит:

— Пушкин, где твой кинжал? Вот грудь моя!

Пушкин очень смеялся.

Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. Пушкин говорит:

— Стреляй первый ты.

— Как ты? Нет, я!

— Ах, я? Нет, ты!

Так и не стали стреляться.

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, сверху нацепил львиную шкуру и поехал на маскарад. Ф. М. Достоевский, царство ему небесное, увидел его и кричит: «Спорим — это Лев Толстой! Спорим — это Лев Толстой!»

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и задумался о душе. Что уж он там надумал, так никто и никогда не узнал. Только на другой день Ф. М. Достоевский, царство ему небесное, встретил Гоголя на улице — и отшатнулся.

— Что с вами, — воскликнул он, — Николай Васильевич? У вас вся голова седая!!!

Тургенев хотел быть храбрым, как Лермонтов, и пошел покупать себе саблю. Пушкин проходил мимо магазина и увидел его в окно. Взял и закричал нарочно: «Смотри-ка, Гоголь (а никакого Гоголя с ним вовсе и не было), смотри-ка, Тургенев саблю покупает! Давай мы с тобой ружье купим!»

Тургенев испугался и в ту же ночь уехал в Баден-Баден.

Однажды Гоголь написал роман. Сатирический. Про одного хорошего человека, попавшего в лагерь на Колыму. Начальника лагеря зовут Николай Павлович (намек на царя). И вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит его до смерти. Гоголь назвал роман «Герой нашего времени». Подписался: «Пушкин». И отнес Тургеневу, чтобы напечатать в журнале.

Тургенев был человек робкий. Он прочел роман и покрылся холодным потом. Решил скорее все отредактировать. И отредактировал.

Место действия он перенес на Кавказ. Заключенного заменил офицером. Вместо уголовников у него стали красивые девушки, и не они обижают героя, а он их. Нико-

лая Павловича он переименовал в Максима Максимыча. Зачеркнул «Пушкин», написал «Лермонтов». Поскорее отправил рукопись в редакцию, отер холодный пот и лег спать.

Вдруг посреди сладкого сна его пронзила кошмарная мысль. Название! Название-то он не изменил! Тут же, почти не одеваясь, он уехал в Баден-Баден.

Сел Гоголь на кибитку и поскакал неведь куда в исчезающую даль.

Пушкин сидит у себя и думает: «Я — гений — ладно. Гоголь тоже гений. Но ведь и Толстой гений, и Достоевский, царство ему небесное, гений! Когда же это кончится?»

Тут все и кончилось.

На самом деле — не кончилось.

Конец пушкинского Золотого века — пролог следующей эпохи русской литературы.

Лев БЕРДНИКОВ

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТОР

И панегиристы, и суровые критики царствования Павла I сходятся в одном: не было другого периода в истории России, когда жизнь страны в столь же высокой степени определялась самодержавной волей государя. Хулители называют его «восточным владыкой в мундире прусского покроя», говорят о «царствии страха», «безотчетном варварстве и произволе», «необузданной власти ханской» и в подтверждение приводят обращенные к придворным слова царя: «Вы существуете только для того, чтобы слушаться моих приказаний». По мнению Николая Карамзина, Павел «не следовал никаким уставам, кроме своей прихоти», и стремился вникать во все государственные дела, все более и более укрепляя свою личную власть. Символично, что однажды, ударив себя кулаком в грудь, он вдруг надрывно вскричал: «Здесь ваш Закон!»

Но в то же время это был, по словам А. С. Пушкина, «романтический наш император», упорный правдоискатель, человек с обостренным чувством справедливости, добродетельный, жертвенный и глубоко религиозный. Его сокровенные думы очень выразительно передал Дмитрий Мережковский в пьесе «Смерть Павла» (1909): «Не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон-Кишотом зовут — сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество! Не поданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я, первый, на поединке оном пример покажу». Павел считал, что Россию спасет не демократизация, а «аристократизация» общества — «аристократия духа», как он ее называл. Он мечтал о рыцарской верности подданных и вводил систему духовного диктата, призванную, по его разумению, споспешествовать процветанию страны и народа. «Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями — его главной задачей», — отмечает Василий Ключевский. Показательно, что русские монар-

Лев Бердников родился в 1956 году в Москве. Окончил литературный факультет Московского областного педагогического института. Во время учебы сотрудничал с «Учительской газетой», где опубликовал десять очерков. После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987–1990 годов заведовал научно-исследовательской группой русских старопечатных изданий. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию «Становление сонета в русской поэзии XVIII века (1715–1770 гг.)». С 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Автор трех книг и более 350 публикаций в России, США и Израиле. Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года. Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

хисты называли его народным царем, «носителем власти, стоящим над классами и сословиями, то есть власти народной», и даже «первым Русским Государем Божьей милостью». Историк Петр Буцинский заключает: «Павел стремился осуществить в жизни идеал одинаково доброго монарха для всех подданных».

Как свидетельствует тонкий знаток еврейства Юлий Гессен, и по отношению к российским иудеям император выказал «много доброжелательства и справедливости». Не будь это царствование столь кратковременно, оно ознаменовалось бы в истории евреев России появлением первого систематически разработанного законодательства о них, но вследствие внезапной смерти Павла I годы его недолгого правления явились эпохой лишь подготовительной работы, эпохой изучения еврейской жизни. Политика Павла, его узаконения по еврейскому вопросу тем более достойны внимания, что монарх этот, как подчеркивал Ю. Гессен, «совершенно не питал к иудеям недружелюбия, и, в частности, религиозной неприязни». Этого, кстати, не могут простить Павлу современные почвенники. Так, Анатолий Глазунов корит императора за то, что он «не оказался способным понять опасность, истекающую от жидовского народа».

Близко знавший императора митрополит Платон (С. Е. Левшин) говорил, что тот «всегда был к набожности расположен, и рассуждение ли или разговор относительно Бога и веры были всегда ему приятны. Сие, по примечанию, еще внедрено было со млеком покойною императрицею Елизаветою Петровною, которая его горячо любила и воспитывала приставленными от нее весьма набожными женскими особами». К счастью, рано покинувшая сей мир Елизавета не успела привить цесаревичу свойственную ей воинствующую ортодоксальность и фобию к иудеям — «врагам Христовым». Вопрос о религиозном мировоззрении Павла, главе Православной церкви и одновременно гроссмейстеру Мальтийского ордена, настолько сложен и глубок, что заслуживает самостоятельного исследования. Но его завидная веротерпимость сомнений не вызывает. И в этом несомненное влияние заповедей воспитателя графа Никиты Панина, который говаривал: «Христос есть во всех — и в христианине, и в последователе иудейской религии, и в язычнике. Поэтому христианами должны называться не только принявшие крещение, но все, имеющие в себе Христа». Павел встречался с протестантами, католиками, иудеями и магометанами, освободил из ссылки масонов, прекратил преследование старообрядцев (и те даже держали его изображение в святом углу, вместе с иконами). Он грезил о вселенском экуменизме, в котором бы слились особенности всех вер. Подлинный Храм, считал он, может быть только всемирным. Вместе с тем Павел осознавал, как важно религиозное самоопределение для любой нации, пытаясь понять и духовный выбор иудеев, вникнуть в догматы их веры. Более того, ему суждено было сыграть важную роль в еврейской религиозной жизни России.

Провозгласив справедливость и порядок основой государственной жизни, Павел желал все знать о нуждах и чаяниях российского народа и стремился «открыть все пути и способы, чтобы глас слабого, угнетенного был услышан». По его приказу в начале 1797 года у одного из окон в Зимнем дворце был вывешен ящик, куда любой подданный мог бросать письма с жалобами и претензиями. Вечером Павел отпирал сей заповедный ящик, приносил ворох прошений в свой кабинет и засиживался за их разбором далеко за полночь. Резолюции и ответы на прошения всегда писались им лично либо скреплены были его подписью и затем публиковались в газетах. Часто просителям предлагалось обратиться в какое-нибудь судебное место или иное ведомство, а затем известить его величество о результатах этого обращения. «Пер-

вый любимец, первый сановник, знаменитый вельможа и последний ничтожный раб, житель отдаленной страны и столицы, — говорит современник, — равно страшились ящика». Интересны цифры: в течение одного только года почта доставила Павлу 3229 писем с прошениями, на которые он отвечал 854 указами и 1793 устными распоряжениями.

И среди писем мы находим немало жалоб и просьб российских иудеев, которые получили возможность обращаться непосредственно к государю. Вот могилевский купец Бениович жалуется на ограбивших его обывателей города Галаца; еврей Кельманович из местечка Будича пеняет на волокиту в Гайсинском поветовом суде Подольской губернии в его тяжбе с помещиком Сабанским; некто Мовше Фабишович обвиняет малороссийского помещика Ширия «в причинении ему обид и захвачении имущества его»; завилейский купец Лейба Мовшович из Литовской губернии злобится на князя Черторижского, комиссионера Нарбута и управителя Шемета, нарушивших контракт о поставке ему подвод для перевозки поташа, отчего он, Мовшович, терпит «великие в торговле убытки». Впрочем, просители-евреи радели не только о собственной выгоде, но и о делах общественных. Так, «поверенный Общества» Иоська Бенкович просит его величество восстановить упраздненный город Климович и пожаловать тамошним жителям привилегии и денежную ссуду. И Павел глубоко вникает в суть каждого вопроса, не оставляя без ответа ни одну из просьб. Он указывает челобитчикам, в какие именно присутственные места, инстанции (компетентные органы, как бы мы сейчас сказали) надлежит обратиться, чтобы было принято скорое и самое справедливое решение. И сыны Израиля зачастили в Северную Пальмиру, оставаясь там беспрепятственно на законных основаниях вплоть до решения дела.

Император приветил и замечательного еврейского печальника Ноту Хаймовича Ноткина (1746–1804), чья неутомимая правозащитная деятельность развернулась уже в первые годы его царствования. В мае 1797 года из родного Шклова Ноткин едет в Петербург и через генерал-прокурора Алексея Куракина подносит Его Величеству свой «Проект о переселении евреев колониями на плодородные черноморские степи для размножения там овец, земледелия и прочего: там же заведения по близости черноморских портов фабрик суконной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые люди были бы обучены из сего народа». Любопытно при этом, что ходатаем Ноты Хаймовича перед всецельным царедворцем был притеснитель иудеев «Шкловский деспот» Семен Зорич (который, впрочем, не знал о подлинной цели обращения Ноткина к Куракину). Нота увидел в Павле «монарха, дающего иудеям состояние, защиту и покой», и изложил собственное мнение о том, как евреям «приобыкнуть к рукоделию», «каким образом устроить их жизнь, чтобы они собственными своими трудами доставили себе нужное пропитание». При этом он проявил завидную образованность: использовал и творчески переработал законодательства некоторых стран Европы — и недавние (апрель 1797 года) прусские узаконения об иудеях, откуда почерпнул положение о привлечении их к земледелию и фабричной деятельности, и более ранние указы австрийского императора Иосифа II (1786 год) о евреях-ремесленниках.

Замечательно, что в этом проекте Ноткин первым в России высказал мысль об использовании евреев как промышленных рабочих. Говоря о необходимости постепенного отстранения евреев от винных промыслов, он ратовал за их приобщение к сельскому хозяйству, разрушая миф об органической непригодности иудеев к труду на земле. При этом он апеллировал к ветхозаветным временам: «Употребленные к

сему (сельскому труду. — Л. Б.) евреи от рук своих возымеют себе пропитание... подражая праотцам своим, государству со временем немалую пользу принесут, и со временем необходимость их научит земледелием сыскивать хлеб». Ноткин настаивал на расселении евреев в колониях Черноморского побережья, что сулило державе большие выгоды благодаря плодородию тамошней земли и близости портов для перевозки сельскохозяйственных товаров.

Хотя проект не был претворен в жизнь, автор его сделался известным. Император высоко оценил труд Ноткина: подарил ему богатое имение Островец на Могилевщине с 225 крепостными душами, пожаловал значительной денежной суммой и золотым перстнем с бриллиантами. И именно при Павле I в Петербурге обосновалась еврейская община, несколько десятков человек. Душой ее стал, как значилось в общинной книге, «уважаемый и почтенный Натан Ноте из Шклова». Эта небольшая сплоченная группа вела еврейский религиозный образ жизни и даже содержала своего резника. Иудеи приобрели здесь и собственный участок на лютеранском погосте (позднее Волково кладбище), основав таким образом первое еврейское кладбище в северной столице.

В числе приметных представителей этой общины можно назвать крупного банкира и откупщика Абрама Израилевича Перетца (1771–1833), который и спустя много лет был «памятен в столице по своим достоинствам и по своим огромным делам». В товариществе с купцом-иудеем Николаем Штиглицем (1772–1820) он заключил с правительством контракт на откуп крымской соли. Перетц был связан с элитой высшего общества столицы и особенно дружен с фаворитом Павла I, графом Иваном Кутайсовым. Он имел в Петербурге открытый дом и, по словам барона Модеста Корфа, принимал у себя «весь город». Государь пожаловал ему титул коммерции советника. Вместе с Перетцем в Петербург переехал один из пионеров еврейского просвещения, выдающийся талмудист Мендель Сатановер (1741–1819). Жил в доме Абрама Перетца, которого хорошо знал еще по Шклову, и Иехуда Лейб бен-Ноах (Лев Николаевич) Невахович (1776–1831), вошедший в историю как автор апологетического сочинения «Вопль дщери иудейской» (СПб., 1803). Невахович занимался переводами для Сената с еврейского языка на русский. Известно, что такой же работой занимался и некто Юда Файбишович. Если вспомнить тогдашние облавы и строжайшие паспортные проверки всех приезжающих и отъезжающих из города (об отъезде, например, надлежало предварительно трижды объявить в печати), то станет очевидным: эти иудеи стали легальными петербуржцами исключительно благодаря личной воле государя. В этой связи приобретает особую ценность свидетельство очевидца Неваховича. А он подчеркивал доброжелательное отношение Павла к евреям и в качестве доказательства сообщал, что императору «благоугодно было лично удостоить находящихся тогда в Санкт-Петербурге купечество и депутатов сего народа покупкою от них трех тысяч аршин голубого бархата для придворной надобности».

Сохранилось предание, что и в Москве число иудеев в конце XVIII века было довольно значительным. Рассказывают о еврейских лавках в «Панском» ряду, где шла бойкая торговля. Историк Петр Марек считает это преувеличением и, хотя допускает пребывание иудеев в первопрестольной столице, объясняет это «нестрогим применением к ним ограничительных мер» и головотяпством властей. Между тем служебное рвение и суровость московских полицейских чинов в павловское время не оставляют сомнений: никаких «невольных поблажек» пришельцам быть не могло, и если кто торговал здесь разными разностями, значит, на то было высочайшее дозволение. Показательно, что 25 января 1800 года некто Шолом Юдович, «по доверенности шкловских купцов евреев», подал императору прошение о разрешении еврейским купцам первых двух гильдий свободно торговать за пределами черты оседлости и уравнении их в правах с иностранными коммерсантами. А 3 августа

1800 года Правительствующий Сенат принял беспрецедентное решение: отменил существовавшее ранее «запрещение в производимой купцами из евреев 1 и 2 гильдий оптовой торговле» в столицах! (увы! — впоследствии оно было отменено «либеральным» Александром I).

Государь ратовал за «свободное пребывание евреев» и в тех городах, где им веками официально жить запрещалось, тем самым решительно порывая с порочной традицией. Как точно сказал об этом историк, «сама мысль о выселении евреев из городов представлялась (Павлу I) бесцельной и дикой». Когда христиане Ковна, ссылаясь на старинные статуты, выступили в 1797 году с прошением всех евреев выгнать вон из города, а их имущество и товары присвоить себе, власти назвали их корыстные притязания «застарелой, легкомысленной и, так сказать, *несмысленной к евреям завистью*». Император повелел: «Дабы поселившиеся в Ковне евреи оставлены были в спокойном собственности их владении, невозбранно отправляли ремесла и производили бы торговые дела беспрепятственно».

Подобные прения возникли и при присоединении к империи Каменец-Подольска, когда император пресек действие прежних польских запретительных привилегий. Указом от 8 сентября 1797 года он объявил: «Евреев из Каменца-Подольского не высылать, а оставить на том основании, как они и в других основаниях свободное пребывание имеют».

Когда представитель «общества живущих в Каменец-Подольском купцов и мещан евреев» Янкель Хаймович пожаловался на то, что евреи, избранные в местный магистрат, самовластно «удалены от должностей», Павел тут же восстановил справедливость, равно как и «доставил обиженным законную защиту» от притеснений, чинимых помещиком Винцетием Потоцким, и т. д. Замечательно, что в документах общины Каменец-Подольска за 1797 год находится адресованный императору панегирик на древнееврейском языке, где говорится, что тот «милостив к евреям, как отец к сыновьям, как орел, защищающий свое гнездо». И такое отношение иудеев к Павлу весьма симптоматично. В его краткое царствование число их в Каменец-Подольске выросло почти вдвое (в 1797 году там проживало 1367 евреев-мещан, а в 1799 году уже 2617 человек!).

Любопытно при этом отметить, что в бывших польских землях, перешедших к Пруссии, иудеи далеко не во всех городах получили право жительства. Так, известный своими прусскими симпатиями Павел в еврейском вопросе оказался прогрессивнее не только своего кумира Фридриха II Великого (что было нетрудно, поскольку узаконения сего прусского короля об иудеях называли не иначе как «достойными каннибала»), но даже толерантного Фридриха Вильгельма II.

Попытка изгнания евреев была предпринята и в Киеве. Ссылаясь на давний запрет 1619 года — «чтобы ни один жид в городе Киеве и в части сего города не жил» — и сообразуясь с монаршим указом 16 сентября 1797 года о возобновлении дарованных Киеву прежних грамот, местный магистрат настоятельно требовал удалить евреев из «матери городов русских» на «законном основании». Однако павловская администрация не нашла «никакого резона, почему бы евреям жительство и пребывание (здесь) было возбранено». Причем губернатор Андрей Феньш приводил в пользу иудеев и аргументы прагматического характера: «Из мещан христианского закона нет никаких хороших искусных мастеров и художников, а находятся разные из таковых большею частью евреи; равным образом и купцы здешние не стараются о том, чтобы в торговых лавках были все нужные для городских обывателей товары и вещи». И в феврале 1801 года Павел распорядился «евреев, никуда не переселяя, оставить на жительство в Киеве».

И в перешедшей под российский скипетр Курляндии император, по словам историка Менделя Бобе, «положил конец двухсотлетней борьбе евреев за право быть не только терпимыми, но и легитимными гражданами страны». Он предоставил иудеям

этой новообразованной губернии юридические и экономические свободы, которыми они пользовались в черте оседлости. Согласно монаршему указу 14 марта 1799 года, иудеи получили наконец возможность повсеместного здесь проживания и доступа в торгово-промышленные сословия. В этом немалая заслуга курляндского барона Карла Генриха Гейкинга (1751–1809), составившего для государя законопроект, а также благожелательную записку о морали иудеев (где он, в частности, оценил нравственную высоту молитвы Кол-Нидре).

Вступив на престол, Павел хотя и запретил все депутации ко двору, тем не менее принял в 1798 году представительную группу киевских, волынских и подольских евреев «с принесением всеподданнической благодарности и с испрошением о даровании им некоторых выгод». Это также говорит о благожелательном отношении государя к евреям.

Известно, что Павел всячески стремился оградить Россию от проникновения «пагубных» идей революционной Европы. Тотальному контролю подвергались все ввозимые из-за границы книги, включая ноты. Полный состав цензоров был избран уже в первый же год его царствования, причем ими было конфисковано 639 книг. Поля страниц журнала заседаний Цензурного комитета пестрели решительными резолюциями монарха: «Книги сжечь, а хозяев, отыскав, поступить с ними по законам за выписку оных». Как отмечал исследователь Павел Рейфман, «всем этим занимается в значительной степени лично Павел, придавая цензурным проблемам большое значение, уделяя им много внимания и времени».

В поле зрения царя оказались и еврейские подданные империи, которых он также пытается оберечь от «язв моральных» — тлетворных влияний извне. Именным указом от 5 октября 1797 года он определяет в штат Рижского Цензурного комитета двух евреев «для рассмотрения в Россию ввозимых книг на еврейском языке». Лифляндский гражданский губернатор, не мешкая, подыскивает двух подходящих кандидатов, которые «к сему управлению имеют особливые сведения и возлагаемую на них должность надлежащим образом исполнять будут». То были Мозес Гекиль и Иезекииль Бамбергер, которым определяется жалованье 300 рублей в год — сумма, по тем временам немалая. Последний был сыном «покровительствуемого еврея» Давида Леви Бамбергера, получившего право жительства в Риге еще при Екатерине II.

Высказываний императора непосредственно об иудеях не находится. Разве что, оценивая штурм войсками фельдмаршала Александра Суворова предместья Варшавы — Праги 4 ноября 1794 года, он заметил, что не почитает его «действием военным, а единственно заклятием жидов». Район Праги, что на реке Висла, действительно защищали 500 волонтеров еврейского полка под водительством Берека Иоселевича и Иосифа Ароновича. Однако иудеи, вставшие тогда под знамена Тадеуша Костюшко, сражались здесь неустрасимо против превосходящих их числом и умением суворовских чудо-богатырей. По словам очевидца, «стоя под огнем картечи, теряя сотни раненых и убитых, они не утратили присутствия духа и даже отбили у врага несколько орудий». И в том кровопролитном бою евреи встретили смерть с оружием в руках, и потому ни о каком заклятии здесь речи быть не может. Несомненно, Павел испытывал сочувствие к защитникам Праги, ибо порицал экспансионистскую политику матери, закабалившей Польшу, и, когда вступил на престол, освободил и обласкал мятежного Костюшко. Poleмичность этого высказывания царя станет еще очевиднее, если учесть, что он всячески старался умалить военные таланты опального тогда Суворова и только искал удобного случая, чтобы уронить авторитет великого русского полководца.

Примечательно, что по повелению Павла I было остановлено и предано забвению так называемое сенненское дело по облыжному обвинению евреев в ритуальном убийстве. Подоплека его такова: накануне праздника Пейсах в 1799 году в местечке Сенно Могилевской губернии, неподалеку от еврейской корчмы был найден труп женщины. Следственная власть обвинила в убийстве четырех иудеев, находившихся в той корчме, «имея основанием лишь народный слух, что евреям нужна христианская кровь».

Надо сказать, подобные поклепы на евреев, заимствованные из польской «наветной» литературы, тиражировались в России с конца XVII века. В 1669 году в Киеве был напечатан увесистый антиеврейский трактат архимандрита Иоанникия Голытовского «Мессия правдивый», где рассказывалось о двенадцати ритуальных убийствах и внушалась мысль, что кровь христианских младенцев якобы необходима для «жидовских чар», для соборования умирающего еврея и т. д. Распространение получила также анонимная польская книжонка «Бредни Талмудовы» (Краков, 1758) с ошеломляющими откровениями: будто бы кровь потребна евреям «для удачи в торговых делах», «для еврейских новобрачных, которым раввин во время свадьбы дает наполненные кровью яйца», «для праздника Амана, во время которого раввин тайно посылает кушанья, заправленные этой кровью», и, конечно же, «для их жидовской мацы». В 1772 году в Почаевской лавре был тиснут ее церковнославянский перевод под титулом «Басни Талмудовы от самих Жидов узанные...» (он был переиздан в 1792 году), а в 1787 году в Петербурге Петр Богданович выпустил русский перевод сего опуса под заглавием «Обряды жидовские производимые в каждом месяце у сьпвсиэциухов». В сенненском деле эти юдофобские бредни (не имевшие ни малейшего отношения к Талмуду) были восприняты всерьез. Тамошний губернатор передал дело в уголовный департамент главного белорусского суда, который поручил секретарю Стукову «секретным образом изведать, нет ли в законах евреев положения, что евреям христианская кровь нужна». Стуков взялся за дело истово и отыскал в Витебске услужливого выкреста Станислава Костинского. Тот, делая выписки из религиозного кодекса «Шулхан-Арух», полностью исказил его суть; кроме того, на руку заказчикам перевел с польского языка брошюру «Открытие таинственных дел жидовских через раввинов, принявших христианский закон», где говорилось об употреблении христианской крови в еврейских опресноках.

Стуков препроводил эти материалы в уголовный департамент и, хотя по следствию ничего не открылось, настаивал на обвинении подозреваемых. Все клонилось к тому, чтобы евреи были жестоко наказаны, но... в дело вмешался сам император. Как раз в это самое время вестовой доставил ему из Шауляя послание тамошнего доктора Авраама Бернгарда (1762–1832) «Свет во мраке Самогиции». А оно заключало в себе «описание гонения на евреев в Средних веках, особенно сведения о двух следственных делах по поводу подозрения их в убийстве христианских детей для получения их крови, будто употребляемой ими в праздники Пасхи, и разные доказательства из Моисеева закона и Талмуда против подобного обвинения». Царь внял аргументам Бернгарда, а потому распорядился немедленно освободить невиновных иудеев.

Однако стараниями великого русского поэта, сенатора Гаврилы Державина (1743–1816) обвинение «всех евреев в злобном пролитии по их талмудам христианской крови» скоро обрело новый импульс. В 1799 году Державин был командирован императором в Белоруссию, чтобы расследовать жалобы на «самовольные поступки» владельца Шклова, бывшего екатерининского фаворита генерал-лейтенанта Се-

мена Зорича. В Шклове с незапамятных времен жили иудеи, составлявшие около половины его населения. Эта «метрополия русского еврейства» славилась как центр раввинской учености и средоточие распространения научных знаний и идей Гаскалы. Но когда в 1772 году городок был подарен императрицей Зоричу, тот зажил там местным царьком, с многочисленным двором, роскошными выездами и балами, театром, где ставились итальянские оперы и балеты. Деньги он проматывал огромные и был охоч до новой и новой мзды. Карточный шулер, безалаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению всех своих прихотей, этот самодур любил, чтобы перед ним лебезили, и не терпел препирательств. И евреев, и крестьян он обложил непомерными поборами. Причем над иудеями издевался особенно изощренно: лишал имущества и, по их словам, «оставил без платежа один только воздух». Может статься, евреи и дальше бы сносили оскорбления и побои этого отставного Казановы, но им на помощь пришел влиятельный соплеменник Абрам Перетц. Он был дружен с всесильным Иваном Кутайсовым, а тот «употреблял все уловки и интриги, чтобы приобрести Шклов у Зорича». Понятно, что Кутайсову было выгодно упечь Зорича за решетку, чтобы самому сделаться «Шкловским деспотом», потому он в 1798 году посодействовал тому, чтобы жалобам на Зорича был дан ход. Перетц же действовал здесь вполне бескорыстно, ибо желал любым путем облегчить участь своих единоверцев. Один из жалобщиков, поверенный местного еврейского общества Мордух Ицкович, свидетельствовал, что 3 февраля 1798 года Зорич, «собрал из жительствовавших в Шклове купцов евреев, бил их жестоко, а у некоторых из них без суда насильным образом имение себе забрал, выгоняя из местечка, с назначением срока не более 24-х часов к выезду».

Вопиющий произвол Зорича, его преступное отношение к евреям били в глаза любому непредвзятому наблюдателю. Но только не Державину. Этот будущий министр российской юстиции был убежден в коллективной вине народа Израиля перед всем крещеным миром. Тем более что перед этим он встретился со Стуковым, который снабдил его помянутыми книжками, якобы изобличающими иудеев в «открытой вражде» к иноверцам. А коли так, доносил Державин императору, «один народ против другого, по законам беспристрастным, свидетелем быть не может», и «доколь еврейский народ не *оправдается* перед Вашим Императорским Величеством в ясно доказываемом (? — Л. Б.) на них *общем противу христиан злодействе*», как вообще возможно этих «злодеев» слушать? Великий поэт выступил в роли «законника», полностью оправдывавшего бесчинства православного Зорича и ставившего евреев в положение париев, изначально обреченных на бесправие в силу их окаянной и дьявольской природы. Но вот незадача: ставя на крапленую юдофобскую карту, Гаврила Романович не уловил зефилов, дувших с горних сфер. К удивлению Державина, Павел повелел совершенно оставить в стороне сенненское дело и прочие беспочвенные подозрения, а «единственным предметом отправления поставить исследование жалоб, приносимых от евреев на притеснения Зорича». Говоря о мотивах сего царева решения, нельзя, конечно, сбрасывать со счетов неприязнь Павла к фавориту нелюбимой матери и к домогательствам близкого к нему Кутайсова. Но все-таки определяющим было здесь свойственное императору чувство справедливости и благожелательность по отношению к иудеям, что вышло наружу и в других делах о так называемых «помещичьих евреях».

А ведь еще со времен Речи Посполитой помещики привыкли драть три шкуры с проживающих на их земле иудеев, и тем привелось испытывать на себе религиозную ненависть, произвол, обиды, глумления, насилие, денежные поборы. Такое по-

ложение дел сохранилось и при переходе Польши и Литвы под российский скипетр. И необходимо воздать должное Павлу, положившему этому предел.

Монарх вынужден был окоротить некоторых зарвавшихся крепостников. Новоместский староста Михаил Роникер «делал евреям разные угнетения», «опечатал в собственных их домах шинки, запретил продажу питей и потом некоторых из них сек», завывшал арендные подати. «По высочайшему повелению с Роникером... было поступлено по всей строгости законов, и приняты были все возможные меры к ограждению евреев от притеснения». С обидчика была взыскана в пользу евреев значительная сумма денег, и он был посажен на шесть недель «на вежу». А местному губернскому правлению было рекомендовано следить за тем, чтобы староста «впредь ни под каким видом не притеснял новоместских жителей, не чинил им никаких непозволенных налогов, обид, как личных, так и в имении и торговле, и не препятствовал им разбираться между собою в делах духовных и партикулярных в своей синагоге».

Был примерно наказан и другой притеснитель евреев — владелец местечка Соколовки Киевской губернии Станислав Потоцкий. С жалобой на него к императору обратился поверенный местного еврейского общества Файвиш Хаймович. Он показал, что еще в бытность Речи Посполитой помещики, «льстясь на трудолюбие и способность евреев к промыслам, склоняли их к жительству в поместьях, обещая великие выгоды». Вот и Потоцкий пригласил иудеев поселиться в Соколовке, посулив «ограничение с них сборов». Но как только те «застроились», землевладелец свое слово вероломно нарушил и стал лютовать, «подати на евреев новые налагая, а старые повышая до чрезвычайности». Хаймович просил государя о защите его народа от тех, «кто простирает свою власть над евреями чрез пределы». И вот что замечательно: это, казалось бы, частное дело стало, говоря современным языком, резонансным для всей империи. Павел распорядился: «собрать от начальников губерний и казенных палат сведений и мнений относительно содержания евреев в казенных и партикулярных селениях на таком основании, чтобы *не были отягощаемы излишними поборами и налогами от владельцев*». В результате «великое число евреев» стало свободно от самовластья крепостников.

Павловское царствование отмечено деятельной разработкой всевозможных проектов реформ еврейской жизни в России. Они не были претворены в жизнь, и реакция на них правительства неизвестна. Но важно то, что импульс к изучению вопроса был дан самим государем, озаботившимся тем, чтобы российские евреи приносили державе ощутимую выгоду. После того как Павел ободрил и наградил Ноту Ноткина, отбоя от разного рода прожектов, «как обустроить евреев России на пользу общую», не было. Их многочисленность говорит о том, что пыл новоявленных реформаторов награждался правительственными субсидиями. Отрадно то, что со своими предложениями улучшить участь своих единоверцев выступают и сами евреи. До нас дошли проекты неких Исаака Авраама и Вольвициса, причем в проекте последнего предлагался целый ряд смело задуманных мер фискально-экономического свойства.

Своими соображениями по еврейскому вопросу делятся с Павлом литовско-грозненский гражданский губернатор Дмитрий Кошелев, протоколист Северин Вихорский, отставной премьер-майор Горновский, коллежский асессор Крамер, купец Шукрафт и многие, многие другие. Эти самозванные реформаторы еврейства, движимые, по их словам, «искреннейшим усердием к благу Российского государства», «яко малую жертву таковых чувств, с благоговением дерзают подвергнуть к подножию престола скудные замечания свои». Останавливаться на этих нереализованных

проектах нет надобности, но стоит заметить, что сочинители их по большей части и впрямь демонстрируют «скудность» мысли — полное незнание религиозной и бытовой жизни, истории народа, который они возжелали судить и поучать. Не случайно Юлий Гессен назвал подобные проекты «обывательскими» и не заслуживающими внимания.

Гораздо более серьезный и взвешенный подход к предмету продемонстрировал литовский губернатор Иван Фризель (1740–1802). Глубоко изучив быт евреев, он подошел к вопросу не только с точки зрения христиан, но принял во внимание и нужды самих иудеев. В представленном им плане (1799) нет и следа религиозной фобии, столь часто встречающейся в прочих проектах. «Исповедание еврейское, — пишет Фризель, — не будучи противно государственным узаконениям, терпимо в Российской империи, наравне с прочими, ибо все веры имеют одну цель». Чтобы «предохранить простых евреев от угнетения и привести народ сей в полезное для государства положение», он высказался за уничтожение еврейской автономии, отягощенной всеилием олигархического кагала. Иудеи, подчеркивал он, «народ вольный». Потому еврейским «купцам (следует) позволить, наравне с прочими, пользоваться всеми преимуществами, купечеству предоставленными. Равномерно и ремесленников соединить в правах с прочими, приписав их к цехам, в которые принимались без разбору всякой нации люди». Он ратует за то, чтобы сыны Израиля «пользовались всеми предоставленными городским жителям правами», участвовали в выборах и сами занимали выборные должности. Ратует он и за создание класса евреев-хлебопашцев и побуждает власти выделить на это значительные государственные ассигнования, причем предлагает их уравнивать в правах с «российскими однодворцами». Особое внимание уделяет он просвещению евреев, их приобщению к европейской и русской культуре.

Как это ни парадоксально, но из всех поданных государю проектов широкую известность получило лишь пространное «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обуздания корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и прочем» (1800) Гаврилы Державина, тиснутая впоследствии немалыми тиражами разными «патриотическими» изданиями. Изучено оно детально (полярные оценки сего проекта даны в книгах Александра Солженицына «Двести лет вместе» и Семена Резника «Вместе или врозь?»), и мы не будем останавливаться на нем подробно. Отметим только, что в основу «Мнения» положены религиозная неприязнь и фанатическое недоверие к евреям. Державин был сторонником принудительных, запретительных, репрессивных и «скулодробительных» мер по отношению к евреям. «В деле с христианами у них правды быть не может, — утверждал он, — сие запрещено талмудами». Осторожно (памятуя об отрицательном отношении Павла к сему вопросу) он вновь повторяет застарелые байки о ритуальных преступлениях евреев, утверждая, что таковые в «кагалах бывают защищаемы».

Если Фризель (а с его проектом, равно как и с планом Ноты Ноткина, Державин был ознакомлен) смотрел на евреев как на российских подданных, которые с проведением необходимых реформ станут равноправными гражданами, полезными для державы, то Державин исходил из изначальной преступности иудеев и не признавал их «собственно принадлежащими российскому государству». Он желал уничтожить кагал, но не допускал при этом сближения евреев с христианами (ибо опасался иудейского прозелитизма), настаивал на черте оседлости и особых кварталах (гетто) в городах, был ярким противником предоставления евреям гражданских прав (не говоря уже о праве участвовать в выборах и быть избранными). И хотя «Мнение» со-

держало некоторые разумные предложения (отмена двойной подати, приобщение евреев к производительному труду и общему образованию), оно, без сомнения, было глубоко реакционным. Вот что говорит историк: «Проект Фризеля должен был сотворить новую еврейскую жизнь, проект Державина — разрушить старую; в первом случае евреи бы возродились в атмосфере равенства, во втором — еще ниже пали бы в экономическом и нравственном отношении под тяжестью бесправия и общественного унижения».

Державин предложил ввести должность начальствующего над евреями христианина-протектора, обладающего самыми широкими полномочиями. Согласно «Мнению», таковому протектору (не без помощи им же назначенного синедриона) надлежало руководить бытовой, духовной и религиозной жизнью иудеев и лично докладывать об этом императору. И пост протектора Державин намеревался занять сам, что небезынтересно с психологической точки зрения. А именно: чем могла привлекать такая должность сенатора-юдофоба, да к тому же убежденного в том, что и евреи остро его ненавидят?! Ведь о том, как люто мог блюсти такой протектор еврейские интересы, можно судить хотя бы по тому, что ослушников, не желающих заниматься земледелием и ремеслами, он намеревался ссылать в Сибирь, «в вечную работу в горные заводы и без жены», и вообще предлагал самые крутые меры наказания. И при этом такую суровость к «врагам Иисуса» он не только оправдывал, но видел в этом высшую христианскую миссию.

Павел I смотрел на иудеев иначе, чем Державин. Он проникся уважением к их вероучению и принял судьбоносное для еврейской религиозной жизни решение. И сделал это 9 декабря (19 кислева) — в праздник, отмечаемый в общинах хасидов всего мира. В начале XX века литератор Моисей Альтман писал: «Этот день, когда “старый ребе” Шнеур Залман (да будет мне прощено, что имя его вывожу на этих светлых страницах), один из первых основоположников хасидизма, был выпущен на свободу из тюрьмы, куда попал по проискам своих религиозных врагов. Каждый год в этот день хасиды собираются вместе и во славу ребе поминают его учение, дела, жизнь, веселятся, пляшут, пьют и едят». Но мало кто знает, что подлинным виновником сего торжества был император Павел, освободивший этого хасида из темницы.

Дело в том, что еврейская среда раскололась тогда на две непримиримо враждующие группировки — на сторонников ортодоксального иудаизма — миснагдим и на новообразованную секту хасидов (каролинов). Учение последних, собравших под свои знамена огромное число адептов, было серьезным вызовом традиционалистам. Хасиды выступали против неоправданного аскетизма, пустого формализма и начетничества, настаивали на личном религиозном совершенствовании. И идеалом, духовным светочем для них служил цадик (ребе, мудрец, лидер хасидов), пользовавшийся в общине непререкаемым авторитетом. «Что старец Зосима для Алеши, что ребе для истинного хасида. — говорит еврейский писатель. — Кто такой ребе? Это живой идеал, это образ и подобие Бога в человеке. Это — Чудо, Авторитет, Тайна... Он еще — Откровение. Откровение того, что в нем — ты, а он — в тебе, что хасид и ребе, что верующий и объект веры — одно».

Традиционные раввины не могли не ощущать падение их авторитета, сокращение членов их общин и ослабление позиций в кагалах. Они неоднократно накладывали херем (проклятие) на хасидов, запрещая «правоверным» иудеям вступать с ними в деловые отношения, не говоря уже о браке. Обвинения, одно страшней другого, так и сыпались на головы религиозных противников: «Они нарушили законы, отвергли

постановления своего Создателя и делают в божественном учении открытия, несогласные с истиною. Между ними есть люди, запятнавшие себя кровью невинных бедняков. Всякому дурному делу они содействуют, всякого злодея и грешника они поддерживают. Нужно всенародно наказывать скорпионами этих безумцев для их же исправления. Облекитесь рвением во имя Бога, пусть искры летят из-под ваших ног, пусть пламя пышет из уст ваших, пусть сверкает меч — меч-мститель за божественный закон, за священный завет!» Однако призывы расправиться с хасидами оставались пустыми декларациями, а их духовный вождь Шнеур Залман из города Ляды (1747–1812) своими страстными проповедями умножал число сторонников «нового учения».

Потерпев поражение в открытой борьбе за умы и сердца еврейской массы, миснагим прибегли в 1798 году к доносу на Шнеура Залмана и его ближайших наперсников. Извечник, подписавшийся вымышленным именем «Гирш Давидович из Вильно», понимая, что религиозные взгляды не причина для обвинения, выставил хасидов политическими преступниками и уличил их «во многих вредных для государства поступках». Поводом послужило то, что Шнеур Залман посылал деньги своим соплеменникам в Палестину, находившуюся тогда под турецким владычеством. Этого оказалось достаточно, чтобы объявить сектантов изменниками и шпионами. В том, что доносу был дан ход, немало подействовал истый миснагед Абрам Перретц, возвращавшийся в высших петербургских сферах. И вот литовский гражданский губернатор получает высочайшее предписание: Шнеура Залмана и его «главнейших здешних сообщников прислать за крепким караулом» в Петербург. Всего было арестовано 22 хасида, семеро признаны «главными сообщниками начальника их», остальных допросили с пристрастием и оставили на месте под стражею. В Петербурге допросы продолжились уже в Тайной канцелярии, а Шнеуру Залману пришлось изложить на бумаге пространный ответ на все пункты предъявленного обвинения. Переводчиком с иврита был литератор Лев Невахович, который сочувствовал хасидам и представил дело государю в выгодном для них свете. Вывод императора был однозначен: «В поведении евреев, коих считают в секте той, нет ничего вредного для государства, ниже развратного в нравах и нарушающее общее спокойствие». По указу Павла 9 декабря 1798 года все заключенные были выпущены на свободу (Шнеур Залман успел просидеть в тюрьме 53 дня), «а секта каролины именуемая осталась при прежнем своем существовании».

Юлий Гессен отмечал, что правительство интересовала лишь политическая направленность деятельности хасидов, однако император дает ей, как видно, и моральную оценку («нет ничего... развратного в нравах»). Подобный взгляд веротерпимого Павла резко контрастировал с позицией придворных юдофобов, настаивавших на дурной нравственности иудеев и враждебности их религии христианскому вероучению.

Попытки ошельмовать хасидов предпринимались и позднее, свидетельством чему стал донос императору пинского раввина Авигодора Хаймовича (1800), в коем он выставил своих противников людьми безнравственными, не признающими государственного порядка. Этот самый Хаймович в прошлом писал панегирические сочинения, и по его словам, что он «понравился Павлу», можно заключить, что этот доносчик добился у государя аудиенции. Шнеур Залман был вторично схвачен. Здесь сыграло роль и то, что Державин во время своей инспекционной поездки в Белоруссию не был впечатлен встречей с Шнеуром Залманом и, со слов миснагим, аттестовал его как «лицемера», «ханжу» и сообщил, что «через него переводят (хаси-

ды) серебряные и золотые деньги в Палестину». Ребе вновь должен был обстоятельно отвечать на предъявленные ему обвинения. И ответы хасида, по словам самого Хаймовича, «понравились Павлу». Шнеур Залман был освобожден. А император, поняв истинный характер противостояния сторон, повелел: «Дело между евреями Авигдором Хаймовичем и Залманом Боруховичем, касающегося до их религии и прочего, в Сенате рассмотреть и учинить положение, на каком основании быть секте хасидов и кагалам». Так хасиды были окончательно легализованы в России.

Интересно в этой связи отметить, что случаи крещения евреев в павловское время единичны и куда более редки, чем у представителей других этносов и конфессий. Так, согласно газете «Московские ведомости» за 1798 год, в России приняли православие всего три еврея «мужеского пола», в то время как перекрестов из татар, мордвы, а также из католиков и лютеран — более 40 человек.

Гаврила Державин, перефразируя известные стихи Горация, писал, что «памятник воздвиг себе чудесный, вечный» не в последнюю очередь благодаря тому, что «истину царям с улыбкой говорил». Однако об опасностях, исходящих от евреев, об их «корыстных промыслах», о злокозненности этого «рода строптивного и изуверного» он докладывал Павлу без тени улыбки, но с убийственной серьезностью. «Таким образом... — заключал он свое «Мнение», — в своем печальном состоянии (иудеи) получают образ благоустройства. А Павлу Первому предоставится в род и род незабвенная слава, что он первый из монархов российских исполнил сию великую заповедь: “Любите *враги ваша*, добро творите *ненавидящим вас*”».

Истина состоит в том, что именно Павел первым из российских венценосцев всерьез озаботился благоустройством иудеев в империи. Этот монарх вовсе не считал их врагами и ненавистниками христиан. И славен он тем, что первый и, пожалуй, единственный из монархов российских был начисто лишен антисемитизма, в том числе и религиозного.

Андрей БУРОВСКИЙ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИЗМ VERSUS ТРАДИЦИИ

Мне не нужна традиция. Я хочу думать своей головой,
а не головами покойников.

К. Понпер

В 1804 году русские войска впервые ответили набегом на чеченский набег. Не ответить на набеги горцев российская армия не могла: ни одно государство никогда не могло и не может допустить, чтобы его подданных грабили и превращали в рабов. А Грузия была для адыгейцев, лезгин и чечен полем охоты на рабов, и местом грабежей. С появлением русского крестьянства у них возникло еще одно такое поле...

По мнению современников, «кавказская война выросла из набеговой системы» (1). Завоевать земли горцев Россия не могла, прочно победить их не могла. Реально русская армия могла только стараться перехватывать во время набега «злого чечена, ползущего на берег», или отвечать набегом на набег, уничтожая жилища и посевы горцев, обрекая их на голод. Этот кошмар «стратегии выжженной земли» длился десятилетиями, а ведь нет сомнения, что стоило горцам отказаться от набегов – и он бы прекратился.

И власти Российской империи, и русское общество готовы были воспринимать горцев так же, как любых других новых подданных, но с одним условием – немедленное прекращение набегов. Беда в том, что горское общество могло выполнить почти любое другое условие, но не это...

Кавказская война, одна из самых кровопролитных, долгих и тяжелых войн, какие только вела Россия за всю свою многострадальную историю, длилась до 26 августа 1859 года, когда Шамиль вынужден был капитулировать в ауле Гуниб, почти снесенном с лица земли горной артиллерией.

За эти 55 лет погибнет 70 тысяч русских солдат, примерно столько же грузинских ополченцев, и несколько сот тысяч горцев разных племен. Будут расточены колоссальные материальные ресурсы, затрачены невообразимые усилия обеих сторон.

Андрей Михайлович Буровский – кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор СПбГУСЭ.

НЕВА 12'2012

Русские офицеры и генералы даже в условиях войны готовы были относиться к горцам патерналистски, совершенно справедливо считали набеговую систему «дитятей бедности», но одновременно (и тоже справедливо) считали набеги проявлением дикости и некультурности горцев. Долгое время русские офицеры и государственные деятели искренно считали, что надо толко «устроить» жизнь горцев, сделать ее «обеспеченной от лишений», стабильной, как набеги окончатся сами собой.

В какой-то степени они были правы, эти благожелательные русские люди. Опыт человечества доказывает, что рост населения происходит всегда и везде, в любой человеческой популяции и при всяких условиях жизни. Происходил он и в бедных долинах Северного Кавказа. Рост населения рано или поздно приводит к тому, что продуктов питания начинает не хватать. Возникает пресловутое «относительное перенаселение». «Относительное потому, что перенаселение всегда величина условная; стоит перейти к более интенсивной технологии производства – и на той же территории начинает кормиться во много раз большее население. В конце концов, в современной богатой Скандинавии живет раз в 20 больше людей, чем во времена викингов. А относительного перенаселения нет, и шведская и датская молодежь вовсе не вынуждена заниматься морским разбоем и завоеваниями земель в Сицилии.

Но что, если переход к интенсивным технологиям невозможен или затруднен? Тогда общество может использовать одну из трех стратегий (2): расселиться на другие территории (желательно с похожим климатом и условиями жизни); завоевать уже населенные земли, чтобы эксплуатировать своих данников или подданных; сделать так, чтобы населения стало поменьше.

Расселяться в тесных горных долинах решительно некуда. Завоевать большую империю и удерживать ее силами горцев было совершенно невозможно. Набег позволял жить за счет других, более богатых обществ. А поскольку в набегах всегда погибала какая-то часть молодых мужчин, набеговая система помогала и регулировать численность населения; все-таки население росло не так быстро, а в какие-то периоды могло и сокращаться, оставшимся уж хватало продуктов. .

Но быстро выяснилось – дело вовсе не только в экономике, и не только в культурной отсталости горцев. Набеговая система возникала веками как реакция на кризис общества и природы – нет слов. Но сложившись, набеговая система сформировала совершенно определенный тип общества, и определенный человеческий типаж.

Способность участвовать в вечной войне всех против всех сформировала людей невероятно агрессивных, крайне жестоких, очень равнодушных и к собственным страданиям, и к страданиям других людей. В горах Кавказа самым выигрышным способом вести себя на протяжении поколений была готовность к военным действиям, к бою в любой решительный момент. Самому лично – против истинного или надуманного «обидчика», силами своей семьи – против других семей, в составе отряда своего рода или племени – против других родов и племен.

Для европейца, вообще для человека старой земледельческой культуры, человек, который отвечает ударом кинжала или выстрелом на сказанное невпопад слово, или мстит убийствами за обиду трехсотлетней давности; тот, кто похищает коня или оружие просто потому, что «не может удержаться» (как горские герои Лермонтова), должен рассматриваться в лучшем случае как инфантильный, антиобщественный тип, а то и попросту как смертельно опасный безумец. Но для горцев многие поколения проявление агрессивности, неуживчивости, неустойчивого настроения, непредсказуемого поведения, готовности драться с кем угодно при любом перевесе сил и рисковать жизнью даже из-за пустякового каприза были так же важны, как для

земледельца из теплой долины — трудолюбие, аккуратность, доброжелательность к другим людям, любовь к животным и растениям.

Не проявляя этих качеств, горский подросток вызывал у окружающих сомнения в том, что он правильно развивается, а юноша — в своей приспособленности к жизни. Набег же оказывался не только доходным экономическим мероприятием, но и важным общественным институтом, и формой социализации нового поколения. В какой-то степени — даже формой инициации. Только приняв участие в набеге, юноша и в собственных глазах, и с точки зрения соплеменников, из «совсем большого мальчика» превращался в члена сообщества взрослых мужчин, потенциального жениха и хозяина в доме.

Набег был проверкой личных качеств и совсем взрослых горцев, подтверждением их общественного статуса. Во все века и у всех народов обязанностью взрослого мужчины было кормить семью. В набеговой же системе умение воевать, набегать на чужую землю и возвращаться, грабить поверженного врага, похищать и продавать рабов, было ценнейшими качествами хозяина — ничуть не меньшими, чем в обществе земледельцев было умение становиться сельским хозяином, а в современном обществе — умение выполнять квалифицированную работу.

Отказавшись участвовать в набеге, юноша рисковал обвинением в трусости, в отсутствии мужских качеств. Такое обвинение было бы предъявлено ему незамедлительно, а если бы он не «смыл его кровью», оскорбление превратилось бы в диагноз. Но и взрослый мужчина, перестав «набегать» вместе с другими, не только рисковал не свести концы с концами в хозяйстве, но и выпадал из системы общественных отношений. Родовичи и соплеменники буквально не знали, как к нему относиться, каков теперь его общественный статус и что должен и может делать такой человек.

Так набег оказывался важнейшим не только с экономической и социальной, но и морально-нравственной точки зрения. Краеугольным камнем для любых морально-этических оценок.

Русские офицеры долгое время были искренне убеждены: горцев можно убедить не набегать! Ведь преимущества мирной жизни очевидны; наверное, горцы просто еще об этом не знают... Поверьте, в моих словах нет ни малейшей покусности на иронию! Цивилизаторский пафос привел в горы такого образованнейшего человека, как генерал Анреп, искренне намеревавшийся замирить горцев «силою своего красноречия».

«С ним был переводчик и человек десять мирных горцев, конвойных. Они проехали в неприятельском крае десятка два верст. Один пеший лезгин за плетнем выстрелил в Анрепа почти в упор. Пуля пробила сюртук, панталоны и белье, но не сделала даже контузии. Конвойные схватили лезгина, который, конечно, ожидал смерти; но Анреп, заставив его убедиться в том, что он невредим, приказал его отпустить. Весть об этом разнеслась по окрестности. Какой-то старик, вероятно важный между туземцами человек, подъехал к нему и вступил в разговор, чтобы узнать, чего он хочет? «Хочу сделать вас людьми, чтобы вы веровали в Бога и не жили подобно волкам!» — «Что же, ты хочешь сделать нас христианами?» — «Нет, оставайтесь магомедовой веры, но только не по имени, а исполняйте учение вашей веры» После довольно продолжительной беседы, горец встал с бурки и сказал очень спокойно: «Ну, генерал, ты сумасшедший, с тобою бесполезно говорить».

Я догадываюсь, что это-то убеждение и спасло Анрепа и всех его спутников от верной гибели: горцы, как и все дикари, имеют религиозное уважение к сумасшедшим. Они возвратились благополучно, хотя конечно без всякого успеха» (3).

Как видно, конфликт России и горцев — это конфликт двух культур; двух систем ценностей; двух этических систем. Причем в системе оценок русской стороны горцы — это своего рода «глупые русские» или «недоразвитые европейцы». Нужно им разъяснить всю глубину заблуждений, просветить — и они начнут жить «правильно».

Для горцев же русские в их стремлении остановить набеговую систему — это безумцы, просто не понимающие вещей, очевидных даже для ребенка: необходимости набегать на тех, кто хоть чуть-чуть богаче тебя самого, воровать лошадей, оружие и девиц, высокого пафоса грабежа чужого имущества, сжигания урожая и жилищ врагов, или торговли рабами. С ними нечего и говорить.

Приведу еще один пример, удивительным образом тоже связанный с горами. В 1830-х годах британцы узнали о том, что маленькое горное племя кхондов приносит человеческие жертвоприношения. До этого время кхондов англичане знали мало; разве что как проводников, да великих знатоков зверей, растений и звериных троп. Кхонды населяли хребет Гатов, плоскогорье с экзотическим именем Чхота-Нагпур; они редко появлялись в теплых богатых долинах; молчаливые, сдержанные, они откровенно робели перед сильными мира сего, и мало говорили о себе. А их красивые, полные диких слонов, тигров и кабанов, но бедные и холодные горы мало интересовали британцев. Вот если бы в горах, где живут кхонды, еще и находили бы алмазы...

А тут оказалось — у кхондов есть даже специальная каста людей-жертв — мерия. В древности вожди приносили в жертву собственных детей, позже стали покупать человека-замену. Мерия становились купленные рабы-иноплеменники, или дети злостных должников. Часто мерия долго жили после покупки, до принесения в жертву. Мерия могли выбирать себе жен, но их дети тоже становились мерия... За мерия тщательно следили, не выпускали их из специальных хижин, которые старательно запирали на ночь (при том, что дома кхонды не запирали). И наступал день, когда одну из жертв зверски убивали в честь богини.

Дело в том, что кхонды, как многие примитивные земледельцы, почитали мать-сырную землю, и символизирующую ее Великую Богиню. Богиня требовала жертв — раз в году ей надо было приносить в жертву мальчика или молодого мужчину. И как страшно приносили эту жертву! Вкапывался резной красивый столб, — чудо народного творчества, фантазии, вершина искусства резьбы по дереву. Жертву отделяли от других мерия, долго издевались над ней, высмеивали ее судьбу. Чем больше убиваемый плакал, кричал, сердился, бросался на убийц, тем считалось, лучше будет жертва. После долгого приготовления, барабанного боя и танцев, жертву валили возле столба, прижимали к земле, специальными щипцами вырывали куски мяса из спины и ягодиц, закапывали в разных местах площадки. Кровью еще живого человека кропили окрестные растения, и чем дольше это продолжалось, чем дольше жила жертва — опять же, тем лучше. Труп расчленялся, по кускам закапывался в окрестностях.

Ритуал совершался раз в год, в великой тайне. Не потому, что кхонды считали принесение жертв чем-то скверным, а потому, что это ведь был ритуал Великой Богини. Ритуал, без которого не могли расти просо и рис, не могли идти дожди и цветы, благоухать весенние джунгли. Действие вовсе не порочное, не гадкое, и потому скрываемое; а скорее глубоко интимное, и потому не обсуждаемое широко, и тем более — с посторонними. Так люди не обсуждают с кем попало подобностей своей интимной жизни или семейной истории.

По одной версии, все выяснилось потому, что один кхондский юноша много раз охотился с британскими офицерами, проникся к ним доверием, и рассказал, куда и зачем исчезает на несколько дней в году.

По другой версии, полковник Перкинс после охоты в Гатах, привез оттуда красивый резной столб, и подарил его губернатору в Мадрасе. Встречая принца Уэльского, индийские чиновники собирали танцоров из разных племен, привезли и кхондов; те увидели резной красивый столб, привезенный лихим британцем с гор. С расширенными глазами, с посеревшей кожей прикасались кхонды к столбу, повторяя на разные лады незнакомое слово «мерия». Британцы почувствовали за этим какую-то мрачную тайну, допросили кхондов поподробнее... А кхонды и не очень запирались. Они только не знали, что британцы тоже поклоняются Великой Богине... а то иначе зачем им столб мерия? И если британцы хотят, кхонды сделают им много таких столбов...

Судя по всему, обычай мерия был связан с перенаселением, в точности как и набеговая система. По крайней мере часть кхондов не приносили в жертву мерия, но «зато» именно у этих племен кхондов убивали новорожденных девочек, — до половинности родившихся: надо же было регулировать рост численности населения.

Допускаю, что проблема мерия была для британского правительства и Ост-Индской кампании предлогом — наложить лапу еще и на горы кхондов. Но ведь наверняка, не только предлогом! В конце концов, британское общество можно обвинить в чем угодно, но не в людоедстве же. Ни англиканская церковь, ни гражданские институты человеческих жертв тоже как-то не требовали. Гнусная тайна обсуждалась в клубах, в офицерских собраниях, по месту службы, в семьях за вечерним чаем; об этом писали газеты. Прекратить человеческие жертвоприношения в своей колонии британцы считали делом чести, и я не уверен, что лицемерно. Британцы создали специальное Агентство по борьбе с человеческими жертвоприношениями. С 1855 по 1861 год зафиксировали «всего» 22 жертвоприношения, и на этом Агентство было ликвидировано, как выполнившее свою миссию. Уже из этой цифры видно, каков был масштаб убийства мерия в традиционной повседневной жизни мерия, «до британцев».

Конечно же, действия колониальных властей демонстрируют все обычные перлы взаимного непонимания. Разумеется, кхонды совершенно не понимали, зачем британские офицеры мажут их большие пальцы в саже и прикладывают к бумаге. Они не имели ни малейшего представления, что это они дают подписку: не приносить человеческих жертв. Зато они очень хорошо понимали, что у них отнимают ценнейшую собственность — мерия, за которую плачены крупные деньги. С кхондами воевали в 1835 году, в 1837-38 годах, в 1846-1849 годах, в 1855-1861 годах.

Чеченцы и лезгины были несравненно более грозным противником, чем кхонды, не знавшие ни лошадей, ни железного оружия, ни ружей, ни воинской дисциплины. Даже сравнивать невозможно войны британцев с кхондами и жестокою Кавказскую войну, грохотавшую в те же годы, в 3 тысячах верст к северу. Но и кхонды были энергичны и отважны. Как все первобытные люди, они не очень понимали ценность индивидуальной жизни, и с тем большей легкостью жертвовали собой. Они ставили ловушки на тропинках; протапывали ложные тропы, и выкапывали на них ямы; в одиночку или маленькими отрядами внезапно выскакивали из леса, пускали стрелы в марширующие колонны. А когда британцы подходили к их деревням и городкам, кхонды принимали бой в открытом поле — луки и стрелы против нарезных винтовок и современной горной артиллерии.

Конечно же, первобытное племя было наголову разбито. Британцы оккупировали страну кхондов, и запретили ужасный обычай. Они пригрозили сжечь артиллерийским огнем всякую деревню, жители которых принесут человека в жертву Вели-

кой Богине. Они пообещали землю и золото всякому, кто расскажет о готовящемся преступлении. Они освободили несколько сотен мерия, и запретили покупать новых.

Британцы даже пытались научить освобожденных мерия грамоте, использовать как разведчиков и солдат. Тут их ждало разочарование: оказалось, что большая часть мерия в той или иной степени невменяемы, а даже самые здоровые, мягко скажем, не блещут талантами. Что делать! Отбор не самых полноценных людей, стресс в ожидании страшной смерти сделали свое дело. Не больше 200 мерия удалось сделать солдатами, христианскими проповедниками и тайными агентами. Остальные бывшие мерия, пополнили собой отбросы общества больших индусских городов. Но ведь я думаю, британцы и в этом случае действовали из самых благородных побуждений. Люди любят тех, кому они сделали добро, и искренне считают «своими» тех, кого они спасли. Это не худшие черты человеческой природы, право слово.

Для кхондов соблюдение обычая стало формой сопротивления (так в советских лагерях верующие люди соблюдали христианские обряды). Британцы искали тайные места жертвоприношений, спасали мерия, а виновные деревни сравнивали с землей. В 1849 году множество спрятанных мерия спас мальчик, убежавший из подземного «схорона». В другом случае предал сын вождя, польстившийся на красивое оружие.

Судя по всему, меры британских властей принесли только часть желаемого результата: в 1902 году кхонды обратились с письменной просьбой в окружной магистрат Ганджама с просьбой принести в жертву человека. В просьбе им отказали, но никто особенно не интересовался, был совершен ритуал или нет. В 1947 году в одном из храмов штата Орисса найден был труп бродяги; обстоятельства убийства оказались более чем странные (4). По мнению Английского этнографа В. Элвина, который долго работал советником по делам племен в уже независимой Индии, жертвоприношения происходили и в 1950 годы... иногда.

Как всегда, национальная самобытность и народная традиция отступила только перед ликом космополитического, злого прогресса, стремящегося все нивелировать, всех сделать одинаковыми. В Гатах стали разбивать плантации чая, через горы проложили дороги, и кхонды начали работать на них в качестве кули, у них появились деньги. Исчезла экономическая необходимость душить новорожденных девочек и вырывать куски мяса из живых мерия. «Оказалось» горы могут прокормить гораздо больше людей, чем думали деды и прадеды.

Прошло еще два поколения — и в середине XX века появились кхонды-торговцы, кхонды-предприниматели (скажем, владельцы автобусов), а несколько юношей уже после второй мировой войны получили высшее образование. В наше время обычаем «мерия» изучают внуки тех, кто эти жертвы приносил.

История с мерия имеет еще более мрачный колорит: настолько же, насколько принесение в жертву человека мрачнее набега. И конечно же, это история точно такого же культурного конфликта, какой возник у Российской империи с горцами. Это конфликт культур, находящихся на разном уровне исторического развития. Для англичан кхонды — своего рода «глупые британцы» или «недоразвитые англичане», которые пока еще не поняли, как «на самом деле» устроен мир, и что должен делать и чего не должен делать цивилизованный человек.

Для кхондов же британцы — это «сумасшедшие кхонды», которые не понимают, что без принесения в жертву «мерия» не будет всходить солнце, цвести деревья и травы, и вообще не наступит весна. Между прочим, зафиксированы принесения в

жертву стариками-кхондами самих себя. Будем справедливы, оценим мужество этих людей, которые ценой собственной жизни продолжали жизнь всего Мироздания. По крайней мере, они так считали.

Как правило, культура в процессе своего функционирования и развития не рефлектирует по поводу собственных установок: они кажутся единственно возможными, и уж во всяком случае, совершенно естественными. То, что в культурной традиции содержится жестокость, зверство, нечеловеческое отношение к человеку, совершенно не осознается «изнутри». Чтобы критически относиться к «своей» культуре, в которой человек воспитан, ему надо научиться «выходить» из нее, смотреть на свою культуру с позиции «другого». Такая возможность появляется только на очень высоком уровне развития культуры, и исторически недавно. Думаю, мы не сделаем большой ошибки, связав появление этой способности, и упорные попытки французских интеллектуалов XVIII века посмотреть на свою страну и свою культурную традицию с позиции то перса, то гуруна, то полинезийца, то китайца.

Само появление такой «саморефлексирующей» культуры связано с появлением обществ, которые марксисты называют «буржуазными», а серьезные ученые — «урбано-сциентистскими» (5). Но возникновение этого типа культуры связано вовсе не только с ростом городского населения, появлением промышленности и ежедневных газет, но в первую очередь — с ослаблением роли традиции в общественной жизни.

Для членов аграрно-традиционных обществ следование традиции, воспроизведение образа жизни и поведения предков — абсолютная, необсуждаемая ценность. Для современного человека (в том числе для чеченца и кхонда) знание, опыт и объективная истина ценности столь очевидные, что ему просто непонятно, как может быть иначе. Что существуют общества, которые вообще не интересуются нетрадиционными знаниями, не обращают внимание на опыты, пожимают плечами при попытках говорить об объективной истине.

Но вот в XVI веке известный анатом вскрывает труп, и показывает свидетелям, что к сердцу идет лишь одно нервное окончание, а от мозга исходит толстый спинной мозг, соединенный со всеми остальными нервными окончаниями, проходящими в организме. «Доказал ли я Вам, что человек думает не сердцем, а мозгом?», — обращается он к известному философу-перипаттику. И слышит в ответ: «Вы показали мне все это так ясно и ощутимо, что если бы текст Аристотеля не говорил обратного.... то необходимо было бы признать это истиной» (6).

В 1960-е годы московский ученый А. Кузнецов спорит со сванами — были в Сванетии монголы, или нет. Его собеседники — учителя истории (!), получившие высшее образование в университете. Но вопрос решается так: «Это надо спросить у стариков!» — говорит один. Узнаем у такого-то, он очень старый, — решает другой. Спросили. Были, говорят старики. Значит, были. И ... бессмысленно спорить и ссылаться на литературные источники, доказывая, что татарское нашествие обошло страну и татары никогда не проникали в Верхнюю Сванетию» (7).

Проблема рождения урбано-сциентистских обществ столь же увлекательна, сколь и выходит за рамки нашего исследования. Проконстатируем два принципиально важных обстоятельства:

1. Урбано-сциентистские общества рождаются исторически поздно на северо-западе Европы. Остальные общества Земли оказываются в положении «догоняющей модернизации» (8).

2. В урбано-сциентистских обществах знание и успешность важнее следования традиции. В аграрно-традиционалистских — наоборот.

Но если рефлексия по поводу традиции отсутствует, а сама традиция фактически сакрализуется, уже не надо удивляться — жестокость, содержащаяся в традиции, не замечается.

В частности еще и потому, что для традиции личность не существует вне общины или корпорации «своих». Гибель части «своих» (а уж тем более «чужих») вполне может быть чем-то, что стабилизирует положение этой общины и корпорации, позволяет ей достигать своих целей. И если даже у другой общины цели совершенно иные, она вполне лояльно относится к тому, что другая традиция для своих целей губит часть «своих»; — дело житейское.

Гуманизм, — достаточно специфическое европейское «изобретение», заставляет видеть не традицию — то есть некую совокупность людей, поступающих неким образом. Не общину, то есть некий надчеловеческий, надличностный организм. По крайней мере наряду с объединениями людей, еще и самого человека, и вполне допускать, что человек имеет полное право не участвовать в действиях «всех», не разделять общественных представлений, и не отдавать свою жизнь во имя функционирования этого общественного целого.

Скажем, народы Северного Кавказа традиционно считали нормой угон друг у друга скота, кражу девиц, торговлю рабами. Угон скота и кражу девушек — веселым молодецеством и полезнейшим видом спорта, без которого мальчик попросту не вырастет мужчиной. Торговлю рабами — еще экономичным, выгодным, и в высшей степени почтенным занятием.

Для европейца все эти действия — скорее всего попросту тупое зверство; но всякая попытка говорить о зверстве, которое повседневно и привычно творится в набеге, вызывает у них только пожимание плеч: «Ну, генерал, ты сумасшедший».

Такого рода конфликт «дурака» и «сумасшедшего» великолепно описывает Ю.М. Лотман, в весьма своеобразной форме: «Человек строит свой образ животного как глупого человека. Животное образ человека — как бесчестного животного.... В «нормальной» ситуации животные совсем не стремятся контактировать с человеком, хотя бы даже с целью его поедания: они устраниются от него, в то время как человек с самого начала как охотник и зверолов стремился к контактам с ними. Отношение животных к человеку можно назвать устранением, стремлением избегать контактов. Приписывая животным человеческую психологию, это можно было бы назвать брезгливостью. Скорее, это стремление инстинктивно избегать непредсказуемых ситуаций, нечто похожее на то, что испытывает человек, сталкиваясь с сумасшедшим» (9).

Но ведь точно такой же конфликт возникает вообще при всяком столкновении аграрно-традиционной и урбано-сциентистской культур. Можно сколько угодно осуждать колониализм, но это воспроизводится постоянно, как нормальное положение вещей: «колонизаторы» постоянно обнаруживают в традициях жестокость и грубость, которых там вовсе не замечают сами «туземцы».

«Сумасшедшие» колонизаторы пытаются изменить традиционное общество и помочь жертвам того, что они считают жестокостью (сплошь и рядом их действия совершенно неудачны, но это уже другой вопрос). «Глупые» туземцы бешено сопротивляются, отказываясь видеть изъяны в том, что завещано мудрыми предками.

В наше непростое время сомнения в существовании «векторного развития», прогресса и совершенствования общества (в том числе и прогресса морали) заставляет и многих западных людей очень плохо относиться к колониализму. Колониализм — это вторжение в жизнь суверенных народов! Суверенных народов, чьи обычаи и нравы ничем не хуже европейских!

Правда, внимательный исследователь обнаружит в «колониальной» ситуации гораздо больше более частных, но не менее значимых нравственных проблем. Возьмем хотя бы войну с кхондами.

Было ли вторжение британцев в Гаты вопиющим актом агрессии? Да, несомненно.

Защищали ли кхонды родную землю? Конечно же.

Был ли резной столб для жертвоприношений произведением искусства?

Был, да еще каким! Не во всяком музее можно такой отыскать.

Были ли мерия жалкими дегенератами, которых вроде бы и не особенно жалко? Да, наверное.

И с другой стороны:

Было ли нужно пресечь ужасный обычай?

Вроде бы, тоже — несомненно, надо было, и совесть цивилизованного человека добавляет: нужно как можно быстрее! Как только представится малейшая возможность.

Получили ли что-то кхонды от того, что их земли вошли в Британскую империю?

Конечно, получили, и даже очень много. Если бы не британцы, не было бы у них ни современной экономики, ни своей интеллигенции.

Никак здесь не получается ни истории про злых завоевателей и ангелоподобных защитников своей земли, ни истории про злых дикарей и милых, кротких духом прогрессенмахеров. В этой истории все смешивается, все слипается: корысть плантаторов и храбрость солдат и офицеров, умиравших ведь не за плантации. Жестокость колониальных властей, которую они способны рационально обсуждать, и первобытная жестокость самих кхондов, даже не понимавших, что они жестоки. Мужество защитников своей земли, и печальный факт — защищали-то они не только право жить само по себе, но и право на ежегодные убийства мерия

В индусском традиционном обществе, суверинитет которого так нагло попрали британцы, неприкасаемым отводилось место существ, сотворенных из грязи, поднятой Шивой из-под своих ног. Сама идея равенства в каком бы то ни было смысле (в том числе и в религиозном) глубоко чужда индусскому обществу, и сам «неприкасаемый» (всем защитникам неприкосновенности традиций стоит получше вдуматься в значение этого слова) считал себя и людей своей «касты» неполноценными, принципиально неравными людям «высоких каст». Так же точно и мужик в России еще сто лет назад сам вовсе не считал себя «ровней» барину или «антиллихенту», а раб, ворочающий жернова в подвале у богатого черкеса, превосходно «знал свое место».

В современном мире колониализм трактуется вполне однозначно — как акт агрессии, вторжения в чужие дела, и в конечном счете — как совершенно аморальное и крайне жестокое деяние. С этим можно только согласиться, пока мы рассматриваем отношения народов и государств, не «опускаясь» на уровень более частных интересов и отношений — на уровень интересов и отношений отдельных этнокультурных групп или отдельных людей. Но при более близком рассмотрении проблемы, если «опуститься» на уровень более частных взаимоотношений, картина вырисовывается другая. Не более благостная, но несравненно более сложная.

В числе всего прочего, колониализм оказывается и наиболее жестким, самым «обнаженным» из возможных выступлением нововременного гуманизма против повседневной, бытовой жестокости традиционного общества. То есть по отношению к индусскому обществу в целом, по отношению к государствам Великих Моголов и племени кхондов колониализм творит насилие. Ничуть не меньшее насилие обрушивается на политическую а порой и на культурную элиту «колонизуемых» обществ.

Интересный факт: конфликт «дурака» и «сумасшедшего» возникает между британцами и всем индусским обществом в целом, включая и его самые «цивилизованные» страны и народы. Британцы для индусов — странные и неприятные безумцы, опасные смутьяны, которые не знают священных книг, едят говядину и пьют спиртное, «а потом еще чего-то хотят». В системе традиционных представлений, для индусского брамина британцы были и остались просто нелюдью, которая никогда и ни при каких условиях не может встать рядом с теми, кто «право имеют».

А британцы, даже наведя на берег Индии корабельные орудия, были способны допустить хотя бы некоторых индусов в свое общество. Пройдет столетие, и в XIX веке появится множество агло-индусских метисов, которым британское общество отведет место в своей системе отношений. Различие, как хотите, не в пользу традиционной культуры (при всей непривлекательности колониализма).

И получается, что как ни плох и как не страшен колониализм, до какой бы степени не был он морально неприемлем на рубеже XXX тысячелетия, а он несет право на человеческое отношение сотням тысяч (в Гатах), а в масштабах индийского субконтинента — десяткам миллионов человеческих существ. В конце концов, не только мерия, но и «неприкасаемые» только после завоевания Индии британцами узнали, что и они, оказывается, полноценные люди, обладающие некими неотъемлемыми свойствами и вытекающими из этого факта правами.

Справедливости ради — европейцы постоянно оказываются более агрессивны именно по отношению к традиции. Гуманизм заставляет их требовать такого отношения к личности, которое просто исключает дальнейшую жизнь традиции (будь то веселый набег лезгин, навахов или бедуинов, или жертвоприношение Великой богине или столь же великому богу).

Очень характерно, что и к принесению в жертву мерия индусы «с равнин» были глубоко равнодушны, — при том, что давно и хорошо знали об этом обычае. Но ни бенгальские навабы и маратхи, к которых переходили из рук в руки Гаты и вся историческая область Орисса; ни раджи народности ория, которым и платили дань кхонды, никогда даже не пытались остановить человеческие жертвоприношения. Они были вполне лояльны к кхондам как народу, имеющему свои обычаи, но эта лояльность оборачивалась дикой жестокостью по отношению к мерия. Людей зверски убивали буквально на глазах, под совершенно равнодушными взглядами людей, у которых достало бы сил предотвратить их смерть... при наличии такого желания.

Но у индусов желания не было, поскольку просто не было набора представлений, который позволил бы им возмутиться, испытать отвращение и шок — да такие сильные, чтобы ввязаться в длительную и жестокую войну. Традиция не способна усмотреть жестокости в самой себе, но она, как правило, не может увидеть ее и в другой традиции. Любому наблюдаемому безобразию легко даются объяснения типа «это вера у них такая» или «обычай их такой», и это звучит совершенно убедительно. Традиционное общество равнодушно к судьбе низов другого традиционного общества, его изгоев и неудачников. А к «чужим» бунтарям и правдоискателям относится примерно так же, как и к своим — как к справедливо наказуемым нарушителям общественной гармонии.

Следует признать, что индусы — и чиновники Великих Моголов, и верхушка народности ория — оказались несравненно «толерантнее» британцев, и проявили несравненно больше уважения к местным традициям и обычаям... благодаря чему и было принесено в жертву несколько тысяч (или десятков тысяч) человек, и задумано примерно столько же новорожденных детей. Которые вполне могли бы остаться

в живых, будь индусы «с равнин» менее толерантными, более агрессивными людьми, более склонными вмешиваться в чужие дела.

Ни черкесы для турок, ни кхонды для ория — вовсе не глупцы, которых надо просвещать. А турки и индусы «с равнин» вовсе не рассматриваются черкесами и кхондами как непостижимые безумцы, с которыми и говорить-то нечего.

В наше время принято... (я чуть не написал — модно) выступать в роли защитников традиции и подчеркивать отрицательную роль ее разрушителей или врагов. Противопоставление «чистых душой» людей патриархального общества и корыстолюбивых, злых, жестоких «прогрессенмахеров» стало навязчивым штампом.

Но получается — агрессивность колонизаторов и их неуважение к традициям оборачивается пафосом выступления против привычной и потому как бы «незаметной» жестокости.

Думаю, у нас появляются серьезные причины сделать небольшое дополнение к закону техно-гуманитарного баланса, которое можно сформулировать примерно так: достигнув некоторого уровня нравственного развития, общество органически не способно мириться с тем, что другие общества еще не достигли этого уровня. И навязывает другим обществам достигнутый уровень даже силой оружия.

Действительно: и русские на Кавказе, и британцы в Индии сравнительно легко мирятся с тем, как местное население обрабатывает землю или как оно строит дома или загоны для скота. Но вот с нарушениями уже в принципе достигнутого уровня гуманного отношения к личности общество оказывается совершенно неспособно примириться. И русские и британцы воспринимают отступления от этого уровня буквально как личное, касающееся персонально всех, оскорбление.

Литература

1. Гордин Я. А. Кавказ: Земля и кровь. СПб, 2000. С. 57
2. Эту интереснейшую концепцию Эдуард Сальманович наиболее полно изложил 5 сентября 1995 года, во время выступления на семинара в бухте Голубой, в рамках V Международной конференции «Человек и природа — проблемы социоестественной истории».
3. Гордин Я. А. Кавказ: Земля и кровь. СПб, 2000. С. 246
4. Шапошникова Л. В. Дороги джунглей. М., 1968. С. 170
5. Кульпин Э. С. Бифуркация Запад — Восток. М., 1996.
6. Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М., 1993. С. 118.
7. Кузнецов А. А. Внизу — Сванетия. М., 1970. М., 150–151
8. Huntington S. Political Order in Changing Society. Yale University. 1968
9. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. И., 1993. С. 50–51.



Константин ФРУМКИН

ВЕЧНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ И ВЕЧНЫЙ ДИРИЖИЗМ

Культура как фильтр

На всей человеческой цивилизации лежит печать недоверия к человеку. Кажется, что историей ставится под вопрос аристотелевское определение человека как общественного животного. Инопланетный наблюдатель мог бы предположить, что речь идет не об общественных, а о индивидуальных существах, не то согнанных в искусственные сообщества, не то вынужденных терпеть совместное коммунальное проживание из-за перенаселенности планеты.

Человек рождается наделенным мощнейшим антисоциальным потенциалом, и его еще нужно воспитать и дисциплинировать. Личность человека — это бомба, подложенная под любую социальную систему или институт. Личность человека не может вписаться в ту узкую функциональность, которую предполагает система. Человек для себя мироподобен и универсален и поэтому не может быть элементом еще более универсальной системы. Лучший пример избыточности личности по отношению к функции — коррупция. Но по большому счету коррумпирована любая человеческая деятельность. Например, любовь — это знают женщины, когда жалуются на ее недостаточность. Самый элементарный механизм «коррупции» — наличие большого числа мотиваций, отличных от мотивации выполнять свои обязанности в соответствии с функционалом (чиновник-взяточник больше думает о своем личном обогащении). Более изощренный механизм — уход «фокуса внимания» от периферии к центру личности, уход в себя, превращение в созерцателя, для которого любые функции и обязанности — лишь периферийное явление.

Индивидуальная избыточность — вызов для цивилизации, и цивилизация отвечает на это построением систем регуляции поведения. Вопреки тому, что иногда говорят интерпретаторы Мишеля Фуко, надзор и дисциплина вовсе не являются изобретением нового времени, хотя, как и многие другие технологии, надзор в новое время достиг невиданной изощренности и мощи. Мировая культура тысячи лет занималась тем, что создавала грандиозную систему фильтров для человеческого по-

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии, журналист.

ведения. Все неверное и недолжное среди человеческих поступков подавлялось, правильные поступки одобрялись или предписывались. В одной из ранних работ социолога Питирима Сорокина вся существующая в истории цивилизации система регулирования поведения сводится к системе наказаний и наград: недолжные поступки караются, должные поощряются, а о нейтральных поступках, некараемых и ненаграждаемых, Сорокин даже счел возможным забыть.

История культуры, морали, права, история технологий, экономики, военного дела и даже история философии — это во многом история того, как многочисленные формы свободного, спонтанного, естественного поведения опознавались как вредные, после чего обличались, запрещались, помещались в зону «нерекомендуемого». Соответственно, рядом возникала зона эталонного, правильного, рекомендуемого поведения.

Создана грандиозная культура, в которой великие мудрецы, вроде Платона и Конфуция, призывают быть умеренным в пище и воздерживаться от расточительства, в которой Моисей вводит заповеди, а Христос запрещает прелюбодеяние не только действием, но и мыслью, где многочисленные памятники права, начиная с законов Хаммурапи, многое запрещают и вводят для нарушителей наказания, где уважением пользуются аскетизм и аскеты, где всевозможные, разных времен и народов, авторитеты пытаются удержать людей от различных, в том числе и, казалось бы, самых естественных, поступков. Многие века подряд солдат учат строиться в геометрически правильные порядки и запрещают им шевелиться и самовольно выходить из строя. И кажется, только чань-буддизм иногда воздавал должное человеческой спонтанности — но именно потому, что отказывался способствовать достижению любых прагматических целей.

Возникновение этических религий, возникновение духовных движений, приуроченных к «осевому времени» Ясперса, было во многом триумфом культуры наград и наказаний, культуры «поведенческих фильтров», выход идеи селекции человеческого поведения на уровень идеологии. Здесь возникают заповеди, этика и даже — в случае конфуцианства — философское санкционирование обрядности.

Популярное в религиозной философии противопоставление и иудаизма, и христианства как «религии закона» и «религии любви» фактически не выходит за пределы «осевого дирижизма» — обе религии и оба принципа регуляции человеческого поведения не отказываются от того, чтобы предписывать людям правильные действия и запрещать неправильные. Разница заключается в том, что если «религия закона» четко формулирует «предпочтительные» алгоритмы действий, которых надо придерживаться, то «религия любви» регламентирует уже не столько алгоритмы, сколько ценности: важным становится не соблюдение заповедей, а действие «в духе» любви к ближнему. Повышенное внимание уделяется регламентации ценностей, и значительно меньше значение — конкретным способам, которыми эти ценности реализуются. Таким образом, адепту «религии любви» фактически оказывается куда большее доверие в выборе инструментов для достижения предписанных целей и в этом смысле христианство может действительно считаться религией свободы и, следовательно, ступенью к либерализму.

На сцену выходит Хаос

Вплоть до недавнего времени человеческая культура осознанно — а чаще неосознанно — исходила из постулатов, что алгоритмы правильного поведения известны, а нерегулируемая человеческая спонтанность с высокой вероятностью приводит к злоупотреблениям и неконструктивным эксцессам. И можно оценить глубокую при-

родную мудрость этого подхода: хотя, как предполагают дарвинисты, развитие происходит благодаря «полезным» мутациям — все же подавляющее число мутаций деструктивно.

Но вот в Новое время начинается движение по оправданию человеческой свободы. Выясняется, что бывают ситуации, бывают «пространства действия», в которых свободная, слаборегулируемая человеческая активность отнюдь не только порождает преступления, но может оказаться и огромной творческой силой. Может быть, главный революционный переворот, произошедший на Западе в Новое время, заключался в открытии, что от «нефильтрованного» поведения может быть не только вред, но и польза. «Вечный» либерализм — то есть идея конструктивности человеческой свободы — осознал сам себя и стал не просто практикой, но и идеологией.

В сфере экономики были открыты значение рыночной конкуренции, личной инициативы и «невидимой руки рынка».

В политике было открыто, а точнее, была переоткрыта эффективность демократии, самоуправления, а также значительная польза всевозможной гражданской самодетельности — примером чего может служить книга Токвиля об американской демократии.

В военном деле эпоха либерализма ознаменовалась открытием — или, опять же, скорее переоткрытием — тех возможных выигрышей, которые сулит, во-первых, вовлечение в войну широких масс населения и, во-вторых, частная личная инициатива. О тесных связях политического и экономического либерализма широко известно, но параллельно с ними возникли элементы военного либерализма. Примерно тогда же, когда умами европейских интеллектуалов овладевали идеи свободного рынка и демократии, появилась идея войны как общенародного дела. Ранним прообразом здесь, конечно, была Швейцария, давшая самый ранний в новоевропейской истории образец развитого самоуправления, республиканского правительства и всеобщего вооружения народа. Однако куда большее значение получили массовые «народные» армии, появившиеся во время американской и французской революций. Французская — сначала революционная, а затем наполеоновская — армия задала образец, подражание которому привело к появлению всеобщей воинской обязанности.

Впрочем, наполеоновские войны дали возможность оценить успешность еще более неорганизованной и хаотичной форме войны, а именно войны партизанской. Боровшиеся с наполеоновскими войсками испанские и русские партизаны начали славную историю партизанства Нового и Новейшего времени — историю, которая не закончилась по сей день, перейдя в историю терроризма — непобедимого и неосознанного сопротивления организованному насилию. И в терроризме можно увидеть либеральную составляющую — вопреки всем современным коннотациям.

Наконец, вероятно, где-то в результате Второй мировой войны (впрочем, возможно, и раньше) в военном деле появилась еще одна важная «либеральная» идея: что солдат должен не просто обладать навыками и быть дисциплинированным, но еще и обладать инициативой и что успех сражения часто зависит от умения военнослужащего в бою принимать самостоятельные решения.

Возникновение всех этих идей можно сопоставить с возникновением тогда же науки термодинамики, провозгласившей, что хаотическое движение молекул может приводить к качественным эффектам, таким, как нагрев. Техника научилась использовать неуправляемые хаотические процессы — в огнестрельном оружии и паровых машинах, и параллельно появились социальные технологии, канализирующие и использующие броуновское движение человеческой самодетельности. Не случайно термодинамика и паровая техника дала эффективные метафоры для описания политической свободы. Со времен императора Александра III в России популярна мета-

фора замкнутого парового котла, угрожающего взрывом. Во многом, именно из термодинамики, выросла синергетика, теория самоорганизации, возникновения «порядка из хаоса» — все это также очень плодотворные социальные метафоры. Со времен перестройки искусство политики часто описывают как искусство открывания клапанов и спуска пара, в том числе и «в свисток». Парадоксальный, травматический опыт революции сообщил, что замкнутый котел, конечно, взрывается, но и любая попытка открыть клапан приводит к неуправляемому разрушительному процессу. Формулы правильной последовательности открывания клапанов не найдены, турбины, утилизирующие хаотическую человеческую энергию, не построены.

В конце XX века резко усилилась еще одна (впрочем, довольно древняя) форма «оправдания» либерализма как выполнения общественных функций за счет частной инициативы волонтеров, общественных организаций и благотворителей. Массы никем не управляемых, не санкционируемых и не регулируемых активистов превратились в важную часть общественного сектора.

Успех некоторых массовых волонтерских проектов, прежде всего Википедии, породил преувеличенные надежды, что мы имеем дело с новым сектором экономики. К тому же на границе между рыночной экономикой и добровольчеством возникло такое явление, как краудсорсинг, то есть, согласно определению Википедии, «передача определенных производственных функций неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, не подразумевающей заключение трудового договора». В краудсорсинге вообще платить ни за что не нужно или можно платить минимум: всю необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы-любители, которые и будут по своей инициативе тратить свободное время на создание контента, решение проблем или даже на проведение исследований и разработку.

Произошел глобальный сдвиг в отношениях с не санкционированными традицией, этикой или властью действиями человека: задачей общества становится не подавление вредных проявлений человеческой свободы, а их канализация и утилизация, как в паровой машине, в расчете, что это некая полезная энергия.

Большая полемика

С этих же времен важнейшей темой западной культуры стала полемика «цивилизационного» дирижизма и «цивилизационного» либерализма, проявляющаяся в самых разных формах: как полемика консерватизма и модернизма, правого и левого, рыночной и плановой экономики, кейнсианства и монетаризма, анархизма и коммунизма, сталинского и демократического социализма и т. д.

У этой полемики есть две характерные особенности: она очень часто четко позиционирована по шкале времени и по шкале социальной иерархии.

«Хронологическая» ориентированность этих полемик связана с тем, что с точки зрения истории культуры противники неравноправны: большая часть человеческой культуры, создаваемой последние несколько тысяч лет, в доступный по источникам исторической период, — это дирижистская культура. Практическая эффективность спонтанности, свободы и инициативы на идеологическом уровне была, кажется, открыта только в Европе и только в Новое время. Это одна из новаций, внесенных в мировую культуру Западом. Либерализм как идеология существенно моложе, и поэтому в полемике с дирижистскими тенденциями он очень часто имел возможность позиционировать себя как «новое», борющееся со старым.

Кроме того, во всех сферах — от политики до искусства, от религии до экономики — такого рода споры могут иметь характер противостояния «сословий», «клас-

сов» и «страт», поскольку всякий надзор предполагает надзирателя, а всякая селекция — селекционера, надзиратели обладают высоким социальным рангом, а значит, конфликт либерализма с дирижизмом легко может принять характер борьбы низов с верхами. Очевидны все возможные оговорки и исключения. Но когда американская пропаганда критиковала неэффективность советской плановой экономики, то, конечно, США не были «низами», а СССР не был «правлящей элитой» — но эта пропаганда могла иметь значение только потому, что внутри СССР она находила слушателей из числа тех, кто был в оппозиции к правящей номенклатуре.

Впрочем, также очевидно, что никакой победы в этой «великой полемике» в принципе невозможно. Открытые либерализмом области действия человеческой свободы всегда существуют в рамках, являющихся продуктами дирижистского регулирования. Рыночная экономика действует только на фундаменте права, собственности, полицейской безопасности и регулируемого денежного обращения.

С другой стороны, всякое предписываемое дирижизмом эталонное поведение было открыто благодаря «наткнувшейся» на него человеческой спонтанности. Всякая традиция возникает из накопления новаций. Человеческая цивилизация — это перманентная борьба «вечного» дирижизма и «вечного» либерализма, немислимых друг без друга. Важный вопрос этой извечной борьбы: как должен быть «экипирован» человек, чтобы его свободные поступки вопреки своей исходной хаотичности и не направленности оказались бы общественно полезными?

Опыт мировой истории показывает, что человек склонен к злоупотреблениям и нуждается в налагаемых обществом ограничениях. Однако Новое время дало надежду, что при определенных условиях хулиган может алхимически превратиться в полезного творца. Но при каких условиях? Именно это является главным содержанием современных споров «вечного дирижизма и «вечного либерализма» во всех сферах и формах. Чем нужно снабдить человека, чтобы его можно было «со спокойной совестью» оставить на свободе? Какие ему нужно дать навыки, ценности, институциональные рамки? Что нужно сделать — сначала освободить человека, а потом дать ему соответствующую «экипировку» или наоборот? Может ли экипировка возникнуть до освобождения — или, как это требовал от российских младореформаторов Пол Вулфовиц, можно ли создать рыночные институты до свободного рынка? Достаточно ли одних институтов и что нужно, чтобы институты функционировали?

История экономических дискуссий последних двадцати лет показывает всю мучительность и неоднозначность такого поиска.

В 90-х годах, на фоне крушения плановой социалистической экономики, доминирование в общественных дискуссиях получили крайние формы рыночного либерализма. Считалось, что чем больше рынка — то есть чем больше ничем не ограниченной свободы для человеческой активности в сфере экономики, — тем эффективнее становится сама экономика. Однако слишком большое количество эксцессов и негативных последствий рыночного разгула заставило экономистов немного изменить тональность. В 2000-х в моду вошел институционализм. Институционалисты не отрицали важность рынка, но объясняли, что рынок сам по себе не работает хорошо, если не обеспечен соответствующей «институциональной инфраструктурой». Под институтами понимались любые социальные рамки для рынка — от законодательства до системы нотариусов. Объясняли, что в странах с отсталыми институтами рынок не дает ожидаемых от него благих результатов. Но к началу 10-х годов выяснилось, что и институты сами по себе тоже не будут работать хорошо, если не будут обеспечены — чем? Институты рассматривались как условия, обеспечивающие работу рынка, а теперь выясняется, что нужно еще найти условия, обеспечивающие работу этих условий. Условия условий. Нужно искать что-то более фундаменталь-

ное, чем институты. Самой модной категорией, служащей «фундаментом» по отношению к институтам, являются «ценности», хотя, по-моему, не менее перспективной категорией были бы «навыки». В России одним из главных пропагандистов этой новой волны является, вероятно, экономист Александр Аузан, который повсюду объясняет, что в основе всего лежат «ценности» и «социокультурные характеристики», имея в виду, что это базовые феномены, от которых зависит качество институтов. Несомненно также, что качество институтов зависит от имеющихся навыков — от того, что люди реально умеют. Приметами этой новой эпохи может быть резкое усиление разговоров об образовании и человеческом капитале.

Таким образом, сейчас на пике моды в социальных науках — необходимость духовных, культурных скреп, создающих рамки для спонтанной экономической активности. Однако как сделать образование и консервативную научно-университетскую систему адекватной быстро меняющемуся миру, тоже никто не знает. Значит, нам и дальше предстоит поиск оптимального соотношения свободы и «рамок» и, кроме того, поиск тех условий, которые обеспечивают формирование в обществе оптимальных ценностей и навыков. Поиск этот бесконечен, оптимальных решений найти нельзя, но, конечно, всякая эпоха дает свое представление об оптимуме.

П И Л И Г Р И М

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ФОЛИНЬО — ГОРОД СВ. АНДЖЕЛЫ

Старинный Фолиньо не относится к числу тех умбрийских городов, улицы которых наводняют путешественники и туристы. Одним из немногих отечественных путешественников, побывавшим в Фолиньо в XIX веке, был профессор Московского университета С. П. Шевырев. Он посетил этот город в 1831 году, но его заметки о Фолиньо весьма кратки. «Из Сполето мы приехали поздно в Фолиньо, родину **Мадонны Ватиканской**, — пишет Шевырев. — Ехали долиной Клитумна весьма славной, но дрянной речки, у берега коей стоит милый храмик в честь ее. В Фолиньо говорили много о бывшем землетрясении, которое продолжалось 4 дни

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета. Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт-Петербургской Духовной академии.

сряду и причинило много вреда. Виден был большой дым около горы Будине, и сделалась трещина величиною со стол»¹.

С. П. Шевырев упоминает о «Мадонне Ватиканской»; речь идет о так называемой **«Мадонне из Фолиньо»** работы Рафаэля (1511), находящейся теперь в Ватиканской пинакотеке. Картина названа так потому, что находилась одно время в **церкви Санта Анна** в Фолиньо².

«Картина «Мадонна ди Фолиньо» была заказана Рафаэлю секретарем папы Юлия П Сигизмондо Конти, который посвятил ее Деве Марии в знак особой признательности за спасение его дома в Фолиньо, оставшегося невредимым после удара молнии во время грозы. Произведенная в 1960-х гг. реставрация картины, во время которой с нее был удален лак янтарного цвета, положенный в Париже во время ее конфискации французами в 1797 году, открыла ее подлинный колорит»³.

Итальянский художник и искусствовед Джорджо Вазари (XVI в.) в своем трактате «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» подробно описывает этот шедевр Рафаэля.

«Побуждаемый просьбами одного из камергеров папы Юлия, он написал на дереве образ для главного алтаря церкви Арачели, на котором он изобразил парящую в небе Богоматерь и на фоне прекраснейшего пейзажа св. Иоанна, св. Франциска и св. Иеронима в кардинальском облачении. На этой картине Мадонна исполнена кротости и смирения, поистине достойных Богородицы, и, не говоря уже о Младенце, который в красивом повороте играет с мантией своей матери, в фигуре св. Иоанна видно обычное для постника истощение, в лице же его обнаруживается некая духовная прямота и некая горячая убежденность, свойственные тем, кто вдали от мира его презируют, а в общении с людьми ненавидят ложь и говорят правду. А св. Иероним поднял голову и взирает на Богоматерь, погруженный в ее созерцание, и кажется, что взор его говорит нам о всей той учености и премудрости, которые он изложил в писании своих книг. В то же время он обеими руками, подводя камергера, представляет его Богоматери, камергер же в своем портретном сходстве не просто хорошо написан, а совсем живой. Не преминул Рафаэль также поступить и с фигурой св. Франциска, который, стоя на коленях с протянутой рукой, поднял голову и смотрит снизу вверх на Мадонну, стгорая от любви к ближнему, выраженной художником со всей страстью, доступной живописи, которая и показывает при помощи очертаний и цвета, как он словно растворяется в своем чувстве, черпая утешение и жизнь в умиротворяющем созерцании красоты Мадонны и живой резвости и красоты Младенца. На самой середине картины внизу, как раз под Мадонной, Рафаэль написал стоящего путта, который, взирая на нее, закинул голову, а в руках держит надпись; по красоте лица, по убедительности всего облика ничего более обаятельного и ничего лучшего создать невозможно. Кроме того, на картине — пейзаж, который само совершенство, при всем своеобразии и исключительной красоте»⁴.

Фолиньо имеет особую притягательность для паломников. Вот каким он выглядел в начале XX века, когда здесь побывал отечественный искусствовед П. П. Муратов: «Фолиньо нимало не похоже на промышленные ломбардские города. В сущности, это только большая, очень зажиточная умбрийская деревня. Здесь есть заводы и торговые склады, но почему-то здесь не помнишь ни о трубах, ни о витринах, а все только о романских кампаниле, старинных церквях и капеллах. Лицо города не искажено, в нем есть тихие, залитые солнцем площадки, покосившиеся порталы церковей XIII века, тесные стены средневековых дворцов. В нем есть много работ старинных художников, которые усердно славили школу Фолиньо»⁵.

К числу местных художников, украшавших старинные храмы Фолиньо, относятся Пьер Антонио Мезастрис (1430–1506) и Никколо ди Либераторе (ок. 1430–1502). «Мезастрис в своих кротких мадоннах здешней городской галереи и в занимательных фресках капеллы Пеллегрини в Ассизи нравится больше своим чистым и совершенно детским воображением, — пишет Муратов. — Но Никколо из Фолиньо — художник более серьезный и в некоторых отношениях совсем исключительный.

Родной город Никколо владеет до сих пор самыми значительными из его произведений. В **церкви Св. Николая** здесь есть большой трехъярусный образ с изображениями Рождества, Воскресения и различных святых. Там же находится еще «Венчание Богоматери» с коленопреклоненными монахами и с пейзажем, среди которого св. Георгий поражает дракона»⁶.

В Италии свои произведения издавна подписывали архитекторы, резчики по камню и скульпторы. Одна монументальная надпись на фасаде **собора в Фолиньо** напоминает, как в 1133 году под руководством епископа Марка собор был обновлен, как свидетельствует надпись, Аттоном, резчиком по камню, человеком важным и известным. Тот же Аттон поставил свою подпись на фасаде **церкви Св. Петра** в Боваре, неподалеку от Фолиньо, говоря, что сделал своими руками церковь и розетку. Случай Аттона удивительно интересен тем, что этот резчик по камню — важная персона в городе и что он говорит, что лично приложил руку к этому сооружению, не только руководя проектом и работами⁷.

Джорджо Вазари упоминает еще об одном храме, где когда-то находилась картина Никколо из Фолиньо: «В те же времена был в городе Фолиньо превосходный живописец Никколо Алунно; а так как до Пьетро Перуджино не было еще большого навыка в письме маслом, стоящими мастерами почитались многие, из которых позднее ничего не вышло. Так и Никколо вполне удовлетворял своими работами, хотя и писал он только темперой, но зато делал головы своих фигур с натуры так, что они казались живыми, и потому его манера и нравилась. В **церкви Сант Агостино** в Фолиньо его работы на доске *Рождество Христово* с мелкофигурной пределлой»⁸.

Джорджо Вазари называет этого художника «Никколо Алунно», однако здесь имеется в виду Никколо ди Либераторе (Мариани Джакомо ди Мариано Никколо) из Фолиньо (ок. 1430–1502). (Вазари неправильно прочитал подпись на приделе *Рождества Христово* из храма Сант Агостино в Фолиньо, находящейся теперь в Лувре⁹.)

Фолиньо известен не только своими шедеврами живописи, но и христианскими подвижниками. Одним из них был **Доминик из Фолиньо** (умер в 1031 г.). Доминик жил анахоретом в пещере. По настоянию тосканского маркграфа он основал монастырь Спасителя (St. Salvator in Scandrilia), но в поисках уединения оставил его и предался аскезе и созерцанию на полуразвалившейся башне. Однако снова ему пришлось уступить зову мира. Кампанская и сполетская знать принудила его основать целый ряд монастырей¹⁰.

«Доминик отнюдь не редкое явление: в Италии X–XI вв. много анахоретов. Им не приходится пользоваться долгим покоем в своем уединении. Около них собираются ученики, знать побуждает их основывать общежития, — пишет отечественный философ Л. П. Карсавин. — Анахореты бегут от мира, скрываются, но мир находит их везде, часто они и сами не ограничиваются только спасением своей души, проповедают и борясь с язычеством. Среди них, вероятно, есть люди всяких классов общества, но только вышедшие из относительно образованных слоев выдвигаются на

первое место, обращают на себя внимание аскетически настроенной знати и могут с ее помощью положить начало жизнеспособным общежитиям»¹¹.

Фолиньо был родным городом Анджелы — замечательной итальянской мистической созерцательницы конца XIII века (из духовной школы св. Франциска Ассизского). О жизни **блаженной Анджелы из Фолиньо** известно очень мало: труд минорита Арнальдо — единственный источник — менее всего может быть назван житием. Выдающийся богослов Лев Платонович Карсавин (1882–1952) перевел на русский язык «Откровения блаженной Анджелы», а также изложил ее житие.

Анджела умерла 4 января 1309 года. Когда она родилась — неизвестно. Во всяком случае, около 1294 года, времени понтификата папы Целестина V, она уже совершала «шестой шаг своего покаяния», так что мы едва ли значительно ошибемся, если поместим начало «обращения» примерно на 1290 год и исчислим ее «жизнь в Боге» 15–20 годами. Принимая во внимание положение святой в среде сполетских миноритов, называвших ее своей «матерью», и указание «жития» на то, что она пережила свою мать, мужа и нескольких детей, можно предположить, что Анджела умерла не моложе 40 лет, а родилась не позже 1265–1270 годов, вероятнее же, раньше.

Анджела и муж ее, видимо, были людьми зажиточными. Святая с некоторою любовью вспоминает о «лучшей своей земле» Казалено. Не чужды были ей и хорошие манеры, и нравы воспитанного общества. Уже обратившись к Богу, умеет она сдерживать себя и молчать (хотя и хочется ей все время говорить о Боге) — из внимания к своим спутницам. В миру Анджела заботилась о своей наружности, о красивой прическе. Позже она горько каялась в прошлом своем «любострастии»; может быть, впрочем, Анджела и преувеличивала. Как бы то ни было, до обращения своего была она милой и веселой дамой.

Всего этого слишком мало для того, чтобы судить о характере Анджелы до обращения. Нельзя также с полной ясностью представить себе, как она обратилась к Богу. Правда, сама она рассказывает о восемнадцати своих шагах по дороге покаяния. Исходным его моментом были сознание своих грехов, боязнь своего осуждения и горький плач об этом. Стыдно было Анджеле исповедоваться, и не раз приобщалась она, не очистив души своей покаянием. Наконец после долгих колебаний с помощью св. Франциска нашла себе Анджела «confessorem idoneum» (это был, по всем вероятностям, брат Арнальдо) и под его руководством стала творить покаяние. Анджелу не покинула еще боязнь быть осужденной, но временами уже озаряла ее мысль о бесконечном Божьем милосердии, хотя все-таки «горек был ее плач». Все глубже и глубже становилось понимание Анджелой своей греховности. Но оживляло душу веяние благодати и благодатно укрепленная добродетель противостояла пороку и удерживала Анджелу на краю пропасти, чтобы снова оставить ее на бессильную, отчаянную борьбу. Тогда просила она прощения у всех тварей, просила их помощи молитвенной перед Богом. И казалось ей, что все твари и Божья Матерь, и святые молятся за нее.

Так с самых начал обращения Анджелы воспылала в сердце ее любовь к Богу, охватывающая весь мир, связующая его единым порывом к Богу. Христу обещает Анджела соблюдать девственную жизнь. Она ищет путь Христов и находит его в смирении, бедности и презренности. Внутренний переворот начинает выражаться и вовне. Скромнее одевается Анджела, ест более простую пищу. Вскоре вся семья ее умирает, и перед Анджелой открывается путь Христов.

Единственный путь приближения ко Христу — преображение в Его жизнь и Его муки. И Анджела становится бедной, как беден был Спаситель; она ищет унижений

и страданий. Просит она себе соучастия в Христовых муках, вживается в них. Не о себе думает она, а только о Боге. «Господи, если и осуждена я, все-таки буду я творить покаяние и лишу себя всего и стану служить Тебе!» Так началась жизнь блаженной Анджелы во Христе и Боге. Мы не в силах проследить эту жизнь в ее развитии, но благодаря записям брата Арнальдо мы хорошо знаем ее и в целом, и в частности, знаем муки и утешения святой матери Анджелы, верной ученицы и дочери Франциска, облачившейся в одеяние его «третьего ордена».

Брат Арнальдо известен нам еще меньше, чем Анджела. Он был ее духовным отцом и «священником Христовым». Может быть, он проповедовал в одной из церквей Фолиньо — в Сан Феличиано, и, несомненно, по духу он был самым близким ей человеком. Трудно по «Житию Анджелы» представить себе, каковы были взгляды и настроения его автора, если только отбросить очевидное увлечение откровениями, идеалами и идеями самой святой. Жизнь Анджелы для Арнальдо — проявление и проповедь Божьей Мудрости, а точнее — францисканского идеала в строгом его понимании. Анджела, говорит он, дала пример соблюдения «Правил» их святого отца. Она — проповедница примером, учительница истинной мудрости и мать «законных сынов» св. Франциска и Бога. Она соблюла слово Господне, явила миру истинно христианские добродетели: любовь, бедность и смирение. Ниспосланные Анджеле откровения и видения не вызывают в брате Арнальдо никаких сомнений, хотя он и смиренно сознается, что многого не понял.

Не иначе, надо полагать, относились к Анджеле и другие близкие ей минориты, те, которые присутствовали при ее кончине, те, кого называла она своими сынами, к кому она обращала свое «Завещание», и те, кто приходил беседовать с нею. Среди последних был и Убертино да Казале, знаменитый вождь среднеитальянских спиритуалов. Как сам он пишет в своем «Древе крестной жизни Иисуса», в 1298 году до него «чудесным образом» дошла весть о досточтимой и святейшей матери Анджеле из Фолиньо, женщине истинно ангельской жизни на земле» (*Angela — angelica*). Убертино посетил ее, беседовал с нею и убедился в ее святости.

И Убертино подымает свой голос против завистников и хулителей ее непорочной жизни: были и такие, и Анджеле много приходилось выносить от «братьев». Итак, Арнальдо был не один. И не ради себя только, а вероятно, и не по собственному только желанию стал он «писцом» Анджелы. Взаимная дружба помогла делу и позволила преодолеть смиренное противление святой. Неохотно, но все же продиктовала она брату Арнальдо свои поучения, откровения и видения. Арнальдо приходил к ней, писал под ее диктовку или слова — «И часто заставлял я ее помногу раз повторять слово, которое должен был записать», — а потом прочитывал ей записанное, для исправления. По его словам, он пытался передать речи Анджелы слово в слово, буквально переводя их с итальянского (Анджела говорила с ним по-итальянски) на латынь.

Арнальдо очень заботился о достоверности и точности своих записей. Он прочел их Анджеле, просил ее спросить о достоверности их у Бога, и она получила в этом удостоверение. Затем Арнальдо отдал свой труд на проверку двум «достойным доверия» братьям миноритам, которые вновь пересмотрели его вместе с Анджелой. Уже после смерти Анджелы Арнальдо окончательно систематизировал свои записи и привел свой труд в окончательный вид. Но и после этого «Житие» подверглось последнему просмотру со стороны восьми миноритов.

В древнейшем списке провинций францисканского ордена, относящемся к 1343 году, городок Фолиньо вместе со Сполето, Треви, Джиано, Монтефальконе, Беванья

и Бролиано входит в состав Сполетской кустодии, одной из девяти кустодий «провинции св. Франциска». Провинция же эта — колыбель ордена и по преимуществу «серафическая» земля. Здесь провели лучшие дни своей жизни, а частью и были погребены вернейшие друзья и ученики святого — Бернардо из Квинтавалле, Сильвестро, Леоне (Лев), Анджело, Массео, Руфино, Эджидио (Эгидий) и другие. В Ассизи покоится прах самого Франциска и «дочери» его св. Клары. В Порциункуле около Ассизи погребен первый генеральный министр ордена брат Пиетро Катанский, в Бастии — брат Коррадо из Оффиды (ум. в 1306 г.), в Перуджии — Эджидио.

«Провинция св. Франциска» — земля францисканских легенд и чудес. Все в ней напоминает о ранней жизни братьев и первых временах ордена. В Фолиньо много сотворил чудес и «учил о царстве Божьем знамениями и чудесами» брат Мартино. И сестра «третьего ордена св. Франциска» Анджела и брат Арнальдо принадлежали к сполетской группе спиритуалов. «Житие Анджелы» является одним из самых ценных источников для понимания и истории всего движения спиритуалов.

Откровения святой Анджелы обладают непреходящей ценностью и превышающим течение времен значением. Сказал Господь святой Анджеле: «Я, говорящий тебе, — Божественная Мощь, которая приносит тебе Божественную благодать. И благодать, которую приношу Я тебе, такова, что хочу Я, чтобы ты была полезна всем людям, видящим тебя, и не только им — хочу Я, чтобы ты помогала и была полезна тем, кто подумает о тебе, или вспомнит или услышит, как назовут тебя. Тем же, у кого больше будет от Меня, больше ты и поможешь»¹².

В творениях великих каппадокийских отцов Церкви — у Василия Великого, Григория Богослова и, особенно, у Григория Нисского, часто встречаются размышления о «сияющем мраке» Божественной сущности, недоступной нашему познанию. Эти же мысли и образы мы встречаем у мистических авторов христианского средневекового Запада, которые находились под очень сильным влиянием книг Дионисия Ареопагита.

«Увидела я Бога в некоем мраке, — повествует Анджела из Фолиньо, — и потому во мраке, что Он — наибольшее благо, какого невозможно помыслить или разуметь, не достигает до Него... совсем ничего не видит душа, что могло бы быть рассказано словами, или даже понято сердцем: и ничего не видит, и вместе с тем видит всячески все, ибо Благо сие пребывает вместе со мраком, и поэтому Оно тем вернее и тем более превосходит все, чем больше видится во мраке, и вполне Оно сокровенно»¹³.

«Спускаясь с гор в долину Сполето, Анджела из Фолиньо слышит в душе своей невыразимый, душу покоряющий голос (она называет его «голос Духа Божия»), который ей говорит: «Видишь, вот все это — творение Мое». И она видит неизъяснимую красоту и высокое достоинство твари и Бога, пребывающего среди твари и наполняющего мир, — пишет Н. С. Арсеньев (1888–1977), профессор Свято-Владимирской духовной семинарии (Нью-Йорк). — Вся тварь переносится тогда — в таком созерцании, в такой в глубину идущей интуиции, в иной план. Мир становится чудом, ибо исполнен Бога.

Картины такого преображения известны нам из жизни святых, когда тварь становится покорной человеку, живущему в Боге, и мир действительно начинает становиться чудом. Но не через наши эмоции, а действием благодати, обновляющей жизнь. Ибо наряду с чудом творения и близости Божией к твари есть чудо начинающегося уже ныне *преображения* нашей действительности. Ибо бытие в Боге есть сокровенная сущность мира. Но мир есть вместе с тем — арена злых влияний, поле

действия злых сил. Христианство называет его поэтому *падшим* миром. И тут особенно остро становится вопрос о чуде. Чудо в том, чтобы падшую действительность поднять на ступень благодатной. В этом — так веруют христиане — смысл величайшего из чудес: воплощения, смерти и воскресения Сына Божия»¹⁴.

Примечания

- ¹ Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 338.
- ² Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 3. М., 2001. С. 174, примеч. 42.
- ³ Борисова З. Музеи Ватикана. Рим. М., 1974, илл. 58, 59.
- ⁴ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 3. С. 144–145.
- ⁵ Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 369.
- ⁶ Там же. С. 370.
- ⁷ Castelnovo E. L'artiste // L'Homme medieval, P., 1987. P. 239–244; 254–255.
- ⁸ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2, С. 474.
- ⁹ Там же. С. 476, примеч. 11.
- ¹⁰ Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992. С. 80.
- ¹¹ Там же. С. 80.
- ¹² Карсавин Л. П. Католичество. Откровения блаженной Анджелы. Томск, 1997. С. 99–112.
- ¹³ Цит. по: Арсеньев Н. С. О жизни преизбыточествующей. Брюссель, 1966, С. 52.
- ¹⁴ Там же. С. 106.

«В ДЫМКЕ ФЬЕЗОЛЕ СИНЕЕТ»

Фьезоле (*лат.* Фезуле) — небольшой старинный городок; возвышается между двух холмов в пяти километрах к северо-востоку от Флоренции. Фьезоле вырос на основе этрусского поселения в IV–III веках в до н. э.

«Не у самого берега, а взгромоздившись на крутой седлистый холм, господствующий над долиной, на расстоянии не более часа ходьбы от нынешней Флоренции, процветал уже много веков до Рождества Христова богатый этрусский город Фезулы, — писал профессор Санкт-Петербургского университета Иван Михайлович Гревс. — Этруски долго господствовали не только в средней, но и в северной и в южной Италии. Во впадине, между двумя вершинами отстроились жилища граждан, на высоте одной из них поднялся мощный кремль, и все поселение, довольно значительное, обнесено было неразрушимой стеною, возведенною из колоссальных плит грубо обтесанного дикого камня. Внушительные остатки ее до сих пор славят предприимчивый таинственный народ, сильный в труде и строительстве. Город богател от торговли с эллинским миром; известен он был также мистериями религиозных культов и чтимыми оракулами, знакомство с которыми смелые руководители этрусских городов выносили из своих сношений с Востоком»¹.

Жители Фьезоле называли себя потомками этрусков, которые, как считалось в древности, прибыли в Италию из Лидии в Малой Азии. А родоначальником местных жителей считался *Атлант* — титан, легендарный основатель Фьезоле. В эпоху Древнего Рима городок носил название Фезулы. Здесь сохранились остатки этрусской городской стены (IV–III вв. до н. э.), этрусско–римского храма (VI–I вв. до н. э.), форума, театра и терм (все I в. до н. э.–I в. н. э.). Римский театр был обнаружен во Фьезоле в 1809 году во время раскопок, начатых немецким археологом фон Шелершаймом; он был построен по типу греческих театров.

«Фезулы не потеряли значения и когда Этрурия покорена была римлянами (IV в. до Р. Хр.), — продолжает И. М. Гревс. — Независимость исчезла, благосостояние продолжалось. После потрясений завоевания, а позже вслед за освобождением от нашествия на Италию знаменитого карфагенского полководца Аннибала (конец III в. до Р. Хр.), в стране утвердились мир и оживленное коммерческое движение по тогда судоходной реке от находившегося около устья Арно торгового (также этрусского) центра у моря, города Пизы. Богатый природными дарами край обладал собственными продуктами сбыта. Настали спокойные годы, и жители города, взбравшегося на спину надежного холма, уразумели, что положение, выгодное для защиты, стало неудобно, коль скоро выдвинулись на первый план хозяйственные интересы. Когда вдоль реки катились волны переселенцев или нападающих хищников, хорошо было, укрываясь от них, огородиться на скале, но с тех пор, как по течению ее поплыли товары, лес, хлеб, плоды и обработанные изделия из шерсти и металлов, надо было приблизиться к воде»².

В начале XX века во Фьезоле побывал Борис Зайцев; он со своими спутниками добирался сюда пешком из Флоренции. «Мы решаем идти пешком к самому Фьезоле. Скоро становится круто; хочется ветра, но ветра нет; с обеих сторон за каменными стенами сады; оттуда висят розы, кипарисы темнеют, олеандры; вот маслина; она похожа на нашу иву, узловатая, сухо блестит листьями, — вспоминал русский писатель. — Минуем бывшую виллу Виктории (раньше принадлежавшую Медичи), много разных других вилл и садов, — наконец добираемся до городка. Это место еще времен римских, *Faesulae*. Здесь была крепость, отсюда и выселились основатели Флоренции»³. О том, как происходило «выселение», пишет И. М. Гревс.

Фезуланцы стали спускаться к Арно, и на правой же (северной) стороне его основана была пристань с поселком. В торжественной процессии сошел с высоты этрусский жрец-лукумон и по-старому обряду провел медным плугом, запряженным белым быком и белой коровой, межевую борозду для новой оседлости (такую церемонию, предание говорит, освящено было по этрусскому образцу, и основание Рима). Новая гавань скоро превратилась в пункт деятельной житейской работы. Состоялось это около 200 года до новой эры, когда Италия оправилась от бедствий Второй Пунической войны. «Нижние Фезулы» были, по-видимому, уже тогда прозваны римлянами «Флоренциею», именно потому, что построенная торговая пристань на Арно быстро достигла процветания, среди края, также «цветущего» плодородием.

Просуществовала, однако, «этруская Флоренция» недолго. Фезулы приняли участие в восстании против Рима италийских городов (90–88 гг. до н. э.), и в жестокой репрессии римлян-победителей она была разрушена, сравнена с землей, по приказу диктатора Суллы. Горные Фезулы (старый город) были пощажены⁴.

История Фьезоле полна драматических событий. Римский патриций Катилина, готовивший заговор против сената (63 г. до н. э.), был разоблачен Цицероном, бежал

во Фьезоле, который намеревался сделать оплотом борьбы с Римом; он погиб в сражении близ Пистории (ныне Пистойя). А Фьезоле после того, как его осадил Юлий Цезарь, был разрушен римлянами, основавшими невдалеке новый город — Флоренцию, около самой реки Арно. Город был заселен римлянами и уцелевшими жителями Фьезоле.

«Впрочем, берег Арно под этим городом оставался незаселенным только короткое время, — пишет И. М. Гревс. — Вскоре (вероятно, в 59 году до нашей эры) сюда выведена была по инициативе Юлия Цезаря колония римских граждан и основан новый город чуть-чуть западнее уничтоженной фьезуланской гавани, на чистом, незанятом месте, где свободно можно было строить и устраиваться по желанию. Официальное наименование его было — «колония Юлия Флоренция». Это было рождение той, которая до сих пор существует, пережив долгое, бурное и блестящее прошлое и сохраняя деятельную жизнь до наших дней»⁵.

Первоначально Флоренция находилась в подчинении у Фьезоле (Фезулы), но с годами заняла главенствующее положение в Тоскане. В V веке н. э. у Фьезоле происходили сражения римлян с вандалами. Позже город перешел в руки лангобардов; в 752 году их вытеснил король франков Пипин Короткий. До XII века Фьезоле успешно соперничал с Флоренцией, затем подпал под ее влияние. У Бокаччо в «Декамероне» читаем: «Фьезоле, гору которого мы можем отсюда видеть, был когда-то древнейшим и значительным городом, и хотя он теперь весь разрушен, тем не менее там всегда был епископ» (день VIII, новелла 4)⁶.

В 1028 году во Фьезоле началось строительство собора (расширен в XIII–XIV вв., кампанила — 1213 г.). «Средневековое представлено собором XI века; собор — очень длинный и узкий, с двумя рядами колонн, образующих главный неф. Наверху черные поперечные балки, нищие бормочут у паперти, — пишет Борис Зайцев. — В глубине есть монумент, работы Мино да Фьезоле. Мино — один из тех скульпторов (Дезидорио да Сеттиньяно, Козимо Росселли), которые образуют группу в искусстве XV века. Их можно определить интимизмом, мягкостью, некоей женственностью. Мино, как и все они, делал надгробные памятники; он — один из талантливейших — делал с особенной трогательностью; такова и Дева Мария во Фьезоле; мрамор становится кротким, из него создается Богородица — девушка, бесхитростная, светлая; она ласкова»⁷.

Здесь речь идет о скульпторе флорентийской школы Мино да Фьезоле (ок. 1430–1484). Ему принадлежат такие работы, как гробница Леонардо Салутати (умер в 1464 г.), алтарь против гробницы Салутати и рельеф в соборе Фьезоле. Вот что пишет об этом итальянский художник и искусствовед Джорджо Вазари (XVI в.): «Во Фьезоланском епископстве в одной из капелл, рядом с главной, как поднимаешься, по правую руку, ему была заказана гробница — для Леонардо Салутати, епископа названной местности, где он изобразил его в облачении и настолько похожим на живого, насколько это вообще возможно. Для этого же епископа он выполнил из мрамора голову Христа в натуральную величину и отлично отделанную»⁸. Сохранившаяся гробница Салутати — одна из главных работ Мино. Мраморный рельеф Христа находится теперь в соборе Фьезоле.

У Вазари находим сведения о кончине этого знаменитого скульптора: «Желая однажды сдвинуть какие-то камни и не имея необходимых вспомогательных средств, Мино надорвался так, что подхватил горячку и умер; погребен он был с почестями друзьями и родными своими во Фьезоланском каноникате в 1486 году»⁹ (в 1484 г. — *Авт.*).

В XIV столетии город украсили Палаццо Преторио и церковь Св. Франциска (Сан Франческо). Над украшением этой церкви потрудился флорентийский живописец

Пьеро ди Лоренцо, прозванный Пьеро ди Козимо (1462–1521), ученик Козимо Росселли (отсюда и прозвище). Об этом упоминает Джорджо Вазари: «Небольшой образ *Загатия* он написал для трансепта церкви Сан Франческо во Фьезоле; вещь эта отменная, хотя фигура в ней и невелика»¹⁰. («Непорочное зачатие» сохранилось на первоначальном месте; подписное, датировано 1480 годом¹¹.)

Одним из наиболее почитаемых местных иерархов был св. Андреа Корсини (Andrea Corsini) — епископ Фьезольский (1301–374). Он родился в аристократической семье, около 1317 года вступил в орден кармелитов, а в 1328 году был рукоположен во священника; изучал богословие в Париже. В 1348–1349 годах Андреа Корсини возглавлял Тосканскую провинцию ордена. Став в 1349 году епископом Фьезольским, он боролся за нравственность среди духовенства своей епархии; прославился заботой о бедных. Св. Андреа был канонизирован в 1724 году; его нетленные мощи покоятся в Санта Мария дель Кармине во Флоренции. В иконографии он изображается в облачении монаха-кармелита или как епископ с волком и овцой¹².

В ту эпоху художники и скульпторы нередко выполняли свои работы по заказу Церкви. Одним из них был флорентийский скульптор Лукка ди Симоне ди Марко делла Роббиа (род. в 1399 или 1400 г., умер в 1482 г.). Как сообщает художник и искусствовед Джорджо Вазари (XVI в.), Лукка делла Роббиа «выполнил для мессера Беноццо Федериги, епископа Фьезоланского, в церкви Сан Бранкацио мраморную гробницу с самим Федериги, лежащим на ней и изображенным с натуры и тремя другими поясными фигурами»¹³. (В настоящее время гробница Беноццо Федериги находится не в храме Сан Панкрацио (Бранкацио), а в церкви Санта Тринита¹⁴.)

Во Фьезоле трудился флорентийский живописец Якопо Понтормо (1494–1556), о чем сообщает все тот же Вазари: «На Фьезоланском холме, над дверью сообщества св. Цецилии, он написал фреску в цвете с изображением св. Цецилии, держащей в руке несколько роз, настолько прекрасную и настолько подходящую к этому месту, что она, как фреска, принадлежит к лучшим, какие только можно увидеть, образцам фресковой живописи»¹⁵. (Изображение св. Цецилии не сохранилось.)

С Фьезоле теснейшим образом связана деятельность знаменитого флорентийского живописца Фра Беато Анджелико. Джованни да Фьезоле, до монашества Гвидолино (Гвидо) ди Пьетро родился в местечке Виккьо ди Муджелло близ Флоренции около 1400 года, умер в Риме в 1455 году. Около 1421 года он поступил в монастырь Сан Доменико во Фьезоле, где и получил прозвище Фра Беато Анджелико (Блаженный Ангельский Брат)¹⁶. Живописи и миниатюре он обучался, вероятно, у Амброджо ди Бальдесе и Лоренцо Монако. Из датированных произведений самое раннее — триптих *Св. мугеник Петр* (1428 г., Музей Сан Марко, Флоренция). К 1420 — началу 1430-х годов относятся алтарь для монастыря Св. Доминика во Фьезоле, *Мадонна с Младенцем и двенадцатью ангелами* (Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне), *Страшный суд* (Музей Сан Марко, Флоренция)¹⁷.

Фра Джованни да Фьезоле принадлежат «старательные работы, оставленные им в церкви Сан Доменико во Фьезоле», — пишет Джорджо Вазари, особо отмечая алтарную картину «Мадонна со святыми и ангелами»: «В церкви Сан Доменико во Фьезоле им написан на дереве главный алтарный образ, который, может быть, из опасения порчи был подправлен и тем самым ухудшен другими мастерами. Однако пределла и киворий для святых даров сохранились значительно лучше, а бесчисленные фигурки в небесном сиянии настолько прекрасны, что поистине имеют вид райских и трудно оторваться от них всякому, кто подойдет»¹⁸. Судьба этих шедев-

ров сложилась по—разному. Образ, переписанный и перемонтированный Лоренцо ди Креди в 1501 году, — на месте. Пределла — в Лондонской национальной галерее. Части — в Шантильи, Шеффилде, Вене, Турине, Санкт-Петербурге (так называемый табернакль Строгановых в Эрмитаже)¹⁹.

Джорджо Вазари упоминает и о других работах Фра Беато Анджелико: «В одной из капелл этой же церкви находится написанная его рукой на дереве Богоматерь, которая принимает благовестие архангела Гавриила и профиль лица которой исполнен такого благоговения, настолько нежен и прекрасно сделан, что поистине он кажется не делом рук человеческих, а созданным в раю; а на пейзажном фоне видны Адам и Ева, которые были причиной того, что от Девы воплотился Искупитель. Кроме того, на пределле им написано несколько прекраснейших небольших историй. Однако больше чем в каком-либо другом из своих творений брат Джованни превзошел себя и обнаружил свое высокое умение и понимание искусства в одной картине, написанной на дереве и находящейся в той же церкви, около двери, налево от входа. На ней изображен Иисус Христос, венчающий Богоматерь, окруженный хором ангелов и бесконечным множеством святых мужей и жен, которые так хорошо сделаны, в столь разнообразных положениях и со столь различными выражениями лиц, что при виде этой вещи испытываешь невероятное наслаждение и сладостное чувство; мало того, кажется, что блаженные духи на небе не могут быть иными или, лучше сказать, не могли бы быть иными, если бы имели тела; ибо все изображенные святые мужи и жены не только кажутся живыми людьми с тонким нежным выражением лица, но и самый колорит этого произведения представляется творением руки святого или ангела, подобного тем, что изображены на картине, почему этого поистине святого человека всегда по справедливости и называют братом Джованни Анджелико. А на пределле столь же божественны истории из жизни Богоматери, исполненные в том же роде, и, что касается меня, я могу с уверенностью утверждать, что всякий раз, как я ее вижу, эта вещь мне кажется новой, и расстаюсь я с нею, никогда не насытившись»²⁰.

Русский поэт Николай Гумилев побывал в Италии до Первой мировой войны и, будучи во Фьезоле, созерцал те творения великого художника, которые сохранились в церкви Св. Доминика. Именно там он ощутил прилив вдохновения, и из-под его пера вышли строки стихотворения, озаглавленного «Фра Беато Анджелико»:

На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке.

На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не все умел он рисовать,
Но то, что рисовал он, — совершенно.

.....
И так не страшен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый,
Им хорошо под нимбом золотым,
И здесь есть свет, и там — иные светлы.

А краски, краски — яркие и чисты,
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.

И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном... но напрасно.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога²¹.

Николай Гумилев, не скрывавший своего отрицательного отношения к большевистскому строю, 3 августа 1921 года был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и 24 августа того же года вместе с еще 60 обвиняемыми расстрелян.

Другой отечественный поэт Лоллий Львов, спасаясь от красного террора, был вынужден эмигрировать из Советской России. Будучи в Италии, он как бы принял «поэтическую эстафету» от Гумилева. Его флорентийский цикл стихотворений открывает стихотворение «Фра Беато Анджелико в Фьезоле»:

Века промчались, и теперь — покой...
Бессилен грохот праздной суеты —
Здесь все объято мудрой тишиной
И святости рассыпаны цветы.

Фра Джиованни юный в келье жил
И с небом здесь делил мечты свои —
Впервые трепет крыльев ощутил
Он в Фьезоле в далекие те дни.

И пенью ангелов внимал, таясь,
И с неба музыки слышал звон,
Молитвы и искусства принял власть,
С молитвою в искусстве слился он.

Слил краски с золотом, трудясь, монах,
Художник-мастер, святостью прослыл,
Благоговел, но Божья гнева страх
Его от грешных нас не отвратил.

С ним встретился тогда, в счастливый год
Флоренции в сентябрьской суете...
Как добр ко мне был в дымке небосвод,
Весь в золоте и нежности везде!..

Анджелико! Ты вечно здесь, всегда
И не забыть твой чудный людям дар —
Лазури золотой и роз пожар...²²

Церковь Св. Доминика украшал не только Фра Беато Анджелико, но и художники следующего поколения. В их числе был падуанский живописец Андреа Мантенья (1431–1506). Вот что сообщает о нем Вазари: «Мантенья, находясь в Вероне, работал над заказами для разных мест; так, он послал одному аббату во Фьезоле, своему другу и родственнику, картину, на которой была полуфигура Мадонны с Младенцем на руках и несколькими головами поющих ангелов, исполненных с удивительным изяществом; картина эта ныне находится в библиотеке этого монастыря и всегда слыла как в то время, так и впоследствии редчайшим произведением»²³. (По-видимому, Вазари имел в виду так называемую «Мадонну Бутлер», находящуюся теперь в нью-йоркском Метрополитен-музее²⁴.)

Еще одна картина из Сан Доменико — «Мадонна со святыми», в настоящее время находится в галерее Уффици (Флоренция)²⁵. Эту картину написал перуджинский живописец Пьетро ди Кристофоро Вануччи, по прозвищу Перуджино (род. ок. 1450 г., умер от чумы в 1523 г.) Джорджо Вазари лишь кратко упомянул об этом шедевре: «В церкви Сан Доменико во Фьезоле, во второй капелле, что по правую руку, — алтарный образ на дереве с Богородицею и тремя фигурами, из которых весьма достоин одобрения св. Себастьян»²⁶.

Преемником Перуджино, продолжившим украшение церкви св. Доминика, стал флорентийский живописец Антонио ди Франческо Сольяни (1492–1544). Джорджо Вазари повествует об истории одной из картин работы Антонио ди Франческо: «Он написал образ, который после его смерти был продан Синибальдо Гадди, который дал его дописать Санто Тито из Борго и поместил его в своей капелле в церкви Сан Доменико во Фьезоле. На образе этом волхвы поклоняются Иисусу Христу на коленях у Матери, а сбоку портрет художника, сделанный с натуры и очень на него похожий»²⁷. («Поклонение волхвов» сохранилось на старом месте²⁸.)

В годы правления св. Андреа, епископа Фьезольского (1349–1374), в этом городе обосновались иеронимиты — члены монашеского ордена, избравшие своим духовным покровителем блаж. Иеронима (ок. 340–420). (Основанный во Фьезоле в 1360 году, орден иеронимитов (Congregatio Fesulana) был упразднен в 1668 году папой Климентом IX²⁹.) В 1456 году во Фьезоле началось строительство аббатства иеронимитов. Возведение обители осуществлялось на средства Козимо Медичи (1389–1464) — первого правителя Флоренции из рода Медичи. Интересная характеристика этого мецената содержится в монографии французского историка Филиппа Монье.

Его главное оружие — деньги, которыми он удивительно умеет пользоваться в своих целях. Он привязывает к себе других не благодарениями, а обязательствами и работой. Он ссужает всех: маленьких людей и высокопоставленных, государей, пап; он говорил, что не прочь бы ссудить самого Господа Бога. Кроме того, он всем дает работу: писать, переписывать, переводить, рисовать, вырезать, лепить, строить. Однажды один из его управляющих с ужасом докладывал ему, что он издержал в течение года семь тысяч флоринов на монастырь во Фьезоле и пять тысяч на церковь Сан Лоренцо. «Это доказывает, — заметил Козимо, — что в Сан Лоренцо лентяи, а во Фьезоле хорошо работали»³⁰.

В основу строительства монастыря был положен проект флорентийского архитектора и скульптора Филиппо Брунеллеско (1377–1446)³¹. Повод для такого пред-

положения дает Вазари, сообщивший о том, что «для Козимо Медичи Филиппо Брунеллеско сделал модель обители регулярных каноников во Фьезоле – очень удобное, нарядное, веселое и, в общем, поистине великолепное архитектурное произведение»³².

Строительство этой обители велось под руководством флорентийского архитектора и скульптора Микелоццо Микелоцци (род. между 1394 и 1399–1472), о чем сообщает Вазари: «Он выстроил наверху на средства Козимо церковь и монастырь братства Св. Иеронима, почти на самой вершине этой горы. Тот же Микелоццо сделал посланные Козимо в Иерусалим проект и модель гостиницы, построенной им для паломников, направляющихся ко Гробу Господню»³³. (Церковь и монастырь не сохранились; гостиница для паломников в долине реки Муньоне также, может быть, выстроена по упоминаемой Вазари модели³⁴.)

Во Фьезоле на холме высится вилла Моцци-Спенс; это сильно переделанный дворец, выстроенный Микелоццо Микелоцци. Вот что пишет об этом Вазари: «Он выстроил во Фьезоле великолепный и знаменитый дворец, нижняя часть которого утверждена на склоне холма, что потребовало огромнейших затрат, но принесло и немалую пользу, ибо в этой нижней части были устроены своды, подвалы, конюшни, погреба и другие прекрасные и удобные помещения; наверху же кроме спален, зал и других обычных покоев он устроил несколько комнат для книг и несколько других для музыки; в общем же в этой постройке Микелоццо показал, чего он стоит как архитектор, ибо помимо всего сказанного здание это построено было так, что, не смотря на то, что оно стоит на холме, оно до сих пор не сдвинулось ни на волос»³⁵.

...На полпути между Флоренцией и Фьезоле Борис Зайцев посетил небольшую церковь Сан Ансано, возведенную в XI столетии; она больше напоминала часовню. Вот что пишет русский паломник об этой церковке: «В книге о монастырях, церквях Флоренции, о ней отзыв похвальный; будто два Боттичелли есть, впрочем, из числа сомнительных. Находим и нечто в роде Боттичелли: две аллегорические картины. Легкие девушки, типа „Весны“, влекут колесницу, управляемую Целомудрием»³⁶.

Для писателя Бориса Зайцева авторство Боттичелли сомнительно, а поэта русского зарубежья Георгия Эрнстова скромные фрески подвигли на стихотворение «Боттичелли»:

И дух, и плоть в единстве красоты,
Любимый мною сочетал художник.
Дым источает жертвенный треножник.
Роняет, шествуя, Весна цветы.

Где, у какой неведомой черты
Был сорван первый, свежий подорожник?
Какой таинственный любви заложник
Во вздохе ветра прошептал: «Где ты?»..

Из лона вод рождается Венера,
Являя нежный и невинный лик,
И странно, что в глазах не страсть, но вера...

Душа невольно затаила крик...
 Во Фьезоле, под сенью древней ели
 Я жду тебя, о милый Боттичелли³⁷.

А Борис Зайцев продолжает: «Прислужница, конечно, указывает на стенах и Джотто, и Беато Анджелико; но таков уж удел этих художников: находиться чуть не в каждой итальянской церкви»³⁸. Как видно из приведенных строк, русский писатель с сомнением воспринял слова привратницы насчет Джотто и Фра Беато Анджелико.

Старинный городок Фьезоле стал источником творчества и для другого эмигранта — поэта российского зарубежья Анатолия Гейнцельмана. Его перу принадлежат два стихотворения, посвященные Фьезоле: «Пинета во Фьезоле» и «Покинутый скит». В отличие от своих собратьев по перу, он уделил внимание не спорным фрескам, а «бесспорным» пиниям:

Пинета во Фьезоле

Под пиниями зеленый сочный бархат
 Как драгоценный радужный ковер.
 С душой библейского я патриарха
 На бесконечность устремляю взор.
 Вдали долина дымчатая Арно,
 Флоренции священный силуэт,
 Издалека там всё высокопарно,
 Духовный там повсюду розлит свет.
 Глядишь, и красный плащ как будто Данта
 Меж лавровых мелькнет внезапно куц,
 Иль Микель-Анжело внизу гиганта
 Увидишь сквозь нависший с окон плющ³⁹.

Покинутый скит

В дымке Фьезоле синее,
 Флорентийский Монсальват.
 Облака благоговеют,
 Воскликая: Свят, свят, свят!
 На зубчатой колокольне
 Стрелка часовая спит,
 Рощи пиний безглагольны,
 Как усопший эремит (отшельник. — *Авт.*)⁴⁰.

Примечания

¹ Гревс И. М. Кровавая свадьба Буондельмонте. Жизнь итальянского города в XIII веке. Л., 1925. С. 13–14.

² Там же. С. 14–15.

- ³ Зайцев Борис. Италия. Собрание сочинений. Книга VII Берлин; Пг; М., 1923. С. 64.
- ⁴ Гревс И. М. Указ. соч. С. 15.
- ⁵ Там же. С. 15–16.
- ⁶ Бокаччо Джованни. Декамерон. М., 1955. С. 464.
- ⁷ Зайцев Борис. Италия. С. 64–65.
- ⁸ Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2. М., 2001. С. 334.
- ⁹ Там же. С. 334.
- ¹⁰ Указ. соч. Т. 3, М., 2001. С. 58.
- ¹¹ Там же. С. 62, примеч. 15.
- ¹² Католическая энциклопедия. Т. 1. М., 2002. С. 256.
- ¹³ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. М., 2001. С. 51.
- ¹⁴ Там же. С. 56, примеч. 20.
- ¹⁵ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 4. С. 320.
- ¹⁶ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 225, примеч.
- ¹⁷ Католическая энциклопедия. Т. 1. М., 2002. С. 244.
- ¹⁸ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. М., 2001. С. 216.
- ¹⁹ Там же. С. 227.
- ²⁰ Там же. С. 216–217.
- ²¹ Гумилев Николай. Стихи. Поэмы. Тбилиси, 1989. С. 214–215. Стихотворение «Фра Беато Анджелико».
- ²² Львов Лоллий. Fiorenzia. Мюнхен, 1957. С. 4. Стихотворение «Фра Беато Анджелико в Фьезоле».
- ²³ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. М., 2001. С. 451.
- ²⁴ Там же. С. 457.
- ²⁵ Там же. С. 503, примеч. 18.
- ²⁶ Там же. С. 496.
- ²⁷ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 3. М., 2001. С. 363.
- ²⁸ Там же. С. 369, примеч. 3.
- ²⁹ Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М., 1993. С. 585.
- ³⁰ Монье Филипп. Опыт литературной истории Италии XV века. Кватроченто. СПб., 1904. С. 108–109.
- ³¹ Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 154, примеч. 46.
- ³² Там же. С. 139.
- ³³ Там же. С. 187.
- ³⁴ Там же. С. 192, примеч. 12.
- ³⁵ Там же. С. 186–187.
- ³⁶ Зайцев Борис. Италия. С. 64.
- ³⁷ Эрстов Георгий. Сонеты. Милан, 1955. С. 74.
- ³⁸ Зайцев Борис. Указ. соч. С. 64.
- ³⁹ Гейнцельман Анатолий. Священные огни. Неаполь, 1955. С. 108.
- ⁴⁰ Там же. С. 11.

И БЕСКОНЕЧНО ИЗУМЛЕНЬЕ ПРЕД ЭТИМ МИРОМ

**Сергей Мнацаканян. Ретроман, или Роман-Ретро:
Мемуары поэта. — М.: МИК, 2011. — 464 с.**

Вот и пришла пора писать воспоминания нашему поколению, перешагнувшему тривиальный пенсионный рубеж. Впрочем, отдельные книги мемуаров выходили и раньше, например, В. Алейников вспоминал о Смоге и смогистах, настолько преувеличивая свою роль в становлении этого объединения московских поэтов и, соответственно, преуменьшая роль Леонида Губанова так, что сразу становилось ясно: все было ровно наоборот.

Поэт Сергей Мнацаканян, помимо сочинения собственных стихов, давно курировавший «Турнир поэтов» в газете «Московский комсомолец», а еще раньше работавший в поэтическом объединении секретариата Московской писательской организации и в силу работы все последнее десятилетие в отделе литературы «Литературной газеты» пишущий рецензии на поэтические сборники современных авторов и откликающийся на те или иные юбилеи ушедших и пока еще здравствующих коллег, издал недавно замечательную книгу мемуаров «Ретроман, или Роман-Ретро».

Ее уникальность не только в подробном изложении литературной жизни России с начала семидесятых годов прошлого века до наших дней, то есть целого 40-летия. И если придирааться и суживать обзор, то — литературной жизни Москвы за эти же годы.

Уникальность его воспоминаний в воссоздании потрясающей атмосферы влюбленности практически всех литераторов (от сотни до чуть ли не абсолютно всех упомянутых в книге) прежде всего не в себя, конечно, любимого (а какой поэт без безграничной веры в свой дар!), в ее величество Поэзию, в Русскую Литературу, в творчество друг друга.

Принадлежа ровно к тому же поколению и положив руку на сердце, уверяю, что все мы отлично знали наизусть не только почти всю отечественную (да и зарубежную, смею уверить) поэзию, но и лучших поэтов сопутствующей нам эпохи. И если в «Юности» появлялся даже куцый отрывок из поэмы Л. Губанова «Холст 37 на 37, такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от старости совсем», то в ту же неделю от Калининграда до Владивостока эти строки знали и помнили потом через всю жизнь тысячи сочинителей и миллионы любителей поэтического слова.

У Сергея Мнацаканяна в его воспоминаниях нет ни крупинки зависти, ни желания свести счеты с кем-то из литературных противников, ни нотки нытья, а только замечательное жизнелюбие и энтузиазм созидания, единственные которые оправдыва-

ют смысл жизни и поддерживают жажду жизни на протяжении ой как непростых десятилетий и доставшихся нам испытаний на прочность.

Читая эту книгу внимательно и порой спотыкаясь на корректорских ошибках, я иногда чувствовал такое редкое единение с автором мемуаров, что готов был сам подписаться под многими пассажами. Тоже, как и автор, был горд общением с Павлом Антокольским, Арсением Тарковским, Борисом Слуцким, Евгением Винокуровым, Александром Межировым, Анатолием Жигулиным, Владимиром Соколовым, Андреем Вознесенским, Николаем Глазковым, Леонидом Мартыновым, Робертом Рождественским, Юрием Трифоновым, Сергеем Наровчатковым, Марком Соболев, Николаем Тряпкиным, Валентином Катаевым; внутренне подтрунивал над Морковкиным-Богучаровым, Друзиным или массой Кузнецовых (никак не олицетворяя их с Юрием — единственным, который не «подделка»). Обскакал меня Мнацаканян разве что с Сергеем Чудаковым, о котором я что-то смутно слышал, но никогда не видел, и с Наной Дзалаевой, очерки о которых существенно дополняют панораму литературной части советского общества.

А я ведь не помянул поименно и пофамильно одной сотой, да же что, бери больше, одной пятисотой промелькнувших на страницах мемуаров персонажей. Колоритных, узнаваемых, по-своему счастливых и несчастных, верящих в удачу, которой для многих стало поминание их в обозреваемой мною книге.

Давно пора было бы процитировать что-то к случаю. Увы, стихи цитировать легче, чем мемуарную прозу. Но вот вам образчик повествования о не самых главных литературных фигурах из эссе-очерка «Человек из ЦэДээЛа»:

«Олег Дмитриев жил на Большой Грузинской, окна его квартиры выходили на всемирно известный московский зоопарк. Не то в шутку, не то всерьез он рассказывал, что летними ночами бывает трудно заснуть: прямо под окнами режут слоны, хрюкают бегемоты, рычат львы и тигры...

Олег Дмитриев отличался тонким чувством юмора. Такое чувство трудно, казалось, даже заподозрить в таком здоровенном мужчине, каким был Олег, однако он любил пошутить и делал это неплохо.

Так однажды молодая поэтесса Анна Гедымин, которая, в отличие от Олега, казалась просто дюймовочкой и весила, наверное, килограммов сорок, не больше, но имела острый, язвительный язычок, однажды изрекла страшное двестишье без рифмы:

Мне сегодня снилась Юнна Мориц.
Юнны Мориц снятся не к добру...

Да простит меня Юнна, что я вспоминаю такую саркастическую и не соответствующую действительности строчку. Делаю я это для того, чтобы показать, как немедленно на это двестишье, на эту заготовку эпиграммы откликнулся Олег Дмитриев, страстный футбольный болельщик. Он, недолго думая, произнес:

И тогда команда «Черноморец»
ЦэСКА побила поутру...

Помнится мне, в те семидесятые годы на совещаниях молодых писателей да и в ЦДЛ вместе появлялись две околосовременные подружки. Обе писали стихи. Обе были чертовски интеллигентны. Каждая из них носила значимую, но парадоксальную фамилию, которая не очень шла таким изысканным и приятным молодым женщинам. Одна из них звалась Любовь Гренадер, а другая — Юлия Сульповар. Они что-то писали, что-то переводили, было ясно, что в поэзии им делать нечего, но,

естественно, доброжелательный Олег откликнулся на появление в цэдээльских кругах такой экзотической пары подружек:

Суров Суворовский бульвар,
 Никитский мрачен сквер...
 Идет девица Сульповар
 с девицей Гренадер...
 Идет от тротуара пар.
 и воздух полон муз...
 В Союз — девицу Сульповар,
 и Гренадер — в Союз!

Имелся в виду Союз писателей СССР, куда, естественно, стремились молодые литераторы, и, насколько я помню, ни та, ни другая девица вовремя не вступили...»

Помимо уважительно товарищеского, а порой и вполне ученического (в ранние годы) отношения к поэтическому слову известных, да и впрямь больших поэтов современности, Сергей Мигранович немало понарасказывал об изданиях последней трети прошлого века, об изданиях Серебряного века, об антиквариате пушкинской поры...

Эссе «Деревянный дом у «Динамо» (Нана Дзалаева и ее семья)» посвящено поразительно яростным библиофилам и неукротимой книгомании, какой до мозга костей была поражена эта своеобразная московская семья. Не буду особо грузить цитатами, ибо пришлось бы воспроизводить текст полностью, приведу только окончание:

«А в двухтысячном году в маленьком книжном магазинчике, какие появились в Москве в конце века, я случайно встретил одного из знакомцев по застольям в той, необыкновенной когда-то библиотеке. Не помню его имени, и не стал спрашивать. Но знакомец рассказал мне, что пару лет назад Нана умерла, а ее сын Миша умер еще раньше, то ли пил, то ли пристрастился к наркотикам, году в 96-м. Перед смертью, одинокая, пережившая рязанского мужа с нестерпимой синевой в лазах, единственного сына от первого брака, она подобрала на улице пять или шесть собак, которые дружно жили в ее квартире, и я представил себя это странную стаю беспородных псов, окруженную полками с рукописными свитками Алексея Ремизова, мичиганским четырехтомником Пастернака, раритетами издательства имени Чехова в Нью-Йорке, первоизданиями гениев Серебряного века, американским двухтомником Юрия Анненкова с криминальным по советским временам описанием ленинского мозга, зеленым двухтомником Николая Клюева и еще сотнями изданий, за которые запросто могли посадить в те годы в Советском Союзе.

Но книги книгами, а я думал о том, как оборвалась еще одна линия русской жизни, как один за другим ушли в небытие эти по-своему незаурядные люди, которых никто не вспомнит, кроме вас, мои читатели, да еще Наниной сестры».

И пусть, по ознобному признанию автора, «не получилось романа, как ты его ни прочти... Вышла сердечная рана с язвой до самой кости... Что там фантазии Фрейда или горячечный хит, если незримая флейта именно в язве звучит?..», зато неугасимая лампада горит благодарно перед ликами великих и личиками даже самых малых сочинителей ушедшего времени.

Почти сто последних страниц книги из почти пятисот отдано под подборку фотоматериалов из архива автора, которые опубликованы впервые, и стихотворному

циклу, посвященному творческим устремлениям, различным поэтам и высокому искусству поэзии.

Снова Антокольский, Шаламов, Винокуров, Иннокентий Анненский, Сумароков, Стендаль, Лев Толстой, Комаровский предстают явственно и зримо уже в обрамленном рифмами облике.

А закончить хочется самоироничным автопортретом поэта-энтузиаста, где лаконично сказано обо всем произошедшем с ним и со всеми нами:

Зевать — рискованное дело!
Я сам из племени зевак —
я обожаю без предела
считать ворон, считать собак.
Тот неуклюж, а этот ловок,
бульварный деется роман! —
свидетели всех потасовок,
участники великих драм...
Зеваки — труженики глаза,
руководители зрачка,
да не пристанет к нам зараза
и ни липучая тоска.
Судьба, исполненная риска!
Я столько в жизни прозевал,
но это было бескорыстно,
как воплощенный идеал...
О, удивленье перед миром —
застынешь, словно в столбняке,
дыша зияющим эфиром
на том всемирном сквозняке.
За поколеньем — поколеньем,
приходим в жизнь, уходим в смерть,
чтобы предаться искушенью:
взглянуть, поохать, посмотреть...
Не поминая Божью мать
перед провалом черных дыр,
глаз положить, пока не спянул,
на этот сумасшедший мир.
И — все, и только угол зренья
и глаз сияет в пол-лица,
и бесконечно изумленье
пред этим миром до конца.

Вот такой своеобразный угол зрения. Такой неожиданный подарок самому себе и своим читателям.

Виктор ШИРОКОВ

БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРЕБРО

**Нелли Морозова. Мое пристрастие к Диккенсу.
Семейная хроника / XX век. М.: Новый хронограф, 2011**

Книга Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Диккенсу» — событие, ибо она, эта книга, — явление не одного ряда. Удивительным образом в ней сочетаются и мемуарная составляющая, восстанавливающая ход событий, и лирический дневник, и публицистический пафос, и психологическая проза, и детективное движение острого сюжета, и кинематографическая зримость повествования. Я бы не удивился, если бы эта книга нашла свое воплощение на телевизионном или киноэкране — время, как показали события общественной жизни России на переходе из старого 2011 года в новый 2012 год, все еще остро нуждается в подобном художественно-гражданском осмыслении.

Перед нами действительно мемуарная книга. Но в ней совершенно выстроенный сюжет, имеющий свою закольцованность, а множество самостоятельных новелл, как оказывается, предстают деталями единого сюжета.

Книга начинается с событий послевоенных, когда автор, трудясь старшим редактором в системе советского кинопроизводства, повествует об обычном, но полном нервного напряжения просмотром дня. Предстоит просмотр нового фильма, просмотр, который должен определить судьбу фильма. Кажется, все мы уже знаем о сюрреалистической системе цензуры и коллективной ответственности за политическое решение о выпуске фильма на экраны в Советском Союзе, но точность деталей в ироническом пересказе Морозовой весь этот абсурд представляет особенно зримым в своей бессмыслице. Впрочем, кому как. Ведь на карту ставились вопросы от элементарной житейской заботы о получении всеми участниками процесса квартальной премии до жизненно определяющих проблем не только сохранения или потери работы, но и элементарной человеческой свободы, а то и жизни. Точность деталей, говорим мы, но это пока еще не те детали-метафоры, которым суждено организовать сюжет книги.

Начало просмотра затягивается, возникают предположения о претензиях к фильму, на которые необходимо подготовить возражения или пояснения... Однако привычная рутина — хороша рутина, способная разрушить судьбы людей! — разрешается неожиданным и драматическим поворотом.

В пустых глазах чиновника, от которого ждут команды на начало просмотра, появляется некоторый проблеск. Своей собеседнице он предлагает ознакомиться с поступившей анонимкой:

«В бумажке говорилось, что Нелли Александровна Морозова недавно получила от министерства комнату в Москве, а между тем отец ее — ВРАГ НАРОДА, и она его никогда публично НЕ ОСУДИЛА, что муж ее — КОСМОПОЛИТ...»

Не осудила, не указала... Оказалось — указала. Это уже облегчало ситуацию, тем не менее «каждой анонимке *обязаны* были дать ход». Спасибо другому начальнику, который спас ситуацию: «Вот что, к завтрашнему утру напишите новую автобиографию и — подробнее об отце, все, что припомните. Подбросьте детали».

Вот эти «детали» и стали книгой о целой жизни. Эти «детали» и припоминает, «подбрасывает» нам автор книги, эти «детали» и составляют книгу, выстраивают судьбы Нелли Морозовой, всех членов ее семьи.

Что за событие! — мог бы воскликнуть молодой читатель по поводу истории с анонимкой и теми переживаниями, которые возникли у молодой женщины — дескать, бредовость ситуации очевидна?! Но нужно понять, что за время стояло на дворе. А чтобы понять, как раз и следует читать эту книгу.

Воспоминания о детстве, о родителях, о родственниках, об окружающих людях превращаются в портрет времени. Вера Морозова и Александр Моррисон, родители автора книги, познакомились в 1922 году, в комсомольской ячейке Челябинска. Их семейная жизнь начиналась в драматических обстоятельствах: у мужа, по мнению медиков, оказался туберкулез в неизлечимой форме, и молодой жене пришлось, оставив маленькую дочку родителям, забыв обо всем, в том числе о своих профессиональных интересах скульптора, два года заниматься здоровьем мужа. И она победила! Это был ее первый подвиг во имя их необыкновенной любви! Жизнь была посвящена стряпне, диете, прогулкам, процедурам, но то, что совершила эта женщина, именно врач определил словом «чудо», когда убедился, что болезнь отступила.

После работы в разных городах Александра Моррисона перевели в тихий южный Таганрог в 1931 году. Он был «переброшен поднимать» («бедный русский язык!» — иронизирует автор) газету «Таганрогская правда». Судя по всему, «поднять» газету удалось. Но «переброшенный» не ограничивал свои интересы редакционной жизнью. Надеюсь, в сегодняшнем Таганроге не забыты его усилия по спасению документов, материалов, рукописей и созданию дома-музея Чехова. А восстановление замечательного драмтеатра?! И стремление привлечь в него талантливых актеров!.. Родители Нелли, их дом стали центром культурной жизни тогдашнего города. Кто-то дружил с ними, кто-то удивлялся их нестандартному для ответственных работников образу жизни, поведению, облику. С другой стороны, журналист, театрал — он, скульптор — она, вполне возможно, воспринимались в качестве людей богемы. Но то, как жили эти красивые люди, как умели отдавать свою энергию тому, что принято называть общественной жизнью, как умели проявлять доброту и душевную щедрость по отношению к конкретному человеку в конкретных обстоятельствах, не могло не привлекать к ним людей самых разных. И свидетелем этой яркой жизни была маленькая дочь своих необыкновенных родителей, купавшаяся в атмосфере домашнего — пусть совсем небогатого — уюта, семейного счастья, в атмосфере любви. В атмосфере, которая сформировала ее человеческие качества.

И здесь — в контрасте со многими событиями будущей жизни — все еще полный счастливых ощущений 1935 год.

Отмена продуктовых карточек, появление гастрономических радостей, получение новой просторной квартиры, чеховский юбилей, в праздновании которого ее отец — одна из самых заметных фигур, даже в присутствии сестры Чехова Марии Павловны, его вдовы Ольги Книппер-Чеховой. В этих юбилейных празднествах свое место было и у Веры Морозовой: перед домом-музеем устанавливался бюст писателя, созданный ею. Их семья оказалась в центре событий, праздник писателя, праздник города стал праздником семьи.

Кто бы мог подумать, что на этом взлете и повернется жизнь к страшному разлому?!

Александра переводят в Ростов-на-Дону начальником Комитета по делам искусств Азово-Черноморского края, куда он должен был отправиться поначалу без жены и дочери. И там последовал арест по нелепому обвинению. Тучи над страной сгустились.

Возможно, маленькая Нелли еще не все понимала, возможно, от этого понимания ее пока что оберегали взрослые, потому что для них все это оказалось не столь неожиданным.

Сколько замечательных страниц своей мужественной маме посвятила Нелли Александровна! Ей, теперь уже быстро взрослеющей, пришлось познать все превратности жизни при том режиме, оправдателей которого в России слишком много и сегодня. А чувства ее близких и ее самой должны были пройти испытания на прочность — и прошли их, о чем и написана эта книга мемуаров.

Люди — разные, и ведут они себя по-разному в различных обстоятельствах. На обложку книги вынесены несколько цитат из отзывов о ней. Вот что говорит известный критик и литературовед Бенедикт Сарнов: «Великий мизантроп М. М. Зощенко однажды сказал: “Так называемые хорошие люди хороши только в хорошее время. В плохие времена они плохие. А в ужасные времена они ужасны”». Книга Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Диккенсу» с художественной силой (а художественная сила — это всегда сила правды) убеждает нас в том, что и в самые ужасные времена были люди, сумевшие оставаться людьми. Добрыми, великодушными, готовы ми положить «душу за други своя».

Действительно, эта разность человеческого поведения отражена в книге со всей прямоотой. Трусость, ложь, доносительство, предательство... Но и — достоинство, доброта, честность, благородство, мужество!

Вот вчерашние знакомцы переходят на другую сторону улицы при встрече с Верой Морозовой, поскольку им стало известно об аресте ее мужа. Рабский страх, готовность к предательству проявляются на каждом шагу. Однако из рассказа самой Веры Георгиевны о старике Туркине читатель узнает, как вел себя этот человек: он снимал шляпу, низко кланялся и кричал на всю улицу: «Здравствуйте, Вера Георгиевна. Ну, как там *наши в тюрьме?*» И ее комментарий: «Неплохой мальчик сидел за одной партой с Антоном Павловичем Чеховым!»

Что же касается семьи Морозовых, то, видимо, некий ген благородства, доброты и мужества свойствен всем представителям этого клана. Новеллы о невероятных приключениях братьев Веры Георгиевны — остросюжетный детектив, закрученный самой жизнью, — подтверждают предположение об особенных свойствах людей этого дома. Истории Валентина и Леонида заслуживают отдельного повествования.

Чего стоит рассказ Валентина, брата Веры Морозовой и дяди автора.

В 1928 году он отправился покорять Москву. Его приветил двоюродный брат, еще один из молодых Морозовых, веривших в святые идеалы революции (как же на удивление быстро и драматично, а порой и трагически расстались они со своими иллюзиями!), зазвал на службу в НКВД: бороться с врагами революции с одновременным получением благ — комнатенки и пайка. Вскоре молодому сотруднику оказали доверие, вооружили и определили в личную охрану. Едва ли не всех вождей революции довелось «водить» ему. И как он рассказывал матери потом: был вооруженный в четырех шагах от супостата, мог покончить с ним. На что мать отвечала: «Я бы тебя благословила».

Поселили его однажды на конспиративную квартиру, напротив японского посольства. Помимо хозяина комнаты (именно комнаты, поскольку она была частью коммунальной квартиры, где жили непричастные к ведомству соседи, — сущий бред!), в нее приходили и другие топтуны. Все они представлялись студентами рабфака и очень скоро стали вызывать подозрение бдительных соседей: приходят-уходят, а то по ночам уезжают и приезжают на автомобилях. Бедные «разведчики» слали рапорты о дикой ситуации: конспиративная квартира, а комната в коммуналке. А соседи строчили доносы о странных студентах. В итоге служба НКВД арестовала своих сотрудников и впаляла им лагерные сроки «за раскрытие конспиративной квартиры». Вот он — советский «сюр»!

Отсидев срок, Валентин появился в Москве, и тут же — информация о его появлении пришла мгновенно — был приглашен в ведомство. Знаем, что вины настоящей за тобой нет, предлагаем вернуться в систему. Конечно, — согласился он и немедленно смылся из Москвы. Понимал уже, что к чему! Рванул в Таганрог, к сестре с мужем. Когда мужа сестры (Александра Моррисона) арестовали, дернул в Ташкент, работал в газете, писал авантюрный роман. Но и оттуда со временем пришлось делать ноги. Оказался в Уфе — у матери с братом.

Кольцо сжимается. По городу идет новая волна арестов. Вдруг выясняется, что вот-вот в Уфе окажутся и сестра с дочерью — в качестве ссыльных. Угроза нависает над всей семьей. И тут Валентину приходит в голову, как сыграть на опережение. Оказывается, в Москве рядом с Красной площадью есть дом со слуховым окном, откуда с помощью винтовки с оптическим прицелом можно застрелить Сталина, когда тот будет принимать парад. Правда, эта мысль пришла в голову не ему, а его брату Леониду, ворошиловскому стрелку, работнику Осоавиахима, который даже пытался ее осуществить, да, на беду, винтовки с оптическим прицелом из Осоавиахима изъяли. Но раз такая мысль пришла в голову его брату, то она может прийти в голову и ему самому, автору авантюрного романа. И значит, она может прийти любому. И автор авантюрного романа решает на отчаянную авантюру: переполошив местный НКВД, добивается того, что его отправляют в Москву к самому Ежову (никому другому он раскрыть коварный план не может)! Чтобы обезопасить семью и себя самого, сует голову прямо в пекло. И его план удается!.. Местные органы не трогают ни его, ни кого-либо из семьи, Валентина берут в газету на штатную работу.

Но жизнь сюжет этим не завершила. Не прошло года, как расстреляли самого Ежова. Недавняя авантюра грозит чем-то уже совсем чудовищным: получается, что Валентин самолично передал план покушения на вождя врагу из врагов! Что делать? И Валентин решил разыграть спектакль по новой, теперь уже перед Берия. В свете изменившихся обстоятельств надо было довести до сведения главного борца с врагами (и опять только его, никого другого!): я раскрыл точку возможной атаки Ежову, не зная, что он враг, на носу первомайская демонстрация, кто-то может воспользоваться этой «посказкой»... И снова — получилось! Прошел по лезвию и победил. Ну, не «сюр» ли! Воистину «комедия де Сартра», как позже выразится, желая выглядеть умным и образованным, один из киношных начальников, изображенный автором книги (так расслышал начальник чьи-то слова о масках комедии дель арте, а совпал разговор с очередным периодом антисартровской кампании).

Книга Нелли Морозовой полна примеров трагикомических явлений тогдашней жизни, от которой, похоже, мы все еще не так далеки.

Недавно довелось стать свидетелем телевизионного интервью: яркая женщина в расцвете сил и красоты, умная, образованная, самодостаточная, с прекрасной речью, как и должно главному редактору уважаемой газеты, размышляла о том, почему обновленное издание отказалось от слогана «газета для интеллигенции». Понятно, что слоган отталкивает от издания какую-то часть потенциальных подписчиков. Но объяснение прозвучало как знаковое для нашего времени: причина отказа от слогана в том, что размыто восприятие слова «интеллигент». Слово это и впрямь полисемичное, разные люди вкладывают в него разное содержание, но все чаще вымывается из нашей жизни специфически русское понимание его. На Западе его подменяют словом «интеллектуал», в немецком языке «интеллигентный» значит «умный», для многих русскоязычных означает «образованный». Все это верно, но, однако же, мы привыкли слышать в нем сочетание ума, образованности, культуры, но прежде всего — наличие совестливости! Человек может быть умен и образован, но он — не добр, или вовсе негодяй, о какой же интеллигентности вести речь?!

Именно это разночтение, по мнению многих, представляет понятие неопределенным, не воспринимаемым однозначно, что, дескать, делает его и не вполне употре-

бимым. В таком случае из нашего обихода должно уйти слово «поэзия». Оно ведь также многозначно. И даже в самом прямом смысле: конкретные стихи для одного читателя — поэзия, а для другого — стихотворный текст, лишенный поэзии. Тем не менее есть определенный слой людей, которые достаточно верно и при достаточном взаимопонимании трактуют и употребляют слова «поэзия», «интеллигент». И редактор упомянутого издания, без сомнения, находится в том же ряду.

Книга Нелли Морозовой возвращает нас к такому многозначному во всей его полноте понятию. Книга написана о настоящих интеллигентах. О людях, которые в различных обстоятельствах своей жизни, проявляют и ум, и доброту, и достоинство, и мужество, но всегда и прежде всего — совесть. У интеллигентного человека, избавленного от всякого высокомерия, есть еще одно качество — способность находить общий язык с людьми разного культурного уровня. И убеждать человека прежде всего — поступками. Подобным даром особенно владела Вера Морозова. И в книге немало эпизодов, которые подтверждают это. И вот еще одно проявление соответствующих человеческих качеств: пока жизнь семьи складывалась относительно благополучно, Вера Георгиевна помогала, как могла, разным людям. Но наступили тяжелые времена: муж репрессирован, сама она на волоске от ареста, работы нет. С благодарностью приходится иногда принимать самую малую помощь сочувствующих людей. И даже в таких обстоятельствах Вера Георгиевна умудряется с кем-то, кому еще тяжелее, поделиться. Как замечает автор книги, ее дочь: «Так мы жили: принимали подавание и подавали сами».

В книге много иллюстративного материала, переворачивающего душу. Как, каким чудом сохранились записки, которые передавала своему мужу в тюрьму жена врага народа? И ответы на обратной стороне тетрадной осьмушки? Письмо дочери отцу, которое передать не разрешили, но которое было прочитано вслух тюремной очереди?

Эта книга о многом. В том числе — о прозрении, о людях, к которым прозрение пришло не задним числом, не с одобрения власти, а в противостоянии времени, его абсурдности и жестокости.

Книга о том, как, по выражению автора, «ортодоксальная идея» изживалась «спасительной ересью»!

Эта книга о становлении личности ее автора. Ее интересно читать и нужно постигать, потому что написана книга умным и благородным человеком. Но она написана еще и очень талантливым, литературно одаренным человеком.

Раз уж мы говорили о поэзии, нельзя не сказать о ее полном присутствии в книге Нелли Морозовой, о жизни слова в ее книге. Образное, метафоричное, точное в нюансах и деталях, оно «держит» даже самые трагические страницы на высоком литературном уровне. Замечательные, полные истинно поэтического взгляда на мир картины города детства: улицы, дома, деревья, море, рыбацкие лодки... Об этом можно рассуждать отдельно, рассуждать о способности выпускницы сценарного факультета писать зримо, ярко.

Вот передышка после долгого хождения по башкирскому лесу в поисках спасающих от голода ягод: «...наполнив лукошки, мы делали привал у речки Сюнь (Прозрачная). Она оправдывала это название. На глубоком дне были видны все камушки. Каждая рыбешка выдавала себя беззащитным серебром. Лесные берега повторялись в очищенном, сокровенно своем виде».

Мне представляется, что книга Нелли Морозовой — это река, отражающая беззащитное серебро ее души в очищенном, сокровенном виде.

Даниил ЧКОНИЯ

«СЛОВЕСНОСТЬ — РОДИНА И ВАША, И МОЯ...»

Лица петербургской поэзии. 1950–1990. Автобиографии. Авторское чтение. СПб., 2011. Составитель, руководитель проекта, ответственный редактор Ю. М. Валиева

Замечательная книга вышла в Петербурге в 2011 году в серии «Творческие объединения Ленинграда» тиражом всего 300 экземпляров. Один большой том на 700 страниц, собравший автобиографии, стихи и записи голосов петербургских поэтов от Василия Бетаки до Аллы Горбуновой, от 50-х годов XX века до 90-х. Книга предназначена специалистам-филологам, преподавателям русского языка, широкому кругу читателей. Родина словесности, родина речи предстает в судьбах, стихах и голосах любивших ее, терпевших от нее, писавших о ней поэтов:

Словесность — родина и ваша, и моя,
и в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.
(1971) (ЛПП, с. 466) (Д. Бобышев)

Не случайно заглавие — «Лица петербургской поэзии». Эти лица — лирические портреты поэтов, непохожих друг на друга, талантливых, говорящих стихами о том, что мы хотели бы сказать сами, если бы умели. Перед читателем — история поэзии Ленинграда, во многом обязанная своей биографией Дворцу пионеров и его творческим объединениям: самые упоминаемые в автобиографиях имена — Татьяны Григорьевны Гнедич и Глеба Сергеевича Семенова, с которыми связано лирическое «детство» многих поэтов. В стихотворении «Кваренги», посвященном великому архитектору, В. Британшский писал о Дворце пионеров, о начале своего душевного становления:

Он — творец и создатель вон той колокольни Владимирской,
Мариинской больницы (где мама потом умерла)
и Дворца пионеров, куда из опеки родительской
под опеку Поэзии я убежал дотемна.
(ЛПП, с. 470)

Составитель тома взял на себя прекрасную роль хранителя и летописца, чтобы петербуржцы XXI века знали поэзию второй половины века XX, поэзии неофициальной, самиздатской. Зачем это нужно и нужно ли? Тираж книги рассчитан на триста влюбленных в стихи людей. Определяется ли это количество реальной востребованностью такой книги? Вряд ли. Читателей должно быть больше: надо принимать во внимание и «москвариков», как с любовью написал о москвичах в стихотворении «Москварики и невырики» Михаил Яснов. Вместе с автобиографиями поэтов читателю предлагаются пять дисков с записями авторского чтения, позволяющими услышать неповторимую манеру поэта. В самом деле, авторское чте-

ние — это какой-то особый определитель подлинности поэта, его настоящести. Голоса разные, и непохожие поэты, и много по-настоящему талантливых стихов, которые хочется запомнить, как стихи классиков: Мандельштама или Пастернака. Среди таких запоминающихся, знаковых стихов, которые определяют эпоху и личностный тип поэтов и людей, влюбленных в стихи, назову стихотворение «Мы живем за оградой...» Юрия Алексева, сумевшего сказать не только о поэтах своего поколения, своего времени, но обо всех, для кого существование за оградой «волшебного сада» искусства является единственно возможным:

Мы от стада отбились
Потому, что по нраву другие,
Наше кровное право
Жить в волшебном саду.

Собеседники наши — кумиры,
Богини нагие,
Хороводы теней, поселившихся
В темном пруду...

(ЛПП, с. 513)

Не все диски с голосами поэтов, на мой взгляд, равноценны. Самый неудачный — четвертый. Самый лучший, наверное, первый. Завершает аудиознакомство с поэтами пятый диск, куда вошло чтение малоизвестного и рано умершего поэта Л. Аронсона, чтение Г. Горбовского, В. Кривулина, К. Кузьминского, Н. Рубцова, Б. Тайгина. На дисках имена поэтов даны в алфавитном порядке, но составитель постарался так «соединить» поэтов в пяти дисках, чтобы они представляли собой тоже некое единство. Например, на одном диске свои стихи читают Д. Бобышев, А. Городницкий, А. Кушнер, А. Найман. Стало общим местом говорить о Бобышеве и Наймане как о поэтах поколения Бродского, и это несколько смещает точку «обзора», мешает видеть их самих. Замечательны стихи Бобышева «Звезда». Вся подборка стихотворений Наймана удачна: «Я прощаюсь с этим временем навек...» — к Ахматовой, и «Кончается лето...», и «Прежде возделывания земли» с подспудно звучащим «Караваном», звучащим для каждого, как для автора стихов, как голос его юности, как звук счастья, как знак всего грядущего успеха, «как дерево добра и зла», как голос его музы, начало певческого пути; и «9 Мая», о бабке Соне, умершей в блокаду; и его «Рим», о родине поэзии, и стихи о творчестве, об ответственности стихописания («Написать — это имя свое написать...»). А привести хочу ранние стихи, стихи-фотографию:

Кончается лето,
и вряд ли оно повторится,
и как говорится,
друзья, наша песенка спета:
забыты признанья,
и слезы, и трепет, и клятвы,
прошла уж пора созреванья,
и яростной жатвы,
и двух сенокосов...
И только за дымкой полдневной
стоят Женя, Дима, Иосиф
пред Анной Андревной.

(1969) (ЛПП, с. 490)

Эта дымка неожиданного ракурса, умения увидеть самому и дать увидеть нам по-

этов уже не только в пространстве петербургского (припетербургского) пейзажа и лета, но на поэтической, иерархической лестнице истории поэзии, отличает стихи Наймана.

Поэзия Ленинграда–Петербурга представлена предельно разнообразно (64 поэта), собрано почти все (исключая Елену Шварц, которая сама исключение): под одной обложкой со строгими, почти классическими стихами Д. Бобышева и А. Наймана можно прочитать весьма странные, белым стихом написанные «реликты» и «фейерверки» Л. Березовчук или не менее странные, с латинскими вставками стихи С. Завьялова, поэтов, оказавшихся неким «приложением» к «звездам» петербургского поэтического неба. Мне не хотелось бы никого обижать, этих не совсем поэтов много, и есть среди них люди с любопытными биографиями. Просто у них (ничего не подделаешь!) автобиография оказалась интереснее, талантливее, чем стихи. Это ведь тоже неплохо! Автобиография вообще — особый жанр, и мне представляется заслуживающей составителя идея построить историю петербургской поэзии, дав возможность поэтам рассказать о себе (большая часть автобиографий была написана по просьбе Ю. М. Валиевой). Прочитав стихи, прослушав авторское чтение, возвращаешься опять к биографиям поэтов, уже по-новому осмысливая признания, высказанные в первой части книги. Добавлю, что факсимиле рукописи, а также фотографии из личных архивов (фотографии Б. Кудрякова из личного архива К. Козырева) позволяют как бы перейти границу времени, узнать почерк поэта, увидеть его среди друзей и спутников. Среди тех, чьи стихи автобиография не затмила, среди поэтических звезд, светящих особенно ярко, хочу назвать имена Юрия Колкера и Елены Пудовкиной. Юрий Колкер отличается умением создавать какие-то очень мощные метафорические образы, которые воспринимаются как самоценные:

Что не о смерти, то мимо. О чем говорим?
 Слава пустее отечества. Горечь и дым.
 Вводит потемками юности в чувственный ад
 Твой навсегда опрокинутый в прошлое взгляд.
 (2003) (ЛПП, с. 549)

Совершенно изумительно его стихотворение об эмиграции, о смерти как о соединении с английской землей, о погубленной жизни и о разлуке с Россией, обудущем литературы, вскормленной ростками поэзии русских эмигрантов:

Умрем — и английскою станем землей,
 Смешаемся с прахом Шекспира,
 Навеки уйдем в окультуренный слой
 Прекраснейшей родины мира.

Обиды забудем и злобу простим
 Малютам ее туповатым, —
 Да всходит на острове лаком простым
 Кириллицей вскормленный атом.
 (7 октября 1995) (ЛПП, с. 551)

Трудно сказать, не преувеличивает ли Юрий Колкер свою роль? Но подумать о том, что поэт исчезнет бесследно, невозможно, противостоит естеству. Гораздо понятнее попытка увидеть себя частью «окультуренного» слоя грядущего. Эти грустные стихи из тех, которые можно печатать в хрестоматиях как классику, на мой взгляд. Одно из лучших во всем томе и стихотворение Колкера, посвященное печальной теме похо-

рон. В томе стихов поэтов Петербурга–Ленинграда несколько стихов на ту же тему: похороны А. А. Ахматовой, зорко увиденные Евгением Вензелем; похороны Льва Толстого, о которых иронично и горько написал Николай Голь. У Колкера эта тема дана как прощание с матерью своей жены. В ряде стихов для автора важной оказывается тема осмысления биологического конца жизни, тема памяти и вера в посмертное существование:

Биологическая жизнь завершена.
Скажи, куда теперь отправилась она,
Старуха властная, что дочь твою растила,
И не прибавилось ли на небе светила?
(26 декабря 1999) (ЛПП, с. 551)

Елена Пудовкина открывает читателю свое небо где-то возле Бориса и Глеба, возле Эдемского сада, в который нет дороги, возле туч, которые, «как служащие люди шли». В ее стихах есть какое-то правдивое ощущение Божьего присутствия, которое у нее предстает как надежда, как мечта:

Так для чего же нам записаны в сердцах
Слова об огненной летящей колеснице?
Иль этот сад, который только снится, —
И есть любовь, что побеждает страх?
(1981–1983) (ЛПП, с. 576)

Елене Пудовкиной, как и нам всем, иногда кажется, что сад не существует, нет будущего, а впереди — «мертвый лес», «гора костей, разбитая телега». Зачем же тогда все старания: зачем прекрасные слова поэтов о будущем того света? Поэт не отвечает на этот вопрос. Он его задает. И все-таки стихи Елены Пудовкиной — стихи надежды, любви, понимания и спасения. В «Лицах петербургской поэзии» тема сада звучит по-разному. У Людмилы Зубовой Летний сад — это сад, в котором нарисован сон двух стариков на скамейке, сцена, по своему замыслу и решению напоминающая одно из полотен Рембрандта. Здесь говорю о буквальном, то есть изобразительном, сходстве. Я не знаю, почему Л. Зубовой отобраны для сборника только эти стихи и составляет ли тема старости и деревни наиболее существенную для автора, но стихотворение «В большом унынии зашла я в Летний сад...» безусловно удачно. Из стихов Сергея Стратановского выделяется своим драматизмом «Поездка к брату в психбольницу». У него же стоит прочесть «Исаак против Авраама», по-современному прозвучавшее в финальной обиде сына на отца. Возможно, составитель книги желал, чтобы читатель смог почувствовать переключку поэтов друг с другом, их творческий диалог. Во всяком случае, ему это, вольно или невольно, удалось. Среди образов и тем, проходящих через стихи разных поэтов, — библейский образ Иакова, мифологема сада, свечи, звезды, пчелы, винограда. И тема Петербурга, «воображения карта интимная», которую каждый по-своему рисуют в стихах Илья Лапин, Олег Юрьев и Владимир Британишский:

Пушкин и Павловск (Помпея и Пестум) —
разум, изящество и простота.
Над петергофским, над парковым детством —
брызги фонтанов и блеск мастерства.
(ЛПП, с. 471) (В. Британишский)

Лица Александра Кушнера, Глеба Горбовского, Александра Городницкого не нуждаются в представлении читателю. Хотя их творчество здесь, в томе, окружено стихами «второстепенных» поэтов их поколения, от этого они не делаются больше или меньше. Стих Горбовского — горький стих, стих-правда о времени, об отечестве, о себе, это стих-укор, стих-покаяние. Лучшее из всех, пожалуй, «Возвращаясь с грибного пробега...» — стихи-сон об отце, с которым в возрасте мальчика встречается сын. Отец-ребенок спрашивает у взрослого сына во сне, как сложится его судьба:

— Что там в жизни со мною случится?
Ты ведь знаешь... Ответь на вопрос.
Рассказал я ему про аресты,
про увечные пытки войны...
Постоял он — и сдвинулся с места,
и потопал в объятья страны.
А потом обернулся оттуда
и спросил — без раскрытия рта:
— А любить меня в будущем будут?
— Да как всех... Кое-кто... Иногда.

(1997) (ЛПП, с. 478)

Это, по-моему, абсолютно непридуманные, правдивые стихи, сама интонация их — то, что вообще отличает всю лирику Горбовского (я у него не читала плохих стихов, как-то совсем не попадались). Городницкий (они все по алфавиту оказались подряд) — поэт той же честности, искренности стиха. У Городницкого предметом поэзии становится не только личная, автобиографическая тема, но и тема общепетербургская, общероссийская («Герой и автор», «Петровская галерея», «Осень в Бадене»), тема торжества и падения культуры, просвещения, по которому тоскует поэт:

Эпоха просвещения в России, —
На белом фоне крест небесно-синий,
Балтийским ветром полны паруса.
Еще просторны гавани для флота,
На острове Васильевском — болота,
За Волгою не тронуты леса.

(11 апреля 1988, Москва) (ЛПП, с. 480)

Еще один поэт на «Г» по алфавиту — Галина Гампер, и лучшее, вероятно, из стихов, помещенных в томе, «В году в далеком, в месяце счастливом...», звучащее в голосовой переключке со стихотворением Юрия Алексеева «Мы головы не поднимаем...». И у Алексеева, и у Гампер использовано одно и то же сравнение. Г. Гампер: «И за руки держась, как у Шагала, / Взлетели мы, / и звездочка дрожала / Так низко, низко около колен» (ЛПП, с. 501). Ю. Алексеев: «Мы, взявшись за руки с тобою, / Могли б над городом взлететь, / Как на картине у Шагала, / Где праздник жизни навсегда. / И все, чего б ни пожелала / Душа, свершилось бы тогда...» (ЛПП, с. 514). Вероятно, это не случайное совпадение. Здесь для читателя интересно то, как одно и то же сравнение порождает разные тексты (оба достойны похвалы). Есть мнение, что А. С. Кушнеру «повезло», и он стал признанным, «официальным» поэтом, а кому-то «не повезло», и кто-то таким поэтом не стал. Мне кажется, это не совсем честно. Том, изданный Ю. М. Валиевой, не переворачивает представление о стране Поэзии, а лишь восполняет пробелы нашего образования, нашей вынужден-

ной неосведомленности (поэтическое небо просто стало шире, на нем появились новые звезды). И Кушнер с его «Гофманом» оказывается все равно востребованней, ближе странного Виктора Сосноры, например. Всякий поэт странен, необычен как личность, но его образы, его язык должны через что-то связываться с читателем. У Сосноры эта связь слабее, чем у Кушнера, умеющего сказать и о себе, и о времени неслыханно просто:

Что ни век, то век железный.
 Но дымится сад чудесный,
 Блещет тучка; обниму
 Век мой, рок мой на прощанье.
 Время — это испытанье.
 Не завидуй никому.

(ЛПП, с. 485)

Может быть, именно потому, что поэт знал, что «времена не выбирают», время выбрало его и не помешало ему стать тем, кем он стал? Его лирический сад продолжает цвести не потому, что кто-то позаботился для него о «первом классе» поезда жизни... Кушнер умеет видеть важное, но незаметное, «как в сильный микроскоп», — то, «как листва летит к ногам кариатид». У Виктора Сосноры своя метафора, но она слишком индивидуальна, чтобы стать всеобщей. Да и диссонирующая «музыка его стиха» не располагает к тому, чтобы любить его:

Я оставил последнюю пулю себе.
 Расстрелял, да не все. Да и то
 эта пуля, закутанная в серебре, —
 мой металл, мой талант, мой — дите.

(ЛПП, с. 493)

А рядом с Соснорой — стихи Эдуарда Шнейдермана, стихи поэта, объясняющего, почему он уходит от ямбического, от традиционного стиха к верлибру. И несмотря на то, что поэт словно бы сокрушается, что не в силах «потаенное схватить» в стихах, иногда ему удается «оттолкнуть замшелый камень, / снять привычную тщету, / немому лечить стихами, / слепоту и глухоту!» (ЛПП, с. 495). Все-таки, мне кажется, верлибр — это умирание поэзии. И так называемые стихи Арсена Мирзаева, Дарьи Сухой, Аллы Горбуновой демонстрируют такое умирание.

Достоинство, ценность, «стоимость» стиха определяется отзвуком или, говоря пушкинским словом, «отзЫвом». Зачем мы, читатели, идем к стихам? Не за правдой жизни, мы идем за поэзией жизни, то есть за тем, что из этой жизни уводит в реальность искусства. Для того чтобы стихотворение состоялось, нужно, чтобы в нем присутствовало шаманское, звуковое, музыкальное начало, чтобы оно могло околдовывать. Есть это колдовство в сложных стихах Виктора Кривулина, которого многие поэты более младшего поколения воспринимали своим учителем. Есть мысль, талантливость метафоры («консервная банка легенды»), свой взгляд на вещи, даримый и читателю: «Посылка баллады» («Я бы хотел умереть за чтеньем Писанья...»), «минотавр», «пиранези». «минотавр» — это автопортретное стихотворение, где минотавром, то есть быком и получеловеком, полубогом, получудовищем оказывается лирический герой, живущий между небом и морем, между Критом и Америкой, где-то на границе «мира с немиром». Эта граница проходит по горлу поэта, в которое металлом и кинжалом впивается металлическая змейка комбинезона. Эта змейка —

как монета в Аид или в лабиринт минотавра, как связующее начало с миром морской воды, с миром поэзии. Вероятно, стихи Кривулина об итальянском художнике Пиранези, рисовавшем древние римские развалины и тюрьмы, — это стихи и о себе, о подневольности творческого труда и о (мнимой?) свободе, которую обретает художник (слова в том числе). И рядом — стихи Леонида Аронзона, проникнутые любовью к стрекозам, к природе. У Аронзона из опубликованных в подборке лучшие: «Дюны в июне, в июле...», «Послание в лечебницу». Как и стихи Елены Шварц, стих Аронзона полиметричен. Если говорить об особенностях поэтики, у него есть свои метафорические, образные открытия, умение посмотреть на предмет под нестандартным углом, а еще игра со звуковым образом слова (цветы — святым):

Но все вершится в тишине:
пейзаж — купание коней,
где церковь поднята холмом,
так полдень лета невесом,
что медоносные цветы
все схожи с ликами святых.
Но нету сил, как ты ни юн.
Проникнуть в полдень этих струн.

(ЛПП, с. 668)

Наверное, главное, Аронзон умел видеть природу, и то, что над ней или внутри нее, и себя внутри этой природы.

Из стихов, бередящих душу темой детства, отмечу «Мое детство — стеклянный зверинец...» Г. Гампер, «Родительский день» Полины Барсковой, «Немногорадостный праздник, зато многолюдный...» Виктора Кривулина. Среди стихов о поэзии выделяются стихотворения Михаила Яснова «Как начинался русский футуризм.?.», ироническое его же «Москварики и невырики» — и «Ты, убогий мой дар, ты, мой голос негромкий!..» Кривулина, «Птица дактиль» Н. Голя. Широтой распева, широким размахом стиха отличается лирика Бориса Куприянова, трудно читаемая из-за той же широты. Не могу не похвалить стихи В. Бетаки («Вариации»), Петра Брандта («Мы не пьем вина...», «Пчелы»), Б. Ванталова (Б. Констриктора) («Брат облаков, камней и мотыльков...»), Елены Дунаевской («Я знаю, что Цербер окажется крошечным псом...»), Елены Игнатовой («Едва ли не сначала сентября...»), Бориса Лихтенфельда («Экскурсия»), Олега Охупкина («Гесперида», «Тишина»), Константина Кузьминского («Мы идем к женщине...»), А. Горнона («Тройка»), О. Юрьева («В рай впускают только птиц...»). Не удалось сказать обо всем, что заслуживает упоминания, но можно прочесть стихи, вернуться к этому огромному, весомому, всем нужному тому — «Лица петербургской поэзии»: скольких талантливых поэтов и прекрасных стихов мы бы не знали, если бы не блестящая идея собрать все это в единое целое. Книга, изданная в Петербурге, позволяет увидеть петербургскую поэзию второй половины XX века в ее истории, в ЛИЦАХ. Невольно возникает аналогия с началом XX века, который принято именовать Серебряным. Какое слово придумают когда-нибудь для этой поэзии эпохи кочегарок? Поэзия чугунного века?

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

(о поэтическом альманахе «Связь времен»)

Согласитесь: поэзия в наши дни гораздо более интересна, разнообразна и талантлива, чем проза. От прозы как-то и не ждешь ничего, зато поэзия нет-нет да и приготовит для тебя какой-нибудь сюрприз... Стихи, как всегда в России, первыми говорят о том, что что-то изменилось, что поменялась эпоха. С удивлением обнаруживаю на сайте известного радио в комментариях к выступлениям популярных журналистов и общественных деятелей стихотворные строчки и целые поэмы. Народ начал давать оценки явлениям, говорить о своих общественных взглядах — стихами. Не с легкой ли руки «Гражданина Поэта»? Об оживлении на поле Поэзии можно судить и по появившейся в этом году на канале «Культура» передаче «Вслух. Стихи про себя». Блестяще направляемая Александром Гавриловым, она осуществляет связь поэтических поколений; ту же задачу выполняет сборник поэзии, выходящий в Сан-Хосе. С одним принципиальным добавлением. Сборник этот к тому же способствует *восстановлению связей* между литературой России и российской диаспоры, раскиданной ныне по всему свету. О нем и пойдет у нас речь.

Передо мной лежит третий выпуск альманаха «Связь времен». Издатель и редактор — поэтесса Раиса Резник. Автор причудливого рисунка на глянцевой белой обложке — поэт и дизайнер Елена Гутман. До того в Америке в течение тридцати лет выходил поэтический ежегодник «Встречи» (вначале «Перекрестки», 1977–2007). Хорошо, что затея не прервалась, получила второе рождение, переместившись с восточного берега, из Филадельфии, на берега Тихого океана, в Калифорнию; хорошо и то, что поэтесса Валентина Синкевич, зачинатель и бессменный издатель «Встреч», активно участвует в ежегоднике — и как член редколлегии, и как автор. Помогает изданию и такой ас издательского дела в Америке, как Игорь Михалевич-Каплан, чей литературно-художественный альманах «Побережье» (Филадельфия) в этом году отмечает свое двадцатилетие.

В сборнике представлены 87 авторов из разных стран: Америки, России, Германии, Израиля, Украины, Бразилии, Франции, Швеции, Люксембурга... Многие из них уже знакомы читателю по двум предыдущим выпускам. Как старых знакомых встретила я на страницах сборника Николая Голя и Виктора Голкова, Ирину Машинскую и Татьяну Аист. Отметила появление в альманахе бостонца Александра Габриэля, жительницы Нью-Йорка Ирины Акс, сыктывкарца Андрея Попова, москвича Бориса Лукина. Вообще в этом году гостями ежегодника стала целая группа москвичей: Андрей Василевский, Павел Крючков, Андрей Новиков-Ланской. «На новенького» участвуют в альманахе маститые Светлана Кекова, Бахыт Кенжеев, Дмитрий Бобышев. Не могу не отметить и гостью из Перми, удивительную Нину Горланову, с ее крошечным откликом на письма Юрия Иваска.

В «сведениях об авторах» значит, что часть поэтов-участников имеет техническое или естественнонаучное образование, беру имена навскидку: Валерий Пайков — врач, Зоя Полевая — авиаинженер, Виктор Фет — биолог, Инна Харченко — инженер-экономист. Могу предположить, что поэты-эмигранты зарабатывают себе на жизнь далеко не поэзией и не «филологией», а чем-то весьма далеким от русского

языка и литературы... Но вот поди ж ты, в биографических справках на первом месте стоит слово «поэт», что доказывает, что поэзия даже в эмиграции существует — «и не в зуб ногой», а биологи, химики, врачи на самом-то деле — «замаскировавшиеся» поэты.

О биче современности — потере эмоций, исчезновении любовной лирики — писалось неоднократно. В этом сборнике любовная лирика присутствует.

Начну с женщин. Рина Левинзон. Одна из лучших стихотворных подборок — ее. Израильская поэтесса пишет о любви-потере, преодоленной силой поэзии:

Снова вместе — судьбе неподвластны,
лишь бы лунная речка текла.
И не важно совсем, и не ясно —
ты ли жив, или я умерла.
(Памяти Александра Воловика)

О том же поэтесса из Нью-Йорка, бывшая москвичка, Елена Литинская:

Бреду вдоль берега. Волна
игриво дразнит. Вспоминаю
прогулки в том далеком мае.
Своею волею Даная
в минувшее заточена.
(Рассвет)

У Марии Войтиковой из Назарета в стихах — благодарность городу, свидетелю любовной драмы:

Город в душу не влезал,
Знал, что выжжена.
Никому не рассказал,
Как я выжила.
(Этот город стал моим)

О счастливой любви, воспользовавшись метафорой Шагала, пишет филладельфеец Георгий Садхин:

День на земле спешит за горизонт,
но не для нас — парящих.
(Ломись дугой, упругий небосвод)

А для Рудольфа Фурмана из Нью-Йорка осень — сродни женщине, и как иначе можно назвать эти стихи, если не любовным признанием?

Прощание будет у нас молчаливым,
без слов я скажу, что всегда был счастливым,
когда приходила она
в мой город, где с каждым ее появлением
стихами я жил, и ее вдохновеньем,
и грустью, что черпал до дна.
(Последняя осень)

Любовь к детям, любованье ребенком, страх за дитя, загадка детства... В прошлом выпуске таких стихов не было, сейчас есть. И первое слово опять израильтянке Рине Левинзон, чье моление напоминает о вечном материнском страхе — за мальчика, воина.

О, Боже, не испытывай меня!
Я не боюсь ни ветра, ни огня,
Ни слова и ни горестного знака...
Но так же, как спасал Ты Исаака,

Как нож отвел Ты от груди его,
Так защити и сына моего.

Поэтесса из Лос-Анджелеса Марина Генчихмахер стихи, эссе, проиллюстрированные ею самой детские сказки посвящает «нежным ангелам с радостными глазами». Один из этих ангелов внучка поэта — Итаночка. Родился ребенок — остается только радоваться, что «в веках заблудилась Кассандра», верить в завтра и стараться — в этом все матери-бабушки одинаковы — «собой заслонить сквозняки / И окно, за которым не видно не зги».

Бывшая бакиннка, ныне жительница Нью-Йорка Лиана Алавердова. В угловатых неровных строчках, обращенных к подруге, некой «смятенной душе», мне слышится что-то матерински жгучее, пропетое с восточной интонацией любви-восхищения:

у тебя челка словно у пони
прохладны узкие твои ладони
волосы у тебя в узких колечках
девочка моя мое сердечко.

(С. Д.)

Удивила и порадовала Марина Гарбер — своим прорывом к новой теме, связанной с детством, а еще — иной манерой, где больше простоты и простора для мысли. В этих стихах отчетливо прослеживается дрейф от привычной метрики в сторону дольника:

И вправду рифмуется, косвенно или прямо:
Ребенок/теленочек, мужчина/женщина, больной/здравый,
Как ни затыкай уши, отчетливо: я/мама,
И одиночка тоже ведь — чей-то сын и, видимо, добрый малый.

(Рифма)

Мужчины пишут не о детях — о войне. Но на войне убивают и «мальчиков». Когда-то у Высоцкого «ребятишкам хотелось под танки», у израильтянина Евгения Минина «наши мальчишки лезут один за другим под прицел». Заставило меня задуматься стихотворение этого же автора «Интифада». Поэт-очкарик, вынужденный защищать себя и свой дом, закликает юнца, нацелившего в него камень:

Мальчик,
опомнись!
Пока что не брошен
камень...
И пуля еще не в стволе!

Камень и пуля... равноценно ли оружие? Подумалось о разгонах демонстраций, когда против демонстрантов действуют войска... Впрочем, ситуация в Израиле отличается от этих разгонов; наверное, здесь меня подводят «ассоциации».

Не иссякает еще одна тема — памяти, ностальгии. Повороты у этой темы весьма разнообразны. Вот однофамилица издателя, бывшая ленинградка, ныне жительница Колорадо Наталья Резник пишет о своих возвращениях из России в Штаты:

...Я все равно упорно приезжаю
С той родины, которой не нужна.
Меня встречает странная, чужая,
Понятная, привычная страна.

Америка — *странная и гужая* — стала, однако, «понятной и привычной», стала «домом». Открытым остается вопрос, нужны ли уехавшие покинутой ими родине. Сейчас мне все чаще кажется, что базаровская предсмертная антиномия «я нужен России... Нет, видно, не нужен» томила и самого Тургенева, разделившего судьбу эмигранта. Русскоязычные поэты эмиграции каждый сам для себя решают этот жгучий для всех нас вопрос. Что до Базарова, то история показывает, что ниспровергатель-революционер оказывается в России ко двору во все времена.

Поэт из Германии Гея Коган, размышляя на ту же «ностальгическую» тему, пишет:

Мы, конечно, вернемся, но только не к точке отсчета.
Так же пахнет асфальт. Так же дождь вырастает стеной.
Но приснившийся день помаячил недолго у входа,
потому что «назад» не всегда означает «домой».

(*Последние эмигрантские стихи*)

А ведь и правда: можно ли вернуться в детство или юность? Можно ли дважды войти в ту же реку? Можно ли снова попасть в тот *день* или тот *дом*, который остался в памяти и видится в снах?

Ностальгия проявляется и в форме мучительной рефлексии, как у поэта, живущего во Франции, бывшего москвича Виталия Амурского:

Зачем я появился где-то там,
И тут за мной, подчас невыносимы,
Бегут вдали, как тени, по пятам
Отечества озябшие осины?

(*Блики, посвящено Владимиру Сыгеву*)

В подборке Виталия Амурского есть две интересные исторические зарисовки — «Кронштадтская плясовая» и «1939-й» — попытка воссоздать атмосферу не столь далеких от нас событий времен революции и сталинщины.

В историческом жанре работает живущая на Украине поэтесса Людмила Некрасовская.

Ее стихи хочется назвать историческими «думами». Когда-то что-то похожее сочинял Рылеев. В стихотворных балладах «Мать и сын» (о княгине Ольге и Святославе), «Гетман» (о Богдане Хмельницком) слова *Россия, Киев, Украина* родственны, а не чужеродны друг другу, что отрадно и, как кажется, больше соответствуют *правде истории*, чем модный сейчас на Украине антироссийский взгляд.

Открыла для себя поэта из Виргинии — Виктора Фета. В сравнении со стихами однофамильца, Афанасия Фета, стихи Виктора — другой полюс; далекие от лирики,

они явственно написаны ученым и мыслителем, но с какой легкостью и изяществом! Приведу полностью стихотворение «Энцелад». Скажу для не знающих астрофизики, что Энцелад — спутник Сатурна, на котором, по мнению ученых, возможна жизнь.

Как жизнь литературна
бывает иногда:
меж кольцами Сатурна —
соленая вода!
В кромешной тьме Вселенной
открылись берега,
где хлещет звездной пеной
поморская шуга.

И более не надо
ни меда, ни вина:
фонтаном Энцелада
душа опьянена.

«Связь времен», кроме современной поэзии, представляют и литературное наследие, и поэтические переводы, и литературоведческие штудии.

Великолепны подборки Дона Аминадо (публикатор Владимир Батшев, Германия) и Владислава Ходасевича, причем за стихами автора «Тяжелой лиры» следует содержательное интервью литературоведа Елены Елагиной и писателя Валерия Шубинского, создавшего к 125-летию Ходасевича его первую (!) биографию.

В этом году особым вниманием альманах почтил поэтессу и эссеиста, представительницу второй волны русской эмиграции Валентину Алексеевну Синкевич, в минувшем сентябре отметившую свое 85-летие. В сборнике помещена подборка стихов Валентины Синкевич, интервью с ней, рецензия Павла Крючкова на ее книгу «Мои встречи: русская литература Америки», а также два эссе самой поэтессы, посвященные коллегам-поэтам — Евгению Евтушенко и Игорю Михалевичу-Каплану.

Валентина Синкевич присутствует и в разделе «Изобразительное искусство» — своим портретом, написанным художником Владимиром Шаталовым, многолетним другом поэтессы. Три воспроизведенных в ежегоднике работы Шаталова (портрет Валентины Синкевич, портрет Гоголя и портрет неизвестного) говорят о незаурядном таланте этого мастера, чьи картины до сих пор не собраны и не известны на родине.

В разделе «поэтических переводов» хочу отметить работу Игоря Померанцева; его перевод с немецкого чудом выжившей в Освенциме Тамар Радцинер (1932–1991) показался мне удивительным — смесь кафианского содержания с детской простотой и безыскусностью выражения. Вот отрывок из небольшого стихотворения «Было»:

Дама разрыдалась,
Потому что разбилась
Ее детская чашка.
Какая жалось, —
сказала я. —
Какая жалость.
...
Дама вздохнула:
Мы тоже, бывало, голодали,
И не в чем было пойти в театр...

Ничего не поделаешь,
была война, —
сказала я. —
Война.

Когда меня спрашивают,
что же это было,
я не знаю, что ответить.

В разделе «Литературоведение» не могу не выделить петербуржца Валерия Черешню с отрывками из книги «Вид из себя». В принципе это, конечно же, не литературоведение, а своеобразный прозаический жанр маленьких эссе, начавшийся еще с «Опавших листьев» Розанова и продолженный Юрием Олешей («Ни дня без строчки»), Булгаковым («Записки на манжетах»); из нашей братии эмигрантов назову таких последователей этого жанра, как нью-йоркский художник и замечательный эссеист Сергей Голлербах («Свет прямой и отраженный») и религиозный философ парижанин Николай Боков («Фрагментарий»).

Напротив всех высказываний Валерия Черешни, кроме одного, я поставила восклицательное: «О да!» Приведу несколько отрывков из его «максим»:

Самая гремучая смесь в человеке — глупость с претензиями.

* * *

Фраза с ужимкой. Родоначалник, несомненно, Гоголь...

* * *

Рембрандтовские старики — оправдание нашей жизни. Если можно обрести такой взгляд и такое лицо — жизнь небезнадежна, в ней есть какой-то смысл, пусть невыразимый.

Против последнего высказывания написала: «О да! Три раза». Одна из «максим» писателя вызвала у меня недоумение. И как вы думаете, кого она касается? Пушкина. Конечно, Пушкина. Приведу только конец высказывания: «...ведь умудрялись и у Пушкина вычленили гражданские мотивы». Тут я замираю и съеживаюсь: ибо еще со школьных лет полагаю, что такие стихи, как «К Чаадаеву», «Вольность», «Деревня», «В Сибирь», выражают гражданские взгляды Пушкина. Или ныне это «устарелый взгляд?»

Как приятно заканчивать Пушкиным! С большим удовольствием прочитала в том же разделе «Литературоведение» три симпатичные «штудии» петербуржца, поэта и переводчика Николая Голя, обозначенные как «Три пушкиноведческих мифа». Первая — «Столп» — о пушкинской строчке насчет «Александрийского столпа». Имел ли в виду Пушкин Александровскую колонну, когда писал о своем Памятнике: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа»? Автор считает, что не имел. Возможно, не буду спорить.

Интересно толкование последней предсмертной реплики Пушкина в миниатюре «Шкаф». Голь считает, что слова «Прощайте, друзья!» были обращены умирающим не к шкафу с книгами, а к реальным друзьям, ожидавшим прощания с поэтом в коридоре. И опять скажу: возможная и вполне достоверная гипотеза.

Не соглашусь только с третьим предположением, высказанным в миниатюре «Шалопай». Прощальные слова Пушкина к жене: «Носи траур по мне в течение двух лет, потом выйди замуж, но только не за шалопая» — автор трактует так: Пушкин не хотел, чтобы Наталья Николаевна в будущем вступила в брак с ненавистным ему

Дантесом. И это при том, что ко времени дуэли Дантес был уже женат на сестре жены Пушкина, Екатерине Гончаровой.

К тому же в свете найденных Сереной Витале писем Дантеса к Екатерине оказывается, что брак их был вполне серьезным, «невеста» ждала ребенка от «шалопая», и семья — в том числе и Пушкин — об этом знала. Не вернее ли предположить, что слово «шалопай» употреблено было Пушкиным в абстрактном смысле — как обозначение легковесного безответственного повесы, возможного будущего претендента на руку «молодой» и «неопытной» Натальи Николаевны?!

В конце принято писать о недостатках. Но я этого делать не буду. Вполне представляю, каким трудом достается поэту и начинающему издателю Раисе Резник выпуск каждой книжки ежегодника. Знаю, как внимательно она следит за появлением новых имен, как поддерживает старые связи, как, преодолевая инерцию коллег и безденежье (а спонсоров у издания нет!), наперекор обстоятельствам собирает, а затем и выпускает очередной поэтический сборник. Дай Бог, Раиса, чтобы не последний!

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ЗАЗУБРЕННЫЕ ДУШИ

Яранцев В. Н. Зазубрин. Человек, который написал «Щепку». Повесть-исследование из времен, не столь отдаленных. — Новосибирск: РИЦ НПО Союза писателей России, 2012. — 752 с.

Глядя на год смерти советского писателя Владимира Зазубрина (1895–1937), невозможно отделаться от мысли, что все те люди, на чьих могилах выбиты такие же цифры, ушли из жизни одинаково, то есть получив пулю в затылок. Другой смерти в тот год быть попросту не могло, хотя и звучит это абсурдно. Удивительно, но оглядываясь назад, в то страшное время, понимаешь, что с самого рождения великое множество талантливых и прекрасных людей было обречено потонуть в роковом тридцать седьмом. Стоило ли ради этого вообще жить? И не ждет ли нас, сегодняшних радостных и беспечных, в обозримом будущем нечто подобное? Впрочем, задумываться об этом бессмысленно, ибо никто не убедит нас в том, что может быть что-либо важнее насущных проблем.

Так же когда-то думал и Владимир Зазубрин (настоящая фамилия Зубцов). Он запросто отмахивался от грозных предчувствий, предпочитая заниматься тем, для чего был создан, — литературой. И поступал совершенно правильно, ибо, возможно, только искусство способно оправдать человека перед лицом Вечности.

Зазубрин вошел в литературу громко — романом «Два мира» (1921) и сразу же обозначил главную тему своих штудий, которая красной нитью прошла через всю его жизнь. Тему чудовищной ломки, проникающей абсолютно во все аспекты тогдашнего бытия. Война подходила к концу. Память о человеческой жестокости, доходящей на войне до своего апогея, была не то что свежа — она кровоточила и агонизировала. На этом фоне история о рефлектирующем белом офицере не могла не впиваться в воображение читателей. Догадывались ли они о том, что ломка старого уклада и старого сознания присутствует отнюдь не только в романе, но и в душе его автора?

Все душевные зазубрины создателя первого советского романа отлично просмат-

риваются при чтении книги В. Н. Яранцева, который для ее написания перелопатил столько материала, что (при более скупом подходе к его организации) этого с лихвой хватило бы и на дюжину книг. Книга Яранцева поражает своим объемом и дошностью — в хорошем смысле слова. Трудно представить, что на голом энтузиазме (об этом говорит мизерный тираж книги и отсутствие необходимой редактуры) можно создать такой впечатляющий труд. При этом биографические пассажи в книге почти отсутствуют, не считая основных дат жизни и творчества, помещенных в конце. Почти весь текст посвящен разбору литературных произведений (и не только Зазубрина). Его многочисленные коллеги, в основном по журналу «Сибирские огни», также стали героями книги. Взаимосвязь их публикаций, их публицистики и беллетристики, показана здесь именно в той мере, которая была необходима автору, чтобы отразить уже упомянутую ломку миров в перенасыщенном сюжетами тексте. Многие фамилии соратников Зазубрина сегодня уже забыты, но тем интереснее читать об этих людях. Правдухин, Сейфуллина, Итин, Герасимов, Скуратов, Коптелов, Дубняк, Караваева, Каргополов, Пильняк — список может быть сколь угодно долгим. И за каждым именем своя небольшая история, пусть и обозначенная только пунктиром.

Яранцев рассказывает не столько о людях, сколько об их литературном труде. Более всего его интересует становление сибирской литературы. С упорством школяра он сравнивает те или иные повести, рассказы, романы. В каждой анализируемой им странице видны человеческая боль и та самая ломка — иначе и быть не может, учитывая время и место создания этих произведений.

Как документ эпохи книга Яранцева весьма познавательна. Ее вполне можно было бы назвать энциклопедией литературной Сибири 20-х. Тому есть причины. Например, анализируя тексты Зазубрина, Яранцев всегда приводит вымаранные советской цензурой куски. В другом месте он пытается реконструировать мысли своего героя, то есть с некоторой долей самоуверенности превращает Зазубрина из объекта исследования в подвластного его воле персонажа. Выглядит это так: «Обо всем этом думал, наверное, вспоминая текущие литературные дела, Зазубрин ранним утром апреля, спеша на работу в редакцию. Литературные дела, главным образом, произведения и тексты, конечно, занимали все его сознание. Он ведь к этому стремился, для этого жил. Для этого перенес месяцы и годы сызранской тюрьмы, опыт двойной жизни в жандармской охранке — разве не для этого, не для литературы? Пусть попробует кто-нибудь сказать, что это не так! Так скажут только те в Питере, кто дал такой скверный подзаголовок местному переизданию «Двух миров» — «Исповедь белого офицера». Да не исповедь это и не белого офицера, которым **внутренне** (выделено автором. — В. Г.) никогда не был. Для литературы, для будущих поколений — был. И только! Канская жизнь — семья, партербота, газетные заработки — все это как-то отяжелило, приземлило. Но здесь, в Новониколаевске, все это легло на обе чаши весов: семья, заработок, жилье — на одной, и литература на другой, главной».

Под занавес Яранцев приводит коротенький рассказ Зазубрина, датированный 1926 годом, который, возможно, является наброском для ненаписанного романа. Рассказ называется «Черная молния». Здесь тоже присутствует ломка, но уже на другом уровне. Позднее на эту тему напишут многие писатели, и не только отечественные, — от Хемингуэя до Чингиза Айтматова. Рассказ о чернобородом охотнике, который нарушает гармонию природы, похож на эстафетную палочку, передаваемую Зазубриным следующим поколениям литераторов. Рассказ очень поэтичен. Натурализма, которым отличались «Два мира» и «Щепка», нет. Но тень чего-то неминуемо печального лишает рассказ и оптимизма.

Лучше всего читать книгу Яранцева, прочтя перед этим что-то из Зазубрина. Свою интерпретацию произведений бескомпромиссного сибиряка наверняка будет любо-

пытно сравнить с выводами автора книги. Как бы там ни было, бесценная информация Яранцевым зафиксирована, остается только ее переварить. «Зазубрин» не самая легкая пища, даже для интеллектуалов, и тем не менее он стоит того, чтобы его имя и судьба никогда не стирались из нашей памяти.

Виталий ГРУШКО

ПОШЛА ПИСАТЬ ГУБЕРНИЯ

А. Ахматов. Воздушные коридоры : Стихотворения. — СПб.: Береста, 2011. — 100 с.

«Через призму поэтического градостроительства в метафизически звучных и зримых образах просматривается невымышленная судьба и настоящая жизнь личности», — читаю в аннотации. Открываю, листаю: «Где лезвия осок / Диск солнца наточил, / Парит речной песок / И подсыхает ил. <...> И жука головой / Бодает гладь воды, / И комаров конвой / Преследует, как дым. <...> Травы линиялый шелк, / Тельняшки тучных пчел. / И кое-что еще, / Чего я не учел». А ведь совсем недурственно — стихи, ей-ей, стихи. И «лезвия осок» — ненавязчивая переключка с Лоркой («кинжалы тревовых лилий...»); а «конвой комаров», «травы линиялый шелк» и «тельняшки пчел» действительно — и звучно, и зримо. Но при чем тут градостроительство, хотя бы и поэтическое? Читаю сборник, но нигде никакой стройки не нахожу. А нахожу вот что: «Когда все вызывает рвоту, / Когда, как сонная змея, / Твоя страна вполоборота / Смотрит недобро на тебя, // Знай — ремесло земное выжить / Важней искусства падать вниз. / Не паникуй, как Боря Рыжий, / Как Башлычев, не суетись». Поэт Боря Рыжий (кто не знает) повесился в Екатеринбурге на 27-м году жизни, а рок-звезда Башлычев (как известно) выбросился в Санкт-Петербурге из окна, немного пережив свое 27-летие. Ничего себе — «паника»!.. Хорошенькая — да? — «суета»!.. От такой суеты, от такой паники сердце щемит, мысли горькие в голову лезут, споришь сам с собой и с автором, встаешь перед вечным вопросом: а важнее ли?.. В этих строчках — и правда! — «просматривается невымышленная судьба». Только... При чем тут, скажите на милость, «метафизические образы»!.. Ох уж этот Аристотель, вот уж замутил, так замутил!

Энциклопедия мудрости

Вот так: просто — «Энциклопедия мудрости», и никаких тебе реквизитов. Что ж, и мы с усами — построим домик сами. Перво-наперво ищем издателя. Ага, вот он! «РООССА»! В конце 816-страничного фолианта «Энциклопедии...» мы обнаруживаем, что «компания РООССА имеет филиалы...» — представляете! — аж в восьмидесяти пяти городах России, десяти городах Украины, четырех городах Казахстана и трех городах Беларуси. Все они перечислены в алфавитном порядке, кроме, разумеется, Москвы и почему-то Санкт-Петербурга. Солидная компания. Итак, мы знаем название книги, мы нашли ее издателя и определились с количеством печатных страниц — дело за малым: выяснить, где и когда «компания РООССА» ошастливила нас таким — без иронии — царским томом, усердно украшенным сусально-золоченой вязью на бережно тисненной картонной обложке. При том — вы не поверите! — томом баснословно дешевым, всего-то — триста рублей и ни копейки боле. Так «где», в какой «москве» и «когда», в каком году родилась эта бесценная, почти что

даром обогатившая наши унылые умы «Энциклопедия мудрости». Увы, эти сведения, равно как и тираж издания, не тайна разве что для ФСБ. И — увы и ах! — выходит, домик мы не построили, разве что полстенки в срубке... Что же до содержания этого издания — надо признать: создатели его поработали на славу. Они, засучив рукава, взяли и собрали разноликие афоризмы, начиная с незапамятных времен и кончая XX веком. Каждого идентифицированного автора, от Гесиода до Эйнштейна, они преподнесли нам в хронологической последовательности и с биографической аннотацией, и — верно — без Википедии тут не обошлось. Пуще того: излишней скромностью горластый рекламный бог создателей «Энциклопедии...» не обидел; свое творение они проафишировали кратко, но до печенок емко: «Этот замечательный сборник афоризмов воистину является сокровищницей человеческой мудрости». Спасибо, конечно, за подарок, только любопытно: что же помешало издать эту сокровищницу по-человечески, не опошляя ее ни сусальной обложкой, ни крикливым названием? Неужто — базар?

В. Царева. Белобокая зима: Стихи. — СПб.: АураИнфо, 2011. — 88 с.

Сборник стихов «Белобокая зима» хорош тем, что на нем можно запросто отвести душу. Скажем, вы в безутешно невыносимом миноре: и небо в овчинку, и жизнь — помело, «и скучно, и грустно, и некому...» — бей ее, эту «Белобокою зиму», пинай, круши ее, благо повод на каждой странице. Вот отрывок из поэмы «По щучьему велению», написанной в 2000 году. В этом отрывке автор гуляет по Петербургу и являет собой того ненца (или ненку), который/ая «что вижу, то и пишу»: «Театры, музеи, витрины... / Что ж, Невский, и правда, хорош! / А памятник «Екатерины...» / на «Тысячелетья...» похож. / Слова у домов на макушках — / «Дом Книги», «Гостиный...» «Пассаж»... / Художник в берете «на ушко» — / малюет с натуры пейзаж. <...> В Казанском — музей атеизма, — / сегодня закрыт он, а жаль! / Плакаты «Вперед к коммунизму!» / цепляют глаза горожан». Ну что, вам полегчало? Вижу, вижу подобие улыбки на вашей смурной физиономии. А как иначе! Тут ведь что ни слово, что ни строчка, все — реальная правда жизни, все — возвращение «в город, знакомый до слез»! Кроме разве что «Вперед к коммунизму!»: в 2000 году, глаза горожан цепляли совсем другие плакаты. Ну, и еще, скажем прямо, поэзией тут, «как ни крутите, ни вертите», совсем не пахнет. Так оно и славно! Оно как раз и есть то самое, что лечит ваш треклятый минор. И упаси вас бог прочитать (в вашем-то состоянии духа) такое: «Мои глаза — на мокром месте, / порой не укротить никак, / а вот рука — то капельмейстер, / то разувесистый кулак. // Душа мучительно училась / с другой душою говорить, / и хоть судьба — Господня милость, — / нет искушенья повторить...» Нет, эти строчки — не про вас. Они для тех, кто кувыркается в хмельном мажоре. Прочли и, глядишь, протрезвели.

Т. Забозлаева. Символика цвета. — Издание 2-е, переработанное и дополненное. — СПб.: Невский ракурс, 2011. — 176 с.

Так уж вышло: читаю «Символику цвета», а тем временем по телевизору показывают Москву, огромную толпу, какую-то трибуну, а на ней — тучный, брызжущий слюной оратор. И слышу фразу (цитирую по памяти, потому — без кавычек): оранжевый цвет — это цвет собачьей мочи на снегу, на Болотной. Надо же, — думаю, — какой поэт. Кто ж такой? Ба! — да это же известный телешоу-публицист А. Проханов: в 80-е — залиvistый соловей афганской войны, ставшей зримой эмблемой краха СССР, а нынче — безутешный плакальщик по случаю того самого краха... Выключил поэта, вернулся к книге Татьяны Забозлаевой, и она «едним махом победяхом»

дурнопахнущее прохановское цветовидение. В памяти всплыло давно забытое «оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд...», и краски обрели свое пестрое необъятное разноцветье, свое вечное таинство и истинное предназначение — дарить нам радость, печаль и надежду. Кстати, о надежде. Кто из нас, живущих ныне, знает, что черный цвет, цвет траурных повязок и чиновничьих одежд и авто — давнишний символ чаемых перемен, символ веры в воплощение дерзких и чистых надежд? Быть может, помни мы об этом, глядишь, и жизнь вокруг была бы посветлей. И подобных открытий в этой «цветной» книге — на каждой странице. Вот только... Если бы издатель «Символики цвета» не поспешил на редактора и если бы, например, цитата из А. К. Толстого — «Верь мне, доктор, кроме шуток (у А. К. кроме шутки. — Б. Д.), / Говорил раз пономарь: / От крутых яиц (у А. К. «яиц крутых». — Б. Д.) в желудке / Образуется янтарь» — прозвучала в первоизданном виде, книга Т. Забозлаевой, очевидно, была бы достойна самых превосходных эпитетов.

Литературно-публицистический журнал «Царскосельская лира», 2012, № 1. Учредитель Г. Каримов. Санкт-Петербург–Пушкин, 2012. — 256 с.

Итак, петербургского литературного полку прибыло: еще один журнал вышел в свет; да какой журнал! — «Отечество нам Царское Село!». Знамо дело, к новорожденному в столь благословенной палестине изданию — отношение особое: доброе, нежное, ласковое. А оно, издание, что приятно, и без «гения места» смотрится вполне пристойно: известные авторы — Г. Гампер, В. Лейкин, А. Ласкин, Н. Савушкина — вполне органично соседствуют с сонмом авторов, мало кому известных. Вот пример: «Раньше дам и застолий поклонники, / Экстремалы, забавники, циники, / А теперь вялобрылые хроники / Населяем угрюмые клиники. // Раньше мед и малина. А ноне мы / Подвергаемся горестной участи / Там, где утка и судно синонимы, / Но отнюдь не по факту плавучести» (В. Лейкин. «Больница»). Здорово, правда? Только — корректор, ау, где вы?!. А вот и ответное «ау» (но вовсе не по части корректора): «Ты прав: ртуть вряд ли уже поднимется выше, / Лишь пепел взметнется с последним плевком лавы, / Мы много болтаем, не в силах друг друга услышать, / Я о душе, ты о теле, и в чем-то мы оба правы» (А. Красногорская. «Ты прав»). Самое крупное (по листажу) произведение «Повесть о моем детстве» принадлежит перу Н. Бельтенева, автора, безусловно прямого и отважного. В эпилоге «Повести...» он пишет: «На моем писательском пути никакие самые суровые приговоры каких бы то ни было сведущих «специалистов», то есть литконсультантов литературно-художественных журналов, никогда не останавливали меня, не отбивали у меня желания водить пером по бумаге...» И «ура» вам, и слава богу, и так держать, — говорим мы и Бельтеневу, и всем авторам новорожденного царскосельского журнала, заканчивая свое благословение четверостишием Н. Савушкиной: «...в серых лентах чепца, / Будто в сплетенье змей... / Жизнь скоро кончится. / Вы играете с ней».

О. Грейт. Ловушка для Адама, или Добро пожаловать в Рай. СПб. : ООО «Издательский Дом ПАРИЖ», 2012. — 224 с.

Вот что написано (среди прочего) об этой книге на четвертой странице обложки: «Не редкость, когда по-настоящему успешные люди в какой-то момент своей жизни чувствуют потребность писать. Редкость, когда, написанное ими, можно назвать настоящей литературой. Перед нами как раз такой случай. Произведения Ольги Грейт — бесспорно литература. Более того — это *новая* (здесь и далее курсив мой. — Б. Д.) литература». Или: «Героиня берется за перевод текста и начинает на практике применять *новые* знания. Вместе с подругой она едет в Японию, Австралию и *Новую*

Зеландию, постепенно осознает все преимущества *новой философии*, расставляет акценты в отношениях с мужчинами *по-новому* и замечает удивительные изменения в своей жизни». Признаюсь, прочитав роман, я был заинтригован отнюдь не обилием всяческой вышеназванной новизны, которая явила себя, скажем прямо, не столько в авторском тексте, сколько в неодолимом желании издателей привлечь к книжке коммерческий интерес. Мой же интерес был вызван совершенно иными обстоятельствами, обозначенными в «Ловушке для Адама»: первое — книга открывается словами: «Моему мужу с любовью и благодарностью посвящается»; второе... Когда-то поэт сказал: «Поэзия, будь на ногу легка, / Чтоб в гости ездили поэт к поэту, / Чтоб разум не сидел у камелька, / А бойко путешествовал по свету». И пусть О. Грейт — прозаик, ее способность (обильно обозначенная в книге) совмещать дальние-дальние странствия с любовью и благодарностью мужу (обозначенными там же) — разве встретишь такое на каждом шагу? Нет, не встретишь.

Земляки. Нижегородский альманах. Выпуск двенадцатый. Сост. А. И. Иудин, О. А. Рябов. — Нижний Новгород: Книги, 2011. — 496 с.

Альманах «Земляки» был уже представлен мною в очень **кратком обзоре одиннадцатого выпуска**. Там, для лапидарности, я цитировал рифмы, здесь же — увы, тоже бегло — публицистика. В рубрике «Писатель и общество» — небольшая статья Олега Рябова «Столичность и провинция». Цитирую из нее: «Девяносто процентов столичных народных артистов — лимитчики, таков же процент лимиты среди заслуженных мастеров спорта, федеральных министров, экономистов, менеджеров высшего звена и так далее. Все таланты в любой области засасываются, точнее, закупаются столицей (читай: Москвой. — Б. Д.). И никакой особой необходимости в этом нет, за редким исключением. Есть один только вред. Потому что все эти таланты покупаются за деньги, а следовательно, есть элемент проституирования». И еще: «Девяносто процентов населения страны зависят от того, сколько денег им дадут из Москвы, чтобы не протянуть ноги. Ведь сколько пожухешь — столько и проживешь! <...> И уже не хочется столицы, чтобы не поскупиться совестью. И предпочитают многие провинциализм, чтобы спастись». Можно, а возможно, и нужно спросить автора: откуда у вас, товарищ Рябов, эти круглые 90 %, из каких источников? И насчет проституирования: что ж, по-вашему, если петербуржец Путин — главный федминистр, а тюменец Собянин — главный российский мэр, то они?.. Не приведи Господи!.. Однако в главном наш автор прав: как жили мы прежде в стране, где столица была метрополией, а прочие земли — колонией, так и живем. И с этой земли, как сказал напечатанный в «Земляках» небезызвестный провинциал Г. Горбовский, «идет, уходит пахарь. / Дай Бог ему всего... / И пролетают птицы / сквозь тень и плоть его».

М. Берколайко. Гомер : Роман. Пьесы / Марк Берколайко. — Воронеж: Издательство им. Е. А. Волховитинова, 2011. — 296 с.

«Гомер» М. Берколайко — роман не о великом Гомере, чье имя знают все, а личность и абрис не знает никто — девять дошедших до нас жизнеописаний автора «Илиады» и «Одиссеи» являются измышлениями древнеримских грамматиков. Гомер М. Берколайко — наш современник. Но... тоже не абы кто — вице-мэр областного центра, города Недогонежа (помните: Москва–Воронеж — не догонишь!). Зовут его Игорь Осипович, в детстве **Го-шка**, **Мер-кушев** — вот и весь секрет столь громкого названия. Хотя нет — не весь. Как верно заметил писатель Валерий Попов: «Роман «Гомер» привлекает прежде всего образом главного героя, выдающегося ученого, настоящего мужчины, который живет и сражается с судьбой, как античный

герой (название романа далеко не случайно)». К сему добавим, что, кроме Гомера, в романе есть и Приам, и Гектор, и Парис, и, конечно же, Елена, и весь этот мифический сонм живет и дышит нынешним нашим смрадом, с которым нещадно борется главный герой. Поле брани — «строительство в Недогонеже мусороперерабатывающего комплекса, да еще крупнейшего в Европе». И как водится в подобного рода сражениях, никуда автору «Гомера» не деться от совсем и всеми позабытой Г. Николаевой, от ее «Битвы в пути» с заменяющим секс производственным эросом: «...она сегодня вдруг поняла, что обязана быть рядом, потому что договор о строительстве комплекса — это мое, неизвестно во имя чего, самоубийство, и она не позволит мне его подписать». Справедливости ради надо сказать, что с сексом в «Гомере» все в порядке, да и интрига с мусором — не более чем сюжетная уловка, которая, по словам другого писателя А. Мелихова «развивается стремительно, вовлекая в такие турбулентности, что отвлекаться не успеваешь, да и не хочется». На том и порешим.

Ю. Бужор. Записки чичероне. — Дюссельдорф, 2010. — 128 с.; Все исполнится. — Киев: Горобец, 2010. — 92 с.

Две выше обозначенные книжки объединены в этой рецензии не столько именем автора и уж тем паче не годом их выхода в свет, но — единством темы, обозначенной как «чичеронство». А «чичероне» — это по-русски хотите — гид, хотите — экскурсовод или проводник, а хотите — ивансусанин, а можно — шерп, — как вам угодно. Но автор любит итальянский. «Все, что по-итальянски, — говорит он, — красиво, даже если на этом языке ругаются». И вот он — чичероне. Он возит людей по разным городам и весям и рассказывает им истории этих весей и городов. Из этих его «чичеронских» рассказов, надо полагать, и родились обе книжки, ничуть не похожие на «посмотрите налево... посмотрите направо...». В этих книжках бал правит отнюдь не заурядный гид, но писатель Бужор, причем писатель, так же умело владеющий пером, как экскурсовод Бужор — своими профессиональными познаниями, о которых он иронично заметил: «Мы, гиды — дилетанты широкого профиля». Кстати, любой современный литератор без зазрения совести мог бы сказать нечто подобное и о своем высоком поприще, так что наш автор — кругом дилетант. Но вот *как и что*, среди прочего, пишет он в книжке «Все исполнится» (глава — «Корабли недосожженные», автобиографическая): «Что, мало ты адреналина нахлебался, когда обледеневшее и заблеванное судно из-за штормов пропускало в новогоднем круизе порт за портом. Сорвалась тогда поездка в Сан-Марино.<...> Потом, правда, был вознагражден бутылкой «Чиваза» емкостью с ведро и денег дали немного. В смысле, немало по тем временам. Ну, и попал в немилость очень скоро, что вызвало злорадный восторг домашних». А вот — в «Записках чичероне», в главе «Сад людей», посвященной великому скульптору Густаву Вигеланду, создателю этого Сада: «В Библии не сказано, скитался неприкаянный Каин или маялся так. Библия не бортовой журнал, чтобы все подряд записывать. И без того понятно, что братоубийца был наказан очень долгой жизнью. Иначе откуда взяться молодой жене. Предыдущая померла. Детишкам давно счет потерял. Старик бодр, жилист, озлоблен, не хочет жить». Нет, такие притчи явно не для ушей досужих экскурсантов.

А. Родионов. Озорные сказки. Сборник веселых и озорных сказок. Второй сборник сказок. — Пенза: Родионов, 2011. — 206 с.

И все же что ни говорите, а свобода слова в нашей стране, измученной перманентным насилием над приватным образом мысли и ее приватным же самовыражением, наконец-то восторжествовала. И не в какой-нибудь столице, а в милой сердцу каждого россиянина глубинке. Какую книжку ни возьми — что смоленскую, что за-

байкальскую, — разношерстные вольнодумцы правду-матку в глаза так и режут, так и режут. И слава им!.. Вот и «Озорные сказки» — не сказки вовсе, а зарифмованное и слегка загримированное под иносказание послание к потомкам, дабы знали, как мы жили, чем и зачем. В книжке А. Родионова десять сказок, и каждая, от стостраничной «Сивки-бурки» до двухстраничной «Анатомии власти», на злобу дня; даже если сюжет какой из них и отстоит во времени, все равно — актуально. Скажем, «Сивка-бурка» — сказка историческая, действие ее разворачивается в средневековой Руси, где и чухонцы, и поляки, и... — да мало ли врагов в округе земли православной: «За окошком черти выли, / В избу нагоняя страх. / От деревни в трех верстах, / В Берендеевом болоте / В час совиный на подлете / Собиралась нечисть в круг, / Брать крещенных на испуг». Но, знамо дело, нашелся Фрол-спаситель (и Сивка — бурка, разумеется), и родина была спасена. А вот — наше время. В сказке «Анатомия власти» оно разрисовано так (цитирую с купюрами): «В одной стране водились Лбы <...> Затылки рядом с ними жили <...> Страной вертели семь Извилин <...> формально правили Чубы / (А среди них — немало рыжих...) <...> Но главной была Задница в стране. / В самом Кремле та Жопа обитала <...> Однажды, пукнув в пьяный коридор, / Случился с пьяной Задницей запор. // И самым главным стало Ухо...» А и верно: озорничать так озорничать. И псу под хвост всякие там нормы приличия и «велик могуче русский языка». Ликуй, народ, сбывлась мечта! «Свобода, б..., свобода, б..., свобода!»

О. Голубева-Сванберг. Время действия (Сага о дилетантах). СПб.: Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2011. — 128 с.

«Не удивляйтесь тому, что будет происходить в книге, жанры — от фарса к кино-сценарию, от киносценария к пьесе, от пьесы к зарисовку и т. д. — меняются в зависимости от настроения героев и событий, с ними происходящих. Наверняка ничего подобного вы раньше не читали. Однако я пребываю в уверенности, что самые мужественные из вас доберутся до конца», — пишет автор в предисловии. Я оказался самым мужественным и обнаружил, что, кроме обозначенных жанров, есть здесь еще и стихи, но не О. Голубевой, а некоего Алексея Ланцева, проживающего в Хельсинки. Обнаружив их, воскликнул про себя: эврика! Нет, правда, зачем нам блоки-мандельштамы, когда друзей-приятелей-поэтов — не хрестоматийных, а своих, до слез знакомых — не впроворот? И решил: дабы не пересказывать сюжет этой многожанровой книги (тем паче что он отнюдь не резок и суров), покажу лучше стихи поэта и авторский к ним комментарий, убивая тем самым сразу двух зайцев: во-первых, стихи — самый краткий и емкий манер передачи информации, а во-вторых, «скажи мне, кто твой друг...» Итак, стихи: «Мне сняться удивительные сны, / Что мы живем на острове Весны. <...> Часы нам — океан: прилив, отлив. И солнце вверх и вниз скользит, как лифт. // Так и живем, блаженствуя, с тобой / В соседстве с небом, временем-водой, // Под пенью птиц, в тропическом раю, / Где сам порой, как птица, я пою. // В любви соединились навсегда: / Ты, остров, небо, звезды, я, вода». Такие вот рифмы. А теперь — комментарий к ним — в форме диалога героинь книги (сразу после стихов): « — Наташа, он талантливый. — Не только талантливый, но и удивительный человек, уникальный как личность, как мужчина...» Будь я не расположен к поэзии, сказал бы нашему автору: отсутствие междометия «ах» (Ах, Наташа...), а также трех — именно трех! — восклицательных знаков после выразительного эпитета «талантливый» и очень сильного существительного «мужчина» — это очевидное стилистическое неряшество, почти разгильдяйство, если, конечно, не случайная небрежность редактора или корректора. Но я расположен к поэзии и потому промолчу.

К. Жуков. История Невского края (с древнейших времен до конца XVIII века). Книга для учителей. — СПб.: Искусство-СПб, 2010. — 368 с.: ил.

Быть может, самый расхожий миф о Петербурге — заупокойная притча о дикой безлюдной земле, утонувшей в топях и болотах, и о жестоком царе-сатрапе, вздыбившем эти пропащие, никому не нужные негодья, а с ними и всю Русь-Россию-матушку. О, как бы славно она жила, страна наша, не будь ни этого царя, ни этого города, — стенают и ныне московские любители старины, оплакивая великую державу, ни за понюшку табаку сложившую голову в «миазмах чухонских болот» (см: телеканал «Культура», 04.04.2012; 21.25)... Вот об этих «миазмах» и написал книгу историк Константин Жуков, книгу, в которой бал правит не раж мифотворчества, но «Его величество факт», по имени Документ. «По подсчетам петербургского специалиста по истории градостроительства С. В. Семенцова, на территории современного Петербурга в XV веке располагалось уже 250 населенных пунктов! Эти данные получены в результате анализа писцовых книг конца XV — начала XVI века, в которые вносились сведения о землях, их владельцах и населении». В те годы Невский край — новгородская вотчина. А вот — век XVII. С 1617 года до взятия Петром I города Ниена и крепости Ниеншанц в 1703-м Ижорская земля — под шведами. Предъявив документы шведского владычества и сравнив их с московскими XV — начала XVI века, К. Жуков констатирует: «В сущности, для Швеции Ижорская земля в XVII веке была такой же колонией, как и для Московии веком ранее. Разница лишь в том, что Иван III для встраивания приобретенных земель в свое государство применял насилие, шведы же действовали в основном правовыми методами, законодательным путем создавая условия для выгодной эксплуатации этих территорий». «История Невского края», как сказано в реквизитах, — книга для учителей. Однако как всякая честная и умная книга она не только просвещает, но и побуждает к размышлениям. Скажем, таким: не потому ли по сей день нашим квасным патриотам мерещатся чухонские миазмы, что живем и ныне, как прежде, не по-шведски, а по-московски?..

А. Мирою. Абрикосовый рай : Сборник рассказов. — Киев: Азимут-Украина. — 2011. — 208 с.

Алексей Мирою — сатирик; так его прозвали в аннотации. А герои его рассказов, — сказано там же, — «"маленький человек", пытающийся понять смысл своей жизни...» Все верно: и сатирик, и люди маленькие. Только... Вот — рассказ «Рыжий», самый объемный из более чем тридцати рассказов, собранных в этой книжке, аж десятистраничный. Тут, как у Чехова, не до смеха, даже сквозь слезы. В рассказе рыжеволосый юноша, носящий свою кличку как проклятие судьбы, в конце концов смиряется с нею (с судьбой, но не с кличкой) и убивает своего единственного друга Сашку-дурачка за то, что тот тоже рыжий, а на суде этот юноша делает все, «чтобы приговор был максимально суровый. <...> Мое поведение было вызвано отнюдь не желанием искупить свою вину более строгим наказанием, моя агрессия была спровоцирована лишь одним обстоятельством — судьей, у которого цвет волос был ядовито-рыжий». Рассказ этот был бы еще одним «черным» анекдотом, не будь в нем той житейской беспощадной достоверности, той фатальной бытовухи, когда злое слово становится каторжным делом. Кто не помнит ахматовские слова: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...»? А. Мирою пишет о том, из какого сора растут наши несчастья, наша дикость и опустошенность, но и о любви к ближнему — тоже. Рассказ, давший название сборнику, — о любви... Некий православный священник взял обет: ухаживать за всеми заброшенными могилами на кладбище своего небольшого городка, отличного от иных селений тем, что в нем, как нигде в округе, на славу росли абрикосы. «Эта причуда отца Михаила привлекла много при-

хожан в его церковь. Посмотреть на попа, чуждого корысти, приходила уйма народу изо всех ближайших селений. И как это часто бывает, вскоре слух о священнике, наделенном чудотворными свойствами, превратился в устойчивый миф». Действительно, разве не диво — человеческое существо, приводящее в порядок забытые всеми могилы? Только... Как быть нам с сатирой? При чем здесь она?

П. Горелик. Господи, с меня довольно!..: Сценарий. — СПб.: Геликон Плюс, 2012. — 144 с.

Этот сценарий — военная одиссея типографского инженера-электрика, харьковского еврея Григория Гершельмана, — скорее всего, вряд ли когда-нибудь увидят те, кто книге предпочитает кино. Тем паче — кино про войну. В этом сценарии мало пальбы и совсем нет гульбы. Зато — тьма тем пространных диалогов, да еще из тех, что век как набили оскомину во рту просвещенных россиян пусть и неизбывной, пусть и непреходящей, но уже привычной для них еврейской скорбью, как то: «А, яврей, за барахлом пришел. В гестапе твое барахло. Вас, жидов, как кур режут. Кончилась ваша власть...» Прочитал россиянин и помыслил: ага, началось!.. Но и тут автор Горелик не дает ему развлечься. Гершельман в гестапо не попал, и судьба его сложилась, можно сказать, на зависть миллионам его соплеменников: помыкавшись в приймаках, побатрачив банщиком на сахарном заводе и повоевав в партизанах, счастливчик Гершельман наконец попадает к «своим» — в фильтрационный лагерь НКВД–МВД СССР, где его все допрашивают и допрашивают. «Ничему не верят. Чудес, говорят, не бывает». Уму допрашивающих его следователей непостижимо: как такое может быть? — харьковский «яврей», полвойны пробегавший в тылу, и вдруг — живой?.. Не пойман полицией, не предан населением, не убит фрицами?! Так не бывает, потому что не бывает чудес... Вот и все. И кому оно сегодня надо такое еврейское кино, скажите на милость? Война семьдесят лет как скончалась, да и евреев в России почти не осталось. Так что «кина не будет»... Однако «шутки» в сторону. Петр Горелик, ветеран войны, командир бронепоезда, полковник в отставке, автор нескольких книг, лауреат премии А. Володина, написал сценарий «Господи, с меня довольно!..» по рассказу своего друга поэта Бориса Слуцкого, который в одном из стихотворений сказал: «Угол вам, чтобы там отсидеться, / Щель бы, чтобы забиться надежно! / Страшной сказкой грядущему детству / Вы еще пригодитесь, возможно». Если бы случилось чудо и этот сценарий экранизировали — вот вам и эпиграф.

В. Григоров. Оторванная голова (издатель не указан. — Б. Д.), 2011. — 138 с.

Хотя за поэта говорят всегда и только лишь его стихи, однако стихотворцев нынче столько, что в глазах рябит. Поэтому, прежде чем показать талант автора «Оторванной головы» (оригинальное заглавие, заметьте), скажем о нем пару слов. Он молод (1975 г. р.), окончил Литинститут, член двух писательских Союзов (СП России и Москвы), автор книг и литературных интернет-порталов.

К тому: хоть и не место красит человека, он все равно живет в Москве. Все это можно прочесть в аннотации. Но вот о чем там не сказано ни полслова, о чем можно догадаться лишь по прочтении книги: наш автор — завзятый футбольный фанат. Иначе как объяснить, что «Оторванная голова» (ах, как звучит!) состоит из трех разделов и названы они так: «Первый тайм», «Второй тайм», «Дополнительное время». Правда, в стихах об этой страсти наш автор почему-то умалчивает, и вместо признания в любви к Яшину или Ярцеву он открывается в другой: «Я люблю колхозную корову, / Как дружка за праздничным столом. / Да, мычит она, но в тяге к слову, / Чтob поэтом, типа, стать потом». А вот еще про любовь: «Мы с любимой бьем баклу-

ши, / Водку пьем, закусим суши. На диване наши ноги. / Словно мишки — мы в берлоге. <...> Одеяло, водка, ноги, / Засыпаем, как в берлоге. / Позавидует медведь, / Как мы будем, блин, храпеть». Если кто, прочитав эти строчки, подумает, что В. Григоров — поэт, «типа блин», заурядный, — а вот и нет. Это он так пародирует наше смутное время. Чтобы окончательно развеять сомнения читателей на сей счет — еще одна нетленная строфа: «На базаре — митингуем, / А на митинге — базарим: / Не мозги, слова фильтруем, / А в сортире девок жарим!..» На сим можно было бы и закончить представление этого поэта, но... То ли устав от самого себя в роли озорника и лирика-сатирика, он обратился к горнему, да так отчаянно, так рьяно, что даже сбился с ритма: «Нет, смерть страшна, и это не отнять. / Распад на атом, глину так ужасен. / И не смогу я смерть и в смерть понять: / Для вечной жизни, Боже, чем же я опасен». Давайте утешим беднягу сердечно, по-брудершафтски: не опасен ты, дорогой, для вечной жизни, совсем не опасен, не бойся.

А. Аз. В дороге: Повести и рассказы / Александр Аз. — М.: РИОР; ИНФРА-М, 2012. — 376 с.

Среди ровного десятка произведений, составивших сборник «В дороге», есть небольшой рассказ «Наследник», в конце которого — самокритичное признание героя-рассказчика: «Да, плохой я литератор: нет в моем произведении ни завязки, ни развязки». Это сознание не имеет, верно, прямого отношения к автору книги. Однако в этом же рассказе есть и такое откровение, явно авторское: «Право, кому же интересно читать, как вспахивали по веснам огород, как осенями собирали клубни, как кормила бабушка кур и поросят, как дедушка загружал в вагоны доски, как женились и выходили замуж Насыровы дети». И тут, вроде бы печалась о будничной тональности своей прозы, наш автор очевидно лукавит. Иначе не были бы сюжеты его творений — армейский ли сюжет («Смерть-копейка»), иркутский ли («Благовест»), поселковый ли («Мальтинские мадонны») — так простосердечны и архаичны, словно не заполющенный XXI век на земле, словно не слышал он слыхом о «креативе в современной литературе и искусстве», словно неведомы ему вовсе никакие Приговы и Пелевины, словно лишь земляки-сибиряки — Астафьев, Вампилов, Распутин — его люди, а до массового читательского интереса нет ему никакого дела. Иначе никогда не написал бы такое на трезвую голову: «Э-хе-хе, офицер офицерыч, а ведь и казарма тебе мила, сросся ты с ней всей сутью своей. Нужен ты там, ждут тебя дела и люди... Вот и живи теперь... Э-хе-хе...» («В дороге»). У поэта Олега Чухонцева есть строчки: «Участь! — вот она: бок о бок жить и состояться тут. / Нас потом поодиночке всех в березнячок свезут, / и кукушка прокукует, и в глухой умолкнет час... / Мати Божия, Заступница, в скорбех помилуй нас». Слова эти созвучны прозе Александра Аза, что и определяет и суть ее, и качество.

Е. Полянская. Воин в поле одинокий : Стихотворения. — М.: Время, 2012. — 256 с. — (Поэтическая библиотека)

Настоящую книгу составили избранные стихи из четырех ранее изданных книжек петербургской поэтессы Екатерины Полянской плюс раздел новых стихотворений. Сборник открывают строчки: «Не печалься, душа. Среди русских воспетых полей / И чухонских болот, пустырей обреченного града / Ничего не страшись. О сиротстве своем не жалей. / Ни о чем не жалей. Ни пощады не жди, ни награды»; а заканчивают: «Что остается? — встречные поезда, / Дым, силуэты, выхваченные из тени. / Кажется — все. Нет, что-то еще... Ах, да! — / Вечность, схожая с мокрым кустом сирени». Стихи не датированы: когда написаны первые строки, когда последние — неизвестно, но слышится эхо меж ними. И так — весь сборник: стихи про что угодно (как и положено им быть), а голос — сквозь 250 страниц! — один, хоть и вы-

держан он в разных нотах и красках. Но... читаю: «Непрерывно, натужно, упорно / Сквозь рождение, страдание и смерть / Наших жизней тяжелые зерна / Прорастают в небесную твердь. // А навстречу — легко и проворно / Дышит бабочки трепетный блик, / И полет ее радостен, словно / В бесконечность распахнутый миг...» — и думаю: не слишком ли складно, сентиментально и театрално все это? Еще читаю: «С легким шорохом раскрылись / Среди бумаг летящих — крылья...» — и вспоминаю 80-е годы: на сцене КЗ у Финляндского стоит известная московская поэтесса и роняет, роняет на пол белые листки со стихами, а месяца через три — то же самое, только в другом зале, на другой сцене. Время спустя вновь открыл стихи Е. Полянской («Все-го и надо, что вчитаться, боже мой...» — мудро заметил Ю. Левитанский), и — вдруг! — как будто снова вдохнул запах утренней июньской сирени, и — увидел капустницу на дачном лугу, и — вспомнил впервые увиденный паровик (чуть не умер тогда от страха), и... А ведь верно: «наших жизней тяжелые зерна... в бесконечность распахнутый миг».

А. Тер. По ту сторону леса: Повесть / Альбина Те. — Тула: Папирус, 2010. — 46 с.

История, рассказанная А. Тер в этой повести, проста, как высушенный лимон. Жила-была женщина, лет, эдак, зрелых. И встретила она, как водится, мужчину, да лучше бы и не встретила. Был мужчина, звать Андрей: красивый такой, сильный, статный, рукастый, работающий. И любила она его — жуть как любила! А на поверку оказался он мелкий, лживый, жадный и жалкий... Да к тому ж выгнал бедняжку из дома. Еще эта женщина писала стихи (а как без них при жизни такой?). Носила их в редакцию, но... Лучше бы она никогда их не писала и никуда не носила — не признали в ней талант, рукопись вернули. Вот и вся история. Но нам-то интересно не «что» сказано — у нас своих историй с три короба, на слоне не унести, — а «как». «Как» поведано, «как» написано. А вот «как». «Село встретило меня сырым, холодным домом, запахом плесени, развалившейся мебелью, вьезшейся грязью, ветошью на давно немытых окнах; скудностью пищи и полнейшей разрухой». Далее — описания нелегкого деревенского быта. После чего — истинно Шиллер–Бетховен, «Ода к радости»: «Городскому жителю никогда не видеть этой божественной красоты, что не замечает деревенский: ему просто некогда замечать — умаявшись, он спит». Получается, что и нет никакой пропасти между городом и деревней, никто не зрит «божественной красоты»: одним недосуг, другие просто спят. Ода дала петуха... Может, она, эта светлая ода, обретет и вернет чистый свой голос в стихах? Может, несправедливо, по черствости и/или недомыслию завернул их злой редактор героине-поэтессе? Посмотрим. «Я растоптана, разбрызгана / По околице, как дождь. / Сердце вынуто, и выкрана / Из него моя любовь. // Опустело, затуманило, / Тишина в дверях стойит, / Нет меня, не знать бы этого, / То, другая, там сидит...» Как ни жаль несчастную любовь героини, но, даже исправив орфографические ошибки, я бы вернул автору ее творение.

И. Асаев. Мы затеяли жить... — Рига: Латвийское общество русской культуры, 2012. — 138 с.

«Мы затеяли жить: / Суетиться и плыть, / Измеряя собой бесконечность. / И настырным умом, / Запеленутым лбом / Порываясь цитировать вечность». Эти строчки набраны курсивом на четвертой странице обложки под черно-белой фотографией — гибрид юного Пастернака и молодого Будрайтиса. То есть — Илья Асаев, автор стихов, написанных в конце восьмидесятых — начале девяностых, но увидевших свет лишь сейчас. Не будет преувеличением сказать, что строф и строк, достойных что предисловия, что послесловия к сборнику — едва ль не на каждой странице. Вот, пожалуйста: «По паспорту — мы люди. Но душа / Живет, как оказалось, без

прописки...»; «Спи, мой детский человек, / Не о нас горюет век, / Не о нас наш дом грустит... / Ничего. Ты просто спи.<...> В нашем прошлом (что тужить?!) / Будет маленькая жизнь. / Ну а после (что жалеть?!) / Будет в нем большая смерть. // Ты не слушай, я устал... / Смерти нет, а я соврал. / Будем лучше оживать, / Что за радость умирать». А вот еще: «Мне не жалко ни слов, ни куплетов, ни строк. / Им — посыльным сознаныя — гораздо важней / Из разохшихся легких на белый листок / Выливать вдохновенную ржавую сель!» Во вступлении к книге перечислены почти все громкие имена русской и советской поэзии, обозначенные в списках «для чтения» автора сборника. «С некоторыми из этих имен... — сказано во вступлении, — мы встречаемся в стихах И. А. — подражание, аллюзия, реминисценция, оммаж...». Все так: и подражания, и оммаж, как в цветаевской «Оде воде». Мне же вспомнился Павел Коган; не названный в списках, он, по моему представлению, очевидно, созвучен Илье Асаеву. В 1934 году в посвящении Жоре Лепскому, написавшему музыку к «Бригантине», Коган писал: «Мой приятель, мой дружище, / Мой товарищ дорогой, / Ты видал ли эти тыщи / Синих звезд над головой? / Ты видал, как непогодят / Осень, ветер и вода? / Как легко они уходят, / Эти легкие года!» Илья Асаев умер в 1993 году. Ему было 29 лет.

Н. Королева. Сто стихотворений: 1950–2010. — М.: Прогресс-Плеяда, 2012. — 140 с.

Нина Валериановна Королева поступила так, как содеяли японцы в начале XIII века, как сделал Н. Тихонов в 1941 году, потом — М. Дудин, а кроме — сотни и сотни поэтов разных времен и народов: она собрала сто своих стихов под одну обложку, не терзаясь, как и прочие, в поиске заглавия: «**Сто стихотворений**», и баста. Но что, безусловно, отличает ее книгу от сонма иных, «стостихотворных» — даты и цифры: на 140 страницах она поместила 100 стихов, написанных ею за 60 лет! Если б было мне под двадцать, я сказал бы: это круто! В 1986 году Н. Королева писала: «Уступаю я место другим на садовой скамейке / И прощаю измену, почувствовав жалости бремя, — / Потому что росла я в большой и недружной семье / Не в военное время, а в послевоенное время». Время ли «виновато», семья ли, но чувством Добра и благоговением перед Словом пронизана ее книга от корки до корки. «Как же решиться право себе присвоить / Памятник духу и телу создать словами — / Несовершенному, вечно больному телу, / Несовершенному, вечно больному духу?» — написала она в 2000 году, а в 1956-м: «— Ты откуда? — вы спросили. / — Я из северной России, / Где ольха листву низала, / Где озерные вокзалы / На волнах недвижно плыли / И сейчас еще плывут... / — Вы там были? / — Мы там были. Той волной сердца омыли... / Вас зовут туда? / — Зовут...» А вот стих, — как «ау» москвичке Н.Королевой из города, который она считает родным: «Нас спросили: — Вы не из Сибири? — / Мы сказали: — Мы из Ленинграда. — / Мы сказали: — Мы недавно были. — / Нам сказали: — Песен петь не надо. — // Мы сказали: — Будем петь потише. — / Нам сказали: — Рядом спит японец. — / Мы сказали: — Это мы запомним. / Никакой японец не услышит. — // Мы прошли, ворсинки не колыша. / Пели песни, те, что мы любили. / А японец все-таки услышал. / Он спросил нас: — Вы не из Сибири?..» Этот стих, жест признания и приятия славного поэта Н. Королевой, годы и лета спустя написал поэт Д. Толстоба, как земляк землячке: «Мы из Ленинграда!»

П. Шумов. Давка. Нижний Новгород: Дятловы горы, 2012. — 140 с.

Это книга про маршрутки и маршрутчиков. У нее и подзаголовок соответствующий: «Инструкция по применению». В книге таких инструкций 15; что ни рассказик, что ни зарисовка — учитесь ездить (а лучше — не ездить) в общественном транс-

порте. Даже рассказ «Город», название которого якобы предлагает экскурсию по неведомому, и тот споткнулся о колеса: «...вялые советские попытки прокладки широких проспектов имени Первого Космонавта захлебнулись в волне личного автотранспорта граждан Новой России». Листая страницы «Давки», читатель вправе задать вопрос: П. Шумов, вы кто? Вы — откуда? Вы — пассажир или водитель? Если пассажир, на что указывает глубокое знание передряг этой категории населения Города, то отчего такая неприязнь к собратьям по судьбе? «О, сколько же еще открытий чудных таит в себе попутный маршруточный треп! Чего тут только не услышишь: и про мужа-кровопийцу, и про мастера-пидораста, и хитрые финансовые схемы и разводки, описания, как вчера пили водку и где всего дешевле помидоры...» Неужто весь народ окрест вас — кто пьянь, кто торгаш, а кто пидораст, все прочее — ухо не слышит? Если же писатель П. Шумов для прокорма себя и семьи сам крутит баранку пазика, что, быть может, отчасти и объясняет его нерасположение к пассажиро-клиентам, то как понимать такой монолог водителя маршрутки (цитирую с купюрами, иначе редактор вырежет вчистую): «— Ты, <...> здесь встал, <...> ! <...> Давай дальше по трассе! Не <...> тут отсвечивать! Не видишь, отъезжаю?! Козлина тупая! Чё те? Билет, <...>?! Да ты еще мне, <...> такая, полстос клееный суешь!!!...» Поверьте, читатель, любое самое смелое и выразительное русское слово, которое подскажет ваша свежая память, дабы расшифровать эти купюры, потерпит фиаско: по части шоферского мата наш автор, безусловно, суперас. А что до книги в целом — пафос ее прост, как правда: не ездите, люди, в общественном транспорте! И в этом призыве весь незатейливый гуманизм Павла Шумова, нижегородца.

А. Банщикова. Сестрица. СПб.: Юолукка, 2012. — 72 с.

«В новой книге (второй книге Анны Банщиковой. — Б. Д.) усугубляется самопознание как возможность сохранить индивидуальность и в ролевой самоидентификации <...>, и в лирических попытках философски-религиозного взгляда на жизнь...» — прописано в аннотации. Сильная фраза! Прочел и — хочешь не хочешь — лезь в книгу, познавай: как же оно усиливается, это самопознание, в каких религиозно-философских взглядах на жизнь его выразительница сохраняет свою индивидуальность? Может, так: «Жизнь на земле — это праздник непослушания, / не подражание Богу или природе. / Я — уникальное в мире разумное создание, / редкая гордая тварь, сумасшедшая вроде. <...> Нету друзей у меня, кроме флота и армии. / Нет покровителей, кроме святой Богородицы. / Дочек своих называю Мариями, Аннами. / Сына Иисусом назвать страшновато, а хочется...» А может, эдак: «Любовь немножко пахнет зоопарком. / Немножко грязно и немножко стыдно / так близко наблюдать все это. Жарко. / И жаль тебя, и за себя обидно. // Ну ладно в детстве, смотришь, как бывает / оно в природе, и — плевать на запах. / Лежат, жуют, ползут, перелетают, / за клетку держатся, стоят на задних лапах... // И всюду жизнь! И трудно удержаться, / не полюбить козла или гадюку. / Вон мальчик плачет, хочет здесь остаться. / Отец его уводит, взяв за руку». Каково, а! Возможно, «взяв за ухо», было бы усугубленнее, но и так — гораздо. И таких «гораздых» строчек в этой книжке... — вот еще. Это, правда, перевод с финского, из Пяйви Ненонен, но мы-то знаем: поэт-переводчик — все равно Маршак. «Воет, воет нищий ветер в ночи, / Он стучит, стучит и в окна, и в дверь. / Мы закроем крепко-крепко замки. / Нам тепло-тепло, мы вместе сидим. / Наши окна светят, светят во тьме. / Ветер бьется снегом, снегом в стекло, / Злится. Он один, один, без друзей. / Но никто-никто не пустит его!» Вот она, значит, какова «ролевая самоидентификация» и «попытка философски-религиозного взгляда на жизнь» А. Банщиковой?

**День знаний в Университете: 1 сентября 2011 года:
Вып. 17. — СПб.: СПбГУП, 2011. — 92 с.**

И все же, как ни крути, а Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов — заведение незаурядное, а ректор его А. С. Запесоцкий — чисто уникал. Его стараниями имя названного вуза известно далеко за любыми границами. И так, беру я в руки фолиант «День знаний...» — формат 60х90, цветные картинки, а в них!.. Сидят рядком: профсоюзный вожак М. Шмаков и писатель-сатирик С. Альтов, крупный «единоросс» А. Исаев и народный артист М. Боярский, а еще — и высокие чиновники, и маститые ученые, и консулы-дипломаты, и президенты всяческих фондов; всех перечислять — бумаги не хватит. Но право, если б все дело было в лицах на картинках, то и говорить об этом издании было бы незачем. Нет, дело не в коллажах, пусть даже и отменных, а в текстах, обращенных к будущим гуманитариям. Сначала — некоторые выдержки из пламенного напутствия студентов СПбГУПа на тернистый путь познания президента Российской академии образования Н. Никандрова: «1. Негатив и зло в мире преобладают над добром. 2. Наш мир есть мир насилия... 3. Основной (сексуальный) инстинкт — действительно, основа всего. <...> в этом отношении мы практически «впереди планеты всей». <...> 7. Российские власти всех уровней не заботятся о народе и в высокой степени коррумпированы... 10. Права и свободы человека в России не защищены... 11. Высшие иерархи православной церкви в России запятнали себя <...> бессовестным использованием рыночных механизмов... 12. Уровень развития России крайне низок. <...>». Как было грустно, наверно, слушать эту большую правду о Родине будущему культурологу, политологу, экономисту, юристу... Но, слава Будде, есть у ректора Запесоцкого друг — полномочный министр Посольства Японии в России Кейдзи Ида. Он сказал студентам: «У нас жизнь очень простая, скромная и чистая. Это наши главные принципы. Думаю, такой образ жизни позволит сохранить энергетику, что в свою очередь поможет продлить срок использования природных ресурсов и т. д. Это может быть своего рода вкладом в развитие культуры. А также надо обращать внимание на других людей». Хоть он их утешил!..

В. Серов. Россия — Япония. Грусть / В. Ф. Серов. — СПб.: Реноме, 2012. — 128 с. : ил.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», — сказал, дай бог памяти, Джозеф Редьярд Киплинг. Ведомо, Санкт-Петербург — это Запад, а Япония — это Восток; но, судя по стихам петербуржца Владимира Серова, мы рядом, только руку протяни. Вот как, к примеру сказать, изображает автор в своем классическом японском пятистишии, танка, до слез знакомый дачно-садоводческий или просто сельский, тульский, барнаульский... российский пейзаж: «День увядает. / Вон паутинка блестит. / Поле копает — / Гулко сосед об ведро / Новой картошкой стучит!» А вот хокку (хайку) — трехстишие; называется «Прощание с дачей»: «Прощай, береза. / Дом наш от ветра укрой / До встречи зимой». Не исключено, что японцы, равно как и мы, и картошку копают по осени, что и березы растут у них на Хоккайдо, как у нас на Сахалине, — так отчего бы нам и впрямь не сойтись? Тем паче что в чувствах своих сквозь века и пространства мы, вне сомнений, едины: «Скажите, зачем / Так себя истомил я / Сердечной тоской? / Не от моих ли жалоб / Осень все больше темнеет?» — изрек монах и скиталец Сайгё аж в XII веке. «Гроздь рябины / В пронзительной синеве. / Невыносимо / Грусти смятенье во мне! / Жизнь пролетает мимо...» — вторит ему наш современник В. Серов. Вся его книга — переключка с

Басё и Исса, Бусон и Кикаку, Сики и Такобуку и многими другими великими поэтами Японии. А дабы эта переключка была максимально зримой, каждый книжный разворот проиллюстрирован птицами, цветами или деревьями. Выглядит это так: слева гравюра: цапля смотрит на Луну; справа танка: «Что я и она / встретились, слава Судьбе! / Радости полна, / Не проболтайся, Луна! / Можно ли верить тебе?» и хокку: «Стоны журавлей — / Это посланье тебе / О грусти моей!»

**Публикация подготовлена
Борисом ДАВЫДОВЫМ**

ДОМ ЗИНГЕРА

Евгений Васильев, Виктор Смоктий. Государи-братья. Роман-хроника в шести книгах. М.: Издательство В. А. Стрелецкий (Книга 1, 2008, 944 с. Книга 2, 2008, 896 с. Книга 3, 2012, 696 с.)

Пожалуй, это первое художественное произведение, где одновременно в качестве главных героев на равных выступают два императора — Александр I и Наполеон. И первое, в котором так тщательно прослеживаются их взаимоотношения, благо многостраничная хроника в шести книгах, из которых вышли три, позволяет глубоко погрузиться в эпоху. Авторы в первую очередь интересовали поступки Наполеона и Александра, которые не укладывались в общепринятые, уже сложившиеся и устоявшие концепции. Работа с источниками: мемуарами, письмами, дневниками современников, разного рода историческими документами — выявила, что в работах исследователей, историков, писателей многое было скрыто, в лучшем случае упоминалось вскользь. Это будило желание докопаться до истоков и породило массу вопросов. Например, почему, победив Наполеона, Александр всячески стремился сохранить династию Бонапартов, подыскивая регента для его сына? Почему именно в Александре посл е возвращения во Францию с острова Эльба Наполеон незадолго до Ватерлоо искал союзника против Англии и Пруссии? Что имел в виду Наполеон, утверждая на острове Святой Елены: «Если я здесь умру, Александр будет моим истинным наследником в Европе»? На многие неудобные вопросы авторы смогли найти ответы. Ключевым моментом в их размышлениях о судьбах Наполеона и Александра стал Тильзит, а точнее — дружба, так неожиданно возникшая между врагами и явственно продлившаяся пять лет. Тильзитский мир всегда был белым пятном на карте советской историографии, где определяющим являлся ленинский ярлык: «Тильзитский мир — мир похабный, тяжелый, унижительный». Но и в царской России после победы в Отечественной войне 1812 года казалось неприличным искать какие-либо положительные перспективы союза Александра I с Наполеоном. Между тем оба императора прекрасно понимали значение своей дружбы, которая могла бы направить развитие всей мировой цивилизации в иное, более конструктивное русло, а Россия как и европейский континент получила бы небывалые возможности для своего экономического развития. Мир стал бы иным уже тогда, 200 лет назад. Но... Слишком яростным оказалось противодействие: с одной стороны — открытая враждебность русских аристократов-крепостников, видевших в Наполеоне провозвестника кровавой революции в России, с другой — хищническая алчность английских буржуа, почуявших явную угрозу мировому господству Индо-Британской империи, обеспечивающей им баснословные барыши. В пересечение жгучих интересов, в пекло политических страстей и человеческих страданий попадают герои книги. Александр I предстает в книге отнюдь не как «властитель слабый

и лукавый», согласно традиции, идущей от Пушкина, но как самый умный и умелый политик династии Романовых. И — заложник своего окружения, реалий российских и международных, что не позволило ему осуществить лелеемые им реформы, либеральную революцию сверху. В подавляющем большинстве в романе-хронике звучат подлинные слова Наполеона и Александра, а также, насколько это возможно, и других исторических лиц. Действия героев (а это, естественно, роман «многонаселенный»), география, обстановка, хронология событий воспроизводятся авторами с предельной точностью. Но это не историческая реконструкция, а художественное произведение с присущими ему особенностями, позволяющее заглянуть за кулисы событий прошлого в поисках скрытых на первый взгляд мотивов поведения исторических персонажей. И как это часто случается, общественные и политические проблемы минувших веков созвучны сегодняшнему нашему времени. И даже лексика той эпохи внезапно обретает ясность и становится актуальной, то есть отражающей наше сегодняшнее бытие.

Эдна О'Брайен. Влюбленный Байрон. Пер. с англ. К. Атаровой. М.: Текст, 2011. — 219 с.: ил.

Байрону посвящено бесчисленное множество книг: научных, документальных, восторженных, противоречивых, провокативных, непристойных, фантастичных. Неудивительно, ведь в начале XIX века его творчество породило новое направление в мировой литературе — байронизм (в том числе «русский байронизм»). Английский поэт-романтик создал новый тип героя: рефлектирующего, разочарованного мятежного индивидуалиста, одинокого, непонятого людьми страдальца, бросающего вызов всему миропорядку и Богу, трагически переживающего разлад с миром и собственную раздвоенность. Его творения неизменно вызвали бурную реакцию в английском обществе и на континенте, еще больше Англию времен регентства (относительно не пуританскую) скандализировало поведение поэта и его личная жизнь. Он вынужден был покинуть Туманный Альбион и, следуя своим политическим убеждениям, включился в движение карбонариев, в национально-освободительную революцию Греции. Трагическая смерть поэта усилила интерес к нему. В героях поэм искали самого Байрона. Слово «байронический» вплоть до наших дней предполагает чрезмерность, дьявольские поступки и бунтарство. Известная ирландская писательница, лауреат многих международных премий, желая воссоздать подлинный портрет Байрона-Человека, «окунулась в двенадцать томов его писем и дневников, где он раскрывается как человек страстный и ранимый, как интеллектуал и насмешник, как личность, сочетающая в себе черты Наполеона, Дон Жуана, Ричарда Лавлейса, Ричарда III, Ричарда II и даже короля Лира, окруженного негодьями и шутами». Она перечитала бесчисленные биографии поэта, биографии леди Байрон и полные лицемерия рассказы об их длившемся чуть более года браке. Она увидела человека, обуравемого с ранних лет страстями, источниками волнений, меланхолии, мрачных предчувствий. Человека, который, по его собственному утверждению, не способен был существовать без любви. И он любил и мужчин, и женщин, предавался неудержимому распутству, втягивая в порочный водоворот юношей, светских дам, единую кровную сестру. Герой и злодей, дамский угодник и самовлюбленный эгоист, к которому намертво прилип ярлык «шаловой, дурной и опасный для общения»... Проследив путь обаятельного и страдающего повесы, Э. О'Брайен не втаптывает его в грязь, как это делали одни, не превозносит его, как это делали другие, и не накидывает литературоведческий флёр на его сомнительные «романтические похождения». Ее герой — не просто частное лицо, чья личная жизнь была далеко не безгрешна, но и гениальный поэт, самоотверженный борец за свободу Италии и Греции. Она рисует портрет человека, в котором совместились гений и злодейство. Портреты, миниатюры, гравюры и рисунки той эпохи дополняют повествование и позволяют увидеть лица людей, причастных к жизни Байрона.

Михаил Катков. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. Русский консерватизм: Государственная публицистика. Деятели России / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. Сост., подг. текста, коммент., указ. имен А. Н. Николюкина и Т. Ф. Прокопова / Институт научной информации по общественным наукам РАН. СПб.: ООО «Издательство «Росток»», 2011. — 896 с.

Михаил Никифорович Катков (1818–1887) — русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». В 50-е годы XIX века — умеренный либерал, сторонник английского политического строя. В начале 60-х переменил взгляды и стал убежденным консерватором и одним из вдохновителей контрреформ. По советским меркам — реакционер и мракобес, а посему труды его в советское время и не печатались. И только в веке XXI впервые осуществляется издание собрания сочинений этого выдающегося деятеля России. В первый том (2010), включена литературно-критическая публицистика М. Каткова. Второй том составили общественно-политическая публицистика М. Каткова за 1861–1887 годы, а также его мемуарные очерки о видных деятелях России. Как журналист М. Катков остро реагировал на события внешней и внутренней политики российского государства, на публикации в отечественной и зарубежной прессе. Он неоднократно высказывал свое мнение по поводу реформ, проводимых в России Александром II: военной, полицейской, судебной, земской, городского управления. И предупреждал об опасности чрезмерного развития в России бюрократической системы. Он подвергал страстному анализу позиции политических партий, российских и зарубежных. М. Катков всегда подчеркивал важность для России истинно национальной политики и считал, что сепаратизм на Кавказе и в Закавказье есть следствие слабости национального духа во внутренней политике России. Он размышлял о государственном смысле русского народа и давал язвительные ответы европейской журналистике, проявлявший усиленную «заботу» о России в связи с обострением польского вопроса и русско-турецкой войной. И если оставить в стороне рассуждения о величии власти русского царя, о единении царя и народа как испытания временем не прошедшие, то многие другие воззрения М. Каткова нашему времени весьма созвучны. «С некоторых пор развилась у нас страсть, беспримерная и в наших собственных летописях, и в летописях целого мира, — страсть бранить, порицать и отрицать в себе все, предавать в себе все поруганию и осмеянию, все в себе терзать и уничтожать. ...В нашей литературе страсть эта доходила до последних пределов безобразия: и повести, и разные философские трактаты, и всякого рода критические статьи имели своею главною целью изображать гнусные свойства русского человека на всех общественных чредах и русского быта во всех его видах. ...Ничего не осталось нетронутым: и старина наша отвратительна, и новизна наша возмутительна, и простой народ наш безнадежен, и наши образованные классы исполнены всякой мерзости... всё подлежит беспощадному бичеванию. ...Предаваясь таким мыслям, мы забываем, что наш народ из всех известных народов преимущественно отличается силою упора; мы забываем всю нашу историю, мы забываем, каких страшных усилий и какой крови у нас стоили все вынужденные повороты в народной жизни. Ни один народ так крепко не отстаивал своей старины, ни один народ не оказывал такого упорства в хранении своего обычая; ни один народ не содержит в себе такой силы охранительного начала, как русский. Менее всего можно упрекнуть русского человека в излишней уступчивости или в излишней податливости. Об этом свидетельствует история; об этом свидетельствуют миллионы русского люда, подвергавшиеся в продолжение веков всевозможным гонениям и козням... Не в том ли наша головная боль, что, обладая здоровыми и дюжими ногами, мы боимся стать на них и сидим, поджавши их под себя, воображая, что они у нас стеклянные?» («Развившийся у нас, русских, дух народного самоотрицания и самоуничтожения», 1863).

Эндрю Фаулер. Самый опасный человек в мире: Джулиан Ассанж и секреты WikiLeaks. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 288 с.

Вот уже два года как редкий новостной выпуск обходится без обращения к персоне основателя WikiLeaks. Некогда безвестный австралийский хакер превратился в самого знаменитого человека десятилетия. Он разоблачил тайны Гуантанамо, убийства мирных жителей в Ираке, дипломатические секреты США. Он сумел победить могущественную секту сайентологов. Из-за конфликта с ним была парализована система «Мастеркард». Обама объявил его врагом американского государства, приравняв к «Аль-Каиде» и «Талибану». Правые политики в Америке призывают убить его, а две шведские журналистки обвиняют в сексуальных преступлениях. Компьютерный гений, фанатик-правдолюбец, эгоцентрик, деспот — кто он, Джулиан Ассанж? Австралийский журналист Э. Фаулер пытается ответить на этот вопрос, основываясь на эксклюзивных интервью с самим Ассанжем, его родными, друзьями и соратниками по WikiLeaks. Э. Фаулер пишет биографию своего героя последовательно, поэтапно, со времен, когда тот был еще маленьким мальчиком, «умным, но немного с прибабахом». Он рано стал продвинутым хакером и никогда не был одинок в своем желании раскрыть тайны мира сего: предшественниками WikiLeaks являлись организации юных борцов за свободу слова, за демократию — «Международные подрывники», шифропанки. Э. Фаулер воссоздает историю создания и деятельности WikiLeaks: задачи, финансы, технология организации и организаторы, участники и сторонние партнеры, алгоритм действий, механизмы защиты информаторов, контакты с ведущей прессой мира. Он рассказывает, как попадали секретные материалы в WikiLeaks и какие трудности приходилось преодолевать, какие нравственные и технические проблемы решать, чтобы сделать их доступными миру. В поле зрения исследователя оказываются все акции WikiLeaks, а также предшествующие им события и последовавшие за ними, в том числе столкновения с законом. Э. Фаулер проясняет многочисленные конфликтные ситуации как внутри WikiLeaks, так и со внешним миром, остро реагирующим на выступления WikiLeaks. Распутывает интриги, связанные мировыми печатными СМИ. Подробно излагает исландскую и шведскую эпопеи Ассанжа. И всегда в центре повествования — фигура самого Дж. Ассанжа: взгляды, мотивы, поступки харизматического, обаятельного, но и очень конфликтного человека. Раскрыл ли Э. Фаулер секреты своего героя и организации WikiLeaks? По крайней мере, попытался. Самым главным секретом WikiLeaks на сегодняшний день, пожалуй, являлась тайна долгого молчания организации: оказывается, причиной тому не только финансовые проблемы и сложное положение самого Ассанжа, но и отсутствие у Ассанжа кодов доступа к системе, их унес один из ближайших соратников после серьезного раскола в организации. Самый главный секрет Ассанжа — то, что, согласно выводам его биографа, перед нами — герой-одиночка, осуществивший мечту своей юности: создать систему, которая бросит вызов власти. Так кто же стоит за Ассанжем? Нет ответа. Или — пока он такой: «Он сумел стать важным игроком на политической сцене, но сказать, в чем состояла политика самого Ассанжа, довольно трудно. Ассанж полон противоречий. ...Джулиана можно воспринимать и как человека, которому не стоит доверять, и как создателя собственного культа личности, и как спасителя современной журналистики».

Тимо Вихавайнен. Столетия соседства: размышления о финско-русской границе / Пер. А. И. Рупасова. СПб.: Нестор-История, 2012. — 248 с.

В центре внимания автора — не просто граница между двумя государствами, но граница культурная. И — шире — граница между Западом и Востоком. Во времена Средневековья границу определяла религия. До XVIII века пограничные войны, одинаково жестокие с обеих сторон, несли обоюдное разорение и порабощение. В XIX веке, находясь в составе Российской империи, финны в целом были удовлетворены

своим автономным положением. Стать независимой Финляндия вынудила большевистская революция. «Восстание русской черни» 1917 года настолько напугало финнов, что ненависть к русским удерживалась до 1960-х годов. В XX веке идеология, даже более фанатичная, чем когда-либо вера, являлась главным разделителем. Сегодня абсолютная и относительная доля русских в Финляндии больше, чем когда-либо в истории, вера и политическая идеология уже не играют особой роли. В принципе одинакова и культурная среда, СМИ не знают границ. Проблемы остаются. «Любая новость, касающаяся России, воспринимается прессой и широкой публикой в совершенно определенной системе координат — опасность, непредвиденность и чуждость. К этому можно добавить миф об извечной непостижимости России и упорное нежелание финнов даже попытаться выяснить, как в действительности обстоят дела». Прошлое властвует в современном мире, в отношениях стран это проявляется ярко. Из тысячелетней истории автор, не минуя ни одной болевой точки, уделяет внимание прежде всего двухсотлетнему периоду — от присоединения Финляндии к Российской империи в 1809 году до наших дней. Обращаясь к истории, к произведениям финских и русских писателей, философов, он рассматривает, как виделась в Финляндии Россия, а Финляндия — в России, в чем состоят особенности и отличия их культур и менталитетов. Финский историк стремится умом понять Российскую империю, СССР, Россию современную. И делает это очень доброжелательно по отношению к восточному соседу. Серьезной проблемой в отношениях Финляндии и России, а также финнов и русских всегда была не враждебность, а инаковость. Осознав себя как нацию только во второй половине XIX века, финны тщательно оберегали свою идентичность, наиболее ярко это проявилось по отношению к русскому языку. Финляндия входила в состав России, большинство путешествующих составляли русские, но в отели выписывали газеты европейские, в ресторанах меню было на языках всех европейских государств, кроме русского, лакеи знали все языки, только не русский. Опасаясь русификации, ассимиляции, растворения в большом народе, финны считали зазорным учить русский. Впрочем, и бедность русских общин и школ не позволяла организовать массовое изучение русского языка. Но во всей истории Финляндии автор обнаруживает только один пример преследований на национальной почве, в 1918 году, когда в ходе Гражданской войны финны уничтожали русских офицеров, гимназистов. Парадоксально, считает Т. Вихавайнен, но сближение двух народов, несмотря на войны и конфликты, удалось на той основе, что они смогли держаться обособленно. «Наши народы никогда не смешивались, а если такое происходило в единичных случаях, то это было добровольным выбором». Для русского читателя в этой книге много открытий: новые факты, неожиданные суждения, оценки прошлого и настоящего, возможность взглянуть на отношения наших народов с другой стороны.

Наум Синдаловский. Легенды петербургских садов и парков. М.: Центрполиграф, 2012. — 414 с.

Старинные предания, легенды мистические и романтические, забавные анекдоты, уличные песни, многословная вязь раешных стихов и монологов балаганного зазывала, пословицы и поговорки. Образцы фольклора: поэтические, прагматические, иронические, порой окрашенные оттенком грубоватой низменности. Причуды петербургской топонимики. Было бы удивительно, если бы сады и садики, парки и скверы, бульвары и аллеи северной столицы и ее пригородов не нашли отражения в петербургском фольклоре. Ведь разбивка садов и парков в Петербурге началась практически одновременно со строительством самого города, зеленое зодчество шло рука об руку с каменной архитектурой. Чтобы построить город на болотистой почве, Петр I для укрепления грунта обратился к давнему и испытанному союзнику всех времен и народов — многолетним деревьям с твердыми могучими стволами и мощной разветвленной корневой системой. Привычные для Руси единые сады-огороды

обретали новую форму, сказывались впечатления царя, полученные им во время поездки по Европе. Н. Синдаловский, знаток петербургского фольклора, проведет своего читателя по восьмидесяти адресам. Он не пропустит ни одного зеленого островка в старом центре Петербурга, ни одного зеленого массива на окраинах города и его пригородов, оставивших яркий след в коллективной памяти горожан. Среди героев его повествования архитекторы, скульпторы, создатели садов и их декоративного убранства. А также императоры и императрицы, вельможи и государственные деятели, видные военачальники. Фольклор многолик, он не терпит однообразия, и существует не одна фольклорная версия того, как строился домик Петра I, как возник излом Невского проспекта, с чем связано появление памятника Пушкину в сквере на улице его имени. Большие циклы романтических легенд посвящены Медному всаднику, Михайловскому замку, погребению Суворова. Не каждому довелось увидеть оживающие памятники — Екатерине II, что у Александринского театра, Петру I, Пушкину. Но ведь кто-то видел. Город — организм живой, и в нем что-то постоянно меняется. И вот уже от некогда прекрасных садов: Итальянского сада, что тянулся от Фонтанки за Литейный, садов графа Строганова на Черной речке — осталось лишь несколько деревьев да фраз, смысл которых уже невнятен нынешним поколениям. Ведь даже Летний сад, у которого, казалось бы, такая прозрачная и привычная этимология названия, с летним сезоном связан весьма опосредованно. Первоначально он засаживался только однолетними цветами, так называемыми летниками, — вот происхождение имени его. Город, живое существо, не хочет погружаться в амнезию. Старейшая улица Петербурга, Садовая, вдоль которой с начала XVIII века по обе стороны тянулись усадебные сады богатых владельцев, получила свое название в 1739 году. В 1923 году была переименована в улицу Третьего Июля в память о демонстрации 1917 года, через двадцать лет вернула имя свое. Назвали в советское время Александровский сад садом Трудящихся имени Максима Горького, но он так и остался для жителей города «Адмиралтейским» или «Сашкиным садом». Не желал город «поступаться принципами», менять названия по прихоти власть имущих. Через фольклор сохраняется наша связь с прошлым, и знание традиций и их происхождения способствует бережному отношению к своей среде обитания. И сад, по выражению Н. Синдаловского, «обитель души города», в бережном отношении и защите нуждается сегодня особенно.

**Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

*Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28,
т. 448-23-55, www.spbdk.ru)*

СОДЕРЖАНИЕ

журнала «Нева» за 2012 год

ПРОЗА

- Абузяров И. Хлеб для арлекинов. *Рассказ не о дружбе*. VII, 118.
Арро В. Желание жить. *Предисловие В. Попова*. VIII, 8.
Галкина Н. Зеленая мартышка. *Роман*. V, 9.
Гамаюнов И. Попутчица. *Отрывок из романа «Щит героя»*. VI, 7.
Грушко В. В тихом омуте. *Рассказ*. I, 80.
Ефимов И. Мать и дочь. *Рассказ*. II, 68.
Запольских В. Пермский апокриф, или Записки шпиона-amateur. X, 7.
Иваницкая Е. Ужасы. *Роман. Предисловие А. Мелихова*. VI, 36.
Калугин Д. Лестница Янкеля. *Повесть*. III, 60.
Коркмазов Б. Холодное солнце гор. *Роман*. IV, 7.
Костюк Я. Голбец. *Рассказ*. XII, 98.
Крюкова Е. Врата смерти. *Роман*. IX, 6.
Кукушкин А., Гуров М. Alma Matrix, или Служение игумена Траяна. *Роман*. I, 6.
Кузнецова А. Сама с собой. *Рассказ*. XII, 7.
Куприянов К. *Рассказы*. XII, 53.
Лавриненко А. Легенды старого Театра, записанные со слов неизвестного автора. III, 87.
Ласкин А. Высокий и Толстой. *Повесть*. VIII, 76.
Левенгарц В. Мальчик и музыкант. *Рассказ*. V, 121.
Ловчинский Н. *Рассказы*. III, 103.
Лукошин О. Что такое жестокость. *Рассказ*. II, 80.
Медведев А. Вот такой высоты, вот такой широты. *Рассказ*. IX, 100.
Москвин Е. Сказки о созвездиях. I, 96; Самовнушение здоровья. *Рассказ*. VII, 141.
Мощинский И. Иосиф и Федор. *Повесть*. III, 7.
Непогодин В. Generation G. *Повесть*. VII, 6.
Палий А. Частичная отгрузка разрешена. *Рассказ*. XII, 114.
Перепелица И. Подранок. *Рассказ*. X, 79.
Петров М. *Рассказы*. XII, 34.
Розенсон И. *Рассказы*. XII, 122.
Росс В., Чайкина Е. Путешествие по озеру Ильмень с уклоном в сторону лингвистики и естествознания. *Отрывок из романа*. XI, 54.
Рябов К. Птица-жизнь. *Рассказ*. VII, 136.
Сайтов Р. Град Екатерины. *Историческая повесть*. XI, 7.
Сванидзе Г. *Рассказы*. XII, 82.
Скурихин Д. Протоплазма. *Моноспектакль*. VI, 93.
Тарасов Д. Старец. *Рассказ*. XI, 86.
Тюжин А. Путин – Путин. *Повесть*. VII, 72.
Шапиро Б. Солнечный мальчик. *Короткий роман*. IV, 99.
Шумейко И. Все абсолютно! *Повесть*. II, 5.
Юдсон М. На последнем берегу. *Рассказ*. IV, 73.
Ясинская М. Лотерея жизни. *Рассказы*. VIII, 125.

ПОЭЗИЯ

Ахматов А. VIII, 122.
Беневич Г. XII, 79.
Борычев А. XII, 49.
Бука Д. I, 77.
Ведёхина О. XI, 96.
Викман С. II, 92.
Горбовский Г. XI, 3.
Городницкий А. II, 65.
Грунтовский А. XII, 94.
Добровольский А. I, 107.
Дорофеев Н. X, 72.
Елизарова Н. VII, 3.
Исаев С. VII, 67.
Калмыкова В. VI, 30.
Каминский Е. V, 3.
Кирюшин В. III, 3.
Кукулевич М. X, 3.
Кумбашева Ю. X, 76.
Кушнер А. VI, 3.
Ларина Т. VII, 132.
Леонтьев А. VIII, 3.
Лихтенфельд Б. V, 117.
Маулер И. V, 131.
Мизгулин Д. XII, 3.
Могутин Ю. IX, 110.
Моисеева И. II, 3.
Нержанников Д. IV, 69.
Попов Е. III, 57.
Порвин А. I, 112.
Пурин А. IV, 3.
Резник Н. III, 83.
Розенфельд С. II, 77.
Рубанов Р. VII, 114.
Сашина Л. VIII, 151.
Скобло В. VI, 89.
Соколова К. I, 3.
Сомов А. IV, 94.
Страхова Л. I, 93.
Туницкая Е. IX, 96; XI, 50.
Хосид Б. VIII, 73.
Шацков А. XI, 80.
Ширали В. XII, 30.
Шемшученко В. IX, 3.
Юрков О. XII, 110.

ГОД ИСТОРИИ

Базиева Г. Национальные элиты Российской империи. VII, 172.
Володихин Д. Иван Шуйский — русский аристократ опричной эпохи. II, 151.
Гавров С. За революцией следует термидор, не правда ли? VII, 196.
Гордин Я. Кавказ. Проконсул, горцы, ханы. III, 116; IV, 125; V, 134.

- Лурье Ф. В поисках родины. I, 130; Бесы вымышленные и реальные. VI, 100.
Синдаловский Н. От Романова до Романова. Послереволюционная судьба Петербурга в городском фольклоре. IX, 117; От Петра до Петра, или Фольклор по обе стороны окна в Европу. X, 125; От Алексея до Алексея, или Городской фольклор и проклятие дома Романовых. XI, 136.
Сухих И. Классное чтение: от горухи до Гоголя. I, 115; II, 120; III, 148; IV, 114; V, 167; VI, 129; VII, 181; VIII, 158; IX, 140; X, 86; XI, 100; XII, 132.

ПУБЛИЦИСТИКА

- Бердников Л. Благожелательный император. XII, 163.
Большев А. Наука ненависти. IV, 163; Диссидентские уроки. IX, 159.
Буровский А. Матриархат: легенда и реальность. VI, 147; Европейский гуманизм versus традиции. XII, 176.
Качалов В. В осажденном городе. *Воспоминания о ленинградской блокаде*. IX, 171.
Костецкий В. Деньги и мораль: развод по-русски. VI, 157.
Кураев М. Тревожащий совесть луч. I, 167.
Лурье Ф. Страсть к разрушению. XI, 160.
Сунягин Г. Антропологический сдвиг. II, 110.
Филатов Т. Клонирование человека и будущее человечества. XI, 183.
Чеснокова Т. Счастье против денег. Прологомены к счастьеведению. II, 95.

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

- Амусин М. Памяти Герцена (не по Ленину, не по Коржавину). III, 162.
Бутина А. Героиня нашего времени. I, 191.
Глазунова О. Не благодаря, а вопреки. I, 178.
Громова Н. Жизнь и гибель Георгия Эфрона. X, 174.
Елистратов В. Массовая культура: жрецы, певцы и бренды. II, 177.
Машевский А. «Гамлет» Шекспира. IV, 174.
Минина М. Нравственные искания русских писателей, или Почему слоны боятся мышей. I, 191.
Новикова А. И кистью, и пером. I, 191.
Рябчикова А. Формула трех «Б». I, 191.
Сухих И. Сделано в СПб. I, 191.
Чайковская И. Полина Виардо: возможность дискуссии. XI, 199.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

- Хочешь узнать будущее — загляни в прошлое. *К 1150-летию основания российской государственности* (Л. Аннинский, Б. Миронов, А. Ласкин, Е. Ермолин, В. Рыбаков, К. Каспер, Д. Травин, О. Ермаков, Д. Каралис, С. Лишаев, В. Калмыкова, В. Костецкий, Е. Краснухина, С. Гавров, В. Захаров, А. Бергер, А. Мелихов, В. Елистратов). VI, 164.
Смута и ее уроки (Л. Аннинский, Я. Гордин, И. Яковенко, Д. Травин, К. Фрумкин, К. Каспер, Е. Чижова, В. Шаров, В. Бачинин, Б. Бим-Бад, Д. Каралис, А. Лазарчук, Е. Иваницкая, В. Елистратов, В. Столов, Б. Миронов, Е. Ермолин. X, 150.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

- Айзенштейн Е. «Колокол с эхом в сгустившейся сини...». Рождественские стихи Иосифа Бродского. I, 202; «Земли чудесной посетитель»: Миф Цветаевой о Наполеоне. VIII, 182; Три любви Достоевского. IX, 227; «Словесность — родина и ваша, и моя...». XII, 217.
Архимандрит Августин (Никитин). «В Мантуе много петербургского...»; Бергамо–Санкт-Петербург; Виченца — город Иоанна Виченского. II, 222; Феррара — город поэтов. III, 224; Модена. IV, 237; Перуджа — родина Перуджино. V, 225; Религиозные мотивы в творчестве Гончарова. VI, 199; Ур-

бино — родина Рафаэля; Орвието, Больсена. VII, 231; Казанский собор — храм боевой славы. VIII, 228; Римини — город Франчески. IX, 235; Русское патриаршество в период Смутного времени. X, 224; Фолиньо — город св. Анджелы; «В дымке Фьезоле синее». XII, 192.

Бачинин В. Русский человек на сквозняке между небом и преисподней (Евгений Онегин как религиозный тип). IX, 179; «Достоевский — козел». *Об антропологии литературы Валерия Подороги*. XI, 227.

Бердников Л. Сонеты «Великому граду Москве». V, 196.

Владимиров М. Анна Ахматова в Финляндии. VI, 224.

Волкова Р. Судьбы сплетения. V, 214.

Голубовский М. Интеллектуальные династии: два века Ляпуновых. VI, 231.

Гольдфаин И. Очень неглупые по-своему люди. VII, 203.

Гранцева Н. Шекспир и проблемы кесарева сечения. IV, 201; Попытка великой революции? X, 211.

Грушко В. Без вины виноватые. IV, 227; Зазубренные души. XII, 230.

Давыдов Б. Пошла писать губерния. II, 239; VI, 242; X, 237; XII, 232.

Залесова-Докторова Л. Booker 2011. Предчувствие конца. II, 185; Провинциальный поэт или гений? III, 173; Гонкуровская премия 2011 года. IV, 187.

Зиновьева Е. Дом Зингера. I, 245; II, 242; III, 240; IV, 246; V, 243; VI, 247; VIII, 243; IX, 246; X, 244; XI, 247; XII, 245.

Зубарева В. Единственность. III, 186.

Иваницкая Е. Сошел бы без труда за Асмодея... IX, 200.

Каралис Д. Из писем московскому другу-2. XI, 241.

Кураев М. Мерцающая проза Уильяма Фолкнера. VIII, 197.

Митрофанова Л. «Чужие среди своих»: мотив «изгнания из рая» в творческой биографии Н. В. Гоголя и Д. Н. Мамина-Сибиряка. XI, 217.

Назирова Р. Легенды о художниках. К постановке проблемы. *Вступительная статья М. Рыбиной*. II, 190.

Никифорович Г. Два рассказа: Аксенов и Горенштейн. III, 177.

Райнов Т. «Обрыв» Гончарова как художественное целое. *Подготовка публикации М. Райциной*. III, 195.

Семкин А. Скучные истории о скучных людях? VIII, 210.

Синдаловский Н. «Вот тебе море... Вот тебе горе...». *Античное совершенство питерской фразеологии. Пословицы, поговорки. Афоризмы, каламбуры и пр.* I, 226; *Смертный грех переименований*. II, 202.

Столочич Л. Запечатленное время. VII, 245.

Федотов В. Быль и сказки Гаршина. VII, 210.

Фрезинский Б. Уроки фальсификаторам и плагиаторам. IX, 230.

Фрумкин К. Английский рецепт: Пристли и Чехов. IV, 195; *Драматургия террора, или Театральные предчувствия XX века*. VI, 191; *Вечный либерализм и вечный дирижизм*. XII, 185.

Чайковская И. Праведник мира из Америки. IV, 233; *Живу, пока пишу (поэт Лариса Миллер)*. VII, 247; *Любовь и война: взгляд американца*. IX, 220; *Восстановление связей*. XII, 224.

Черненко Г. По следам «вечного Колумба». IX, 192.

Чкония Д. Беззащитное серебро. XII, 212.

Чуйко Влад. «Лучше поздно, чем никогда». *Публикация М. Райциной*. I, 216.

Широков В. И бесконечно изумленье пред этим миром. XII, 208.

Шраговиц Е. «Три жизни песни “Белорусский вокзал”». V, 197.

Щербинина Ю. Дикта(н)т еды. VII, 221.

Юдсон М. Новая Лолита. IV, 229; *Имя прозы*. VII, 252.

[Ю. Н. Говоруха-Отрок]. И. А. Гончаров. *Подготовка публикации М. Райциной*. V, 204.

CONTENTS

PROSE AND POETRY

Dmitriy MIZGULIN. Poems	• 3
Anna KOUZNETSOVA. Privately with Herself. <i>Story</i>	• 5
Victor SHYRALI. Poems	• 28
Mikhail PETROV. Barefooted. Remembering to Forget Again ... <i>Stories</i>	• 32
Alexey BORYCHEV. Poems	• 47
Konstantin KOUPRIYANOV. Dark Moments. Viola. <i>Stories</i>	• 51
Grigoriy BENEVICH. Poems	• 77
Guram SVANIDZE. Where to? To the State of Mississippi. «German-pepper-sausage». Caucasian Shepherd. <i>Stories</i>	• 80
Andrey GROUNTOVSKY. Poems	• 92
Yaroslav KOSTYUK. Store-room. <i>Story</i>	• 96
Oleg YURKOV. Poems	• 108
Alexey PALIY. Partial Shipment is Allowed. <i>Story</i>	• 112
Inna ROZENSON. Spontaneous Manichaeism. Son. <i>Stories</i>	• 120

THE HISTORY YEAR

Igor SOUKHIKH. Classroom Reading: from Goroukhscha to Gogol. Nikolai Vasilyevich Gogol (1809–1852)	• 130
--	-------

PUBLICISTIC WRITING

Lev BERDNIKOV. Benevolent Emperor	• 161
Andrey BUROVSKY. European Humanism versus Tradition	• 174

PETERSBURG BOOKMAN

Modus vivendi. Konstantin Froumkin. The Eternal Liberalism and the Eternal Dirigisme. — **Pilgrim.** Archimandrite Augustin (Nikitin). Foligno — the Town of St. Angela; «In the Haze Fiesole is Blue.» — **Reviews.** Victor Shyrokov. Amusement before This World is Endless; Daniil Chkonia. Defenseless Silver; Elena Aizenshtein. «Literature is my and your Motherland»; Irina Tchaikovsky. Re-connecting; Vitaly Grushko. Jagged Souls. — **Province Writing.** Boris Davydov's publication. — **The Singer's House.** Elena Zinovyeva's publication. • 185–250

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева“».
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18.
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52; e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru;
nevaredaction@gmail.com

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в магазине: «Книжный салон „Российская национальная библиотека”» (ул. Садовая, 20 (Дом Крылова), тел. 310-4487); «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); также в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

В Москве: в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала на территории РФ осуществляет редакция журнала «Нева». Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.spb.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 29.10.2012. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 в16⁰. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 3100 экз. Заказ № 0000.

Отпечатано по технологии СтР
в ИПК ООО «Ленинградское издательство»
194044, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, д. 9.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.